63.50
О-95

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И АНТРОПОЛОГИИ

IX

63.50+82+28.71
О-95
63.5
094

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ им. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

НОВАЯ СЕРИЯ, ТОМ 110

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И АНТРОПОЛОГИИ

Вып. IX

В дар Тобольскому музею от соавтора настоящего сборника с признательностью

Ю. Гурбыльский

12.XII.82 г.

г. Тобольск

02 84

Библиотека Тобольского Государственного историко-архитектурного музея-заповедника инв. № 39422

08

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1982

КТМ23929/29

В выпуск включены материалы по истории источниковедения, библиографической, экспедиционной и музейной работе в области этнографии и фольклористики, относящиеся к XIX—первой половине XX в., этнографические, фольклорные и антропологические исследования отдельных регионов страны (Кавказа, Европейского Севера, Сибири и др.), печатаются статьи о новых методах советской фольклористики.

Ответственный редактор
Р. С. ЛИПЕЦ

О $\frac{0508000000\text{-}120}{042\,(02)\text{-}82}$ 171-82

© Издательство «Наука», 1982 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Девятый выпуск «Очерков истории русской этнографии, фольклористики и антропологии» продолжает издания, выходящие в течение ряда лет * в «Трудах Института этнографии АН СССР».

Очередной выпуск посвящен разнообразной проблематике фольклорно-этнографических, отчасти и антропологических изысканий. В нем освещены отдельные этапы истории науки в XIX—начале XX в., становление советской науки и ее дальнейшее развитие в этих областях знания.

В сборнике содержатся исследования, относящиеся к деятельности Академии наук, ученых обществ в центре и на местах в дореволюционный период и обширной сети советских научно-исследовательских и учебных центров Москвы и Ленинграда, а также республиканских и областных. В статьях рассматриваются разные моменты экспедиционной (полевой), музейной и эдиционной работы.

Особый интерес представляет цикл статей о первых советских экспедициях, носивших обычно комплексный характер, причем основаны эти статьи на неопубликованных материалах из центральных архивов Москвы и Ленинграда и периферийных. Таковы статьи Н. А. Алексеева о многолетней фольклорно-этнографической деятельности в Якутии супругов Ионовых и об участии М. Н. Ионовой в экспедиции в 1925—1926 гг. (архив ИВ АН СССР), С. И. Вайнштейна — о первой советской комплексной этнографо-антропологической экспедиции в Туву в 1926 г. (архив ИЭ АН СССР и МГУ), Л. П. Кузьминой — об экспедициях для изучения русского населения Колымы начиная с 20-х годов (архив ЯФ и БФ СО АН СССР, АН СССР и ИЭ АН СССР) и др. В совокупности эти статьи дадут сводный материал для ареальных исследований.

В других статьях привлечены данные о музейных фондах, документальные и вещественные: статья А. И. Михайловской о научно-промышленных выставках в конце прошлого века в Приуралье и Поволжье (Гос. архив Тат. АССР), В. Г. Трисман и Е. И. Гневушевой об индонезийских коллекциях в МАЭ.

В ряде статей освещен ранний, дореволюционный период собирательской и исследовательской деятельности русских ученых: А. И. Стоянова — на Кавказе (статья Г. В. Цулая), собирателей калмыцкого эпоса, положивших начало джангароведению (статья Л. С. Бурчиновой).

В сборнике имеются статьи историографического и библиографического профиля. М. Г. Рабинович анализирует значение документальных и нарративных источников Древней Руси (XI—XVII вв.) и более поздних для истории феодального русского города и доказывает необходимость более интенсивного их изучения в этом аспекте. Статья снабжена обширной библиографией и текстовыми материалами.

Характеристика постановки библиографической работы в области этнографии в Русском географическом обществе начиная с его основания дана в статье З. Д. Титовой, содержащей также справочный материал.

Библиографический интерес представляет и статья Н. М. Щербанова о деятельности на Урале Н. Ф. Савичева, в ней суммированы все его

---

* Вып. I — 1956 г., вып. II — 1963 г., вып. III — 1965 г., вып. IV — 1968 г., вып. V — 1971 г., вып. VI — 1974 г., вып. VII — 1977 г., вып. VIII — 1978 г.

публикации за 18 лет (с середины прошлого века) в «Уральских войсковых ведомостях» — издании редком и малоизвестном (сама же статья продолжает серию исследований разных авторов по истории фольклористики и этнографии русского населения Урала, помещенных в предыдущих выпусках «Очерков»).

Проблемам собственно фольклористическим посвящены в выпуске две статьи. Творческий метод О. Ф. Миллера анализируется в сопоставлении с некоторыми современными концепциями в статье В. П. Аникина.

Проблеме взаимосвязей фольклора и изобразительного искусства, отраженной в трудах советских ученых в 40—50-х годов, посвящена статья Р. С. Липец, написанная на материале тюрко-монгольского эпоса и археологических памятников с территории Средней Азии и Сибири, внимание в ней уделено вопросам этногенеза и этнокультурных связей.

Надо надеяться, что публикация IX выпуска «Очерков» поможет разработке истории этнографических, фольклорных и антропологических изучений в пределах СССР и составлению более полной картины прошлого русской науки.

Кроме основного авторского коллектива сотрудников Института этнографии АН СССР, к участию в IX выпуске были привлечены сотрудники Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР, Московского государственного университета, Тобольского и Уральского государственных педагогических институтов, Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Научно-техническую помощь в подготовке издания для печати оказала М. А. Диш.

М. Г. Рабинович

РУССКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГРАФИИ ГОРОДА

Большинство явлений современной жизни народа уходит своими корнями далеко в глубь веков. Это отмечали исследователи русской этнографии еще в прошлом столетии. В поисках истоков современных этнографических явлений они шли от близкого и далекого прошлого русского народа [1]. Эта тенденция не устарела и в наши дни.

Однако с развитием урбанизации, естественно, вырастает интерес к жизни горожан и в отдаленные времена. Изучение этнографии города важно не только в плане поисков происхождения тех или иных явлений современной городской жизни. Нуждается в пересмотре и позиция исследователей, считавших носителем народной культуры только крестьянство. Горожане внесли большой вклад в развитие культуры русского народа на протяжении всего тысячелетнего периода существования русских городов [2], и этнографическое изучение русских невозможно без рассмотрения материалов, относящихся к древнему и современному русскому городу.

Для изучения этнографии города большое значение имеют письменные документы эпохи феодализма. В целом они дают, пожалуй, больше сведений, чем другие важные группы источников: древние изображения, реалии, сохранившиеся в музеях и в частных собраниях, и археологические материалы. Впрочем, соотношение этих типов источников неодинаково для различных хронологических отрезков периода феодализма [3].

Напомним лишь, что начиная с X в., когда появилось русское кирилловское письмо, значение для историка и этнографа письменных документов непрерывно возрастает.

Письменные источники имеют очень большое значение для изучения как общих проблем этнографической науки (в частности, этногенеза и этнической истории племен и народов), так и материальной и духовной культуры сельского и городского населения. В настоящей статье рассматриваются лишь различные аспекты использования письменных источников для этнографии города; вообще же эти источники могут быть использованы гораздо шире; значение их универсально.

Изучение и публикация древних письменных источников ведутся у нас не первое столетие. Несмотря на то что эти документы зачастую терялись, гибли во время пожаров и иных бедствий, хранились небрежно, а то и попросту выбрасывались за ненадобностью [4], архивы нашей страны настолько богаты ими, что изданные грамоты составляют лишь небольшую часть сохранившихся памятников.

Еще на заре развития русской этнографической науки исследователи высоко оценили значение старых документов как достоверного многопланового источника по истории нашей страны, содержащего сведения о политической и экономической жизни народа. Возможность получения из одного и того же документа сведений о разных областях жизни своих предков была должным образом оценена еще при подготовке материалов к публикации.

Если одной из специфических черт этнографического исследования народов современных, хотя и находящихся на разных стадиях развития, является непосредственное наблюдение, дающее фактические материалы, то для периода феодализма эти материалы этнограф получает, как и историк, интересующийся социальными и политическими проблемами, в основном из письменных и изобразительных источников.

Специфика этнографического изучения заключается не в привлечении каких-то иных источников, отличных от тех, которыми пользуются представители других исторических наук, а в подходе к исследованию: этнограф обращает главное внимание на сведения, которые касаются его науки. Один и тот же исторический источник может интересовать исследователей различных отраслей исторической науки в разных своих аспектах.

Возьмем для примера летописный рассказ о походе на Новгород князя Михаила Ярославича тверского в 1316 г. Тверская летопись сообщает при этом, что огромную рать князя «зли вожи заведоша в лихаа места»[5]. Новгородская летопись представляла дело так, что тверская рать сама «заблудиша в озере и болоте, и начаша измирати гладом, и ядяху конину, а инии, с щитов кожю сдирающе, ядяху, а снасть всю пожьгоша; приидоша пеши в домы своя»[6].

В этом рассказе для историка, интересующегося политическими и социальными проблемами, важен прежде всего сам факт неудачного похода Михаила на Новгород, как одно из звеньев борьбы его с Юрием Даниловичем московским за великое княжение и как успех новгородской политики в отношении великих князей. Историк военного искусства обратит внимание на любопытный прием дезориентации противника, примененный новгородским командованием, подославшим к тверичам своих лазутчиков, которые и завели врага в непроходимые дебри и болота. Археолог констатирует, что, видимо, щиты в то время были деревянными, обтянутыми кожей, раз можно было есть кожу, сдирая ее со щитов. А для этнографа особое значение будет иметь упоминание конины как мяса, которое русские обычно не употребляют в пищу и едят только в большой крайности, — в этом он увидит одно из отличий пищи русских, например, от пищи татар. Так сказывается специфика подхода исследователей различных областей исторической науки к одному и тому же виду источников.

Некоторые исследователи, прежде всего историки права, стремились подобрать и издать в первую очередь те письменные источники, которые отражали правовые отношения в Древней Руси. Это относится не только к публикации собственно памятников русского законодательства и исследований о них[7], но и к изданию разнообразных документов, по которым можно было бы судить о применении этих законов и — более широко — о правовых отношениях в Древней Руси, как говорили тогда — о юридическом быте[8]. Другие обращали внимание на общие проблемы истории, преимущественно проблемы социальные и экономические. Эта тенденция значительно развилась уже в советское время[9]. Наконец, многие публикации письменных источников делались и делаются по территориальному или по хронологическому принципу. Они содержат документы, относящиеся к определенной области или к определенному времени[10].

Изучение древних письменных источников легло в основу наиболее до сего времени полных и обстоятельных исследований, принадлежащих перу ученых так называемого историко-этнографического или историко-бытового направления[11], наиболее ярким представителем которого является И. Е. Забелин. Начав свою научную деятельность с изучения архивов Оружейной палаты, он сочетал в дальнейшем работу историка-архивиста с работой археолога. Но если как археолог И. Е. Забелин занимался преимущественно очень отдаленными периодами и прославился раскопками скифских курганов, в частности знаменитого Чертомлыка, то изучение быта Древней Руси и в особенности Московского государства он вел в основном по разнообразным письменным источникам, исполь-

зуя, впрочем, и богатые вещевые коллекции Оружейной палаты Московского Кремля, а позже — и Исторического музея, создателем и первым научным руководителем которого он был.

И. Е. Забелину принадлежит также большая заслуга восстановления жизни русского города эпохи позднего средневековья «в ее бытовой повседневной конкретности»[12]. Его исследования — «История города Москвы» и в особенности «История русской жизни» и «Домашний быт русского народа»[13] — содержат яркий материал о различных сторонах общественного и семейного быта горожан. Хотя последнее из упомянутых исследований, над которым автор работал всю жизнь, не было закончено и содержит формально лишь быт царского двора, глубина взгляда И. Е. Забелина и охват привлеченного им фактического материала делают его исследование ценным и для значительно более широкого круга вопросов, связанных с жизнью горожан различных сословий. В нем мы находим сведения о планировке города, о застройке разных его районов, о древней архитектуре, о богатых и бедных городских жилищах, об одежде, пище, нравах и обычаях, о домашней и уличной жизни, т. е. освещение проблем чисто этнографических. И. Е. Забелин оказал значительное влияние и на других историков, обращавшихся к этому кругу вопросов, в частности на Н. И. Костомарова и Д. И. Иловайского. С их участием было предпринято специальное издание историко-этнографического направления — «Живописная Россия».

Для исследований по этнографии русского феодального города важны разные виды и разновидности письменных источников периода феодализма. Огромную ценность для современного исследователя имеют повествовательные, или, как принято их называть, нарративные источники, прежде всего русские летописи XI—XVII вв. В летописях не только изложена концепция тех времен о происхождении русского народа и его расселении на территории позднейшей Европейской России. Летописцы сообщают и о древнем этническом ядре населения многих русских городов. Мы узнаем, например, что Киев был городом полян, Искоростень и Овруч — городами древлян, Чернигов — северян, Смоленск — кривичей, Новгород — словен и т. д.[14] В дальнейшем общерусские и местные летописные своды, описывая события, происходящие в городах или такие, в которых участвуют горожане, раскрывают перед нами множество черт материальной и духовной культуры горожан, их общественного и семейного быта. При этом особенно важно отношение самих летописцев к приводимым сведениям. Об одном они судят безапелляционно, иногда резко, со своей точки зрения; о другом рассказывают как о слышанном, в достоверности чего нет уверенности, и во всех случаях сохраняют свою областную психологию. Как красочны, например, резкие суждения летописца-киевлянина о семейно-брачных отношениях славянских племен или о способе мытья в бане на севере Руси[15].

Изучение летописей как исторического источника имеет в нашей науке прочные традиции и давно уже сложилось как особая область источниковедения. Однако чисто этнографический материал этого первоклассного источника используется лишь от случая к случаю, в основном как вспомогательный для атрибуции самих летописей. Между тем рассмотрение летописей как источника для изучения этнографии русского сельского и городского населения, как это делал в некоторых случаях И. Е. Забелин, может быть темой специальной работы, которая значительно дополнила бы наше источниковедение. Вопрос этот затронут С. А. Токаревым в его большом, сводном труде по истории русской этнографии[16], где рассмотрены в этнографическом плане первый общерусский летописный свод — Повесть временных лет — и некоторые местные летописи. Однако экскурс С. А. Токарева по необходимости чрезвычайно краток, и более обширные труды по характеристике летописей как источника этнографических сведений еще впереди.

К нарративным источникам относятся повести, сказания, жития. Все эти виды весьма важны для этнографов, и в частности для этнографии

города, так как в повествованиях содержится обычно значительный элемент бытописания.

Так, из повестей о начале Москвы можно узнать об обряде погребения, о взглядах горожан на внутрисемейные отношения и т. п.[17] В повестях о Куликовской битве мы находим не только важные сведения о военной организации города и обычаях при отправлении войска в поход, но и упоминания частей богатого городского дома, в том числе сеней как парадной террасы для пиршеств[18].

Особенно богаты нужными для этнографа сведениями жития. Повествуя о жизни и «чудесах» русских святых, авторы стремились ввести в свой рассказ убедительные бытовые подробности, надеясь придать ему таким образом видимость достоверности. Например, рассказ об искушении святого бесом содержит и упоминание дорогого плаща — «луды» с приполками (расшитыми полами), в который якобы рядился этот бес, или (в другом случае) рукомойника, где святой изловил беса. Желая подчеркнуть суровый аскетический образ жизни подвижника, автор жития называет его простую одежду — власяницу, поверх которой надевалась вотоляная (из грубой льняной материи) свита, или грубую пищу. Рассказ о чудесах содержит нередко и сведения о городском населении, о его сложном этническом составе (например, о колониях армян, евреев или сирийцев в Киеве)[19].

Использование всех этих повествований, сказаний и житий возможно, разумеется, при условии строгой научной критики источников, учета позднейших редакций и добавлений[20]. Таким образом, нарративные источники, представляющие важнейший род письменных источников, требуют специального анализа.

В данной статье мы попытаемся подробнее рассмотреть другой род письменных источников эпохи феодализма — источники документальные, прежде всего основной их вид — различные акты.

Под актами в широком смысле этого слова понимают все письменные источники, в которых нет связного повествования о ходе исторических событий (в отличие от упомянутых выше повествовательных, нарративных источников). В более узком смысле термин «акт» включает те письменные исторические документы, в которых в форме традиционных юридических норм зафиксированы экономические и политические сделки, договоры между частными лицами, частным лицом и государством, между государствами, церковью и государством[21]. В Западной Европе в эпоху феодализма в конце таких документов ставилось обычно латинское слово actum — «совершено», от которого и произошло название всех этих источников — «акты». В этом узком значении договорный характер актов отличает их от других «грамот» — письменных источников не нарративного и не договорного содержания, которые выделяются зачастую в особый вид.

В дальнейшем мы будем рассматривать древнерусские акты в широком понимании этого термина, не ставя, однако, перед собой задачи охарактеризовать все разновидности источников, входящих в этот обширный вид. Он включает около ста разновидностей актов, отражающих почти все стороны жизни тогдашнего общества: личные договоры, уставы, оформления даров (данные, вкладные и т. д.), денежных и вещевых займов, феодальных пожалований и иммунитетов, переписи, подряды на работу, брачные сговоры, документы о производстве сыска и суда и т. п.[22]

Значение этого вида источников возрастает от века к веку пропорционально количеству сохранившихся документов. Число известных актов для X—XIV вв. невелико, но оно со временем возрастает и к XVII в. достигает таких огромных размеров, что опубликовать, как сказано выше, удалось только часть, хотя публикация актов продолжается уже более столетия[23]. В последние десятилетия к ним прибавились еще берестяные грамоты, найденные при раскопках[24]. Большая

часть актов составлена в городах и характеризует жизнь города и его жителей.

Древнейшими известными нам актами являются договоры Руси с Византией 911 и 945 гг. В подлинниках они не сохранились и дошли до нас в составе летописи [25]. Эти договоры были заключены, по-видимому, в Константинополе, но отражают в известной мере и жизнь большого русского торгового города до таких деталей, как дохристианский обряд присяги на обнаженном оружии: «А некрещеная русь полагают щиты своя и мече свое наги, обруче свое и прочаа оружья да кленутся о всем, яже суть написана на харатьи сей». Далее летопись описывает, как присягал этому договору русский князь, когда послы привезли грамоту в Киев: «Заутра призва Игорь слы, и приходе на холм, кде стояше Перун, и покладоша оружье свое, и щиты, и золото, и ходи Игорь роте и люди его» [26]. Мы узнаем, таким образом, что в древности присяга — «рота» — приносилась у статуи божества, где складывали оружие и драгоценности. Те же из русских, кто уже принял православие, приносили присягу в церкви Ильи. Здесь интересно и сочетание имен древнего божества Перуна и христианского пророка Ильи, к которому впоследствии перешли «функции» Перуна. Позднее церкви во имя Ильи ставились на месте разрушенных храмов Перуна. Но в середине X в. в Киеве на высоком холме (холмом называли тогда и высокий берег реки) стояла еще статуя Перуна, и была уже, видимо, где-то поблизости церковь Ильи. Так, сопоставление других повествований летописи и включенного в нее древнего договора дает нам некоторое представление и об общественном быте, и о топографии, и о внешнем виде тогдашнего Киева.

Более поздние договоры русских княжеств как с соседями, так и между собой также содержат некоторые сведения о городском быте. В этом отношении особенно важны договоры Новгорода с великими князьями, фиксирующие занятия горожан сельским хозяйством (права на пожни), княжеский суд, извозную повинность [27]. В договорах московских князей со своими «младшими братьями» — вассалами определено положение некоторых категорий городских жителей, упомянуты отдельные обычаи, связанные с войной и походом, и т. п.[28]

Важным источником по этнографии города являются законодательные акты эпохи феодализма. Древнейший из них — Русская правда — дошел до нас также в составе летописи. Уже в так называемой «Краткой русской правде» мы находим сведения о сложном этническом и социальном составе городского населения, о роде и семье, о торговой площади — средоточии жизни города. «Закликати» (объявить) на торгу о побеге челядина, о покраже коня, оружия или одежды было все равно, как многими столетиями позже сделать объявление в газете: никто не мог отговариваться незнаньем, скрывший челядина или перепродавший украденное имущество нес за это ответственность [29].

Сведения эти расширяются в позднейших редакциях памятника. В более поздних судебниках Русского государства XV—XVI вв. еще более усиливается городской элемент. В них отражены многообразные явления городской жизни: от ордалий («по́ля») — судебных поединков, порядок проведения которых строго регламентировался, до мелких уличных происшествий, много говорящих этнографу: «А у кого во дворе или под окном на улице в избе собака изъест стороннего человека, ино чем тот раненый пожалует, или кормить и поить и рана лечить, покаместа изживет, тому на дому своем, чья собака, потому что знав у себя собаку съедисту, а не крепит» [30]. Статья эта, появившаяся лишь в относительно позднем судебнике конца XVI в. (1589 г.) и предписывающая хозяину злой собаки расплачиваться довольно серьезно за свою небрежность, дает нам представление и об изменениях в планировке усадьбы горожанина, и о городской улице: в середине XVI в. в больших городах улица уже была похожа по своей планировке на современную; дома не стояли в глубине усадьбы, за глухим, высоким забором, а вы-

ходили окнами на улицу. Число подобных примеров можно было бы увеличить.

Соборное уложение 1649 г. и Городовое положение 1785 г. включают важные для этнографа статьи об основных и подсобных занятиях горожан, организации ремесла и торговли, о городских зданиях и их использовании, о семье и браке. Так, глава XIX Соборного уложения «О посадских людех» содержит 40 статей, регламентирующих устройство слобод, положение разных социальных прослоек городского посада, обеспечивающих как основные, так и подсобные занятия посадских людей. В частности, несколько статей посвящено фиксации земель для выгона городского стада, защите их от посягательств окрестных феодалов. Особое внимание обращено на правовое положение усадеб горожан («дворов») [31].

Городовое положение 1785 г. содержит также подробную регламентацию режима городского торга и ряд статей, посвященных жизни ремесленников цеховых и нецеховых. В нем мы впервые встречаем и официальное разрешение горожанам держать лавки не на торгу, в гостином дворе, а в своих домах, что положило начало торговым улицам с магазинами современного типа, и много других пунктов, позволяющих представить себе городскую жизнь во всем ее разнообразии [32].

Разного рода «книги» XV—XVIII вв. — писцовые, переписные, дозорные, строельные, розметные, межевые, отдельные, отмерные, перечневые и т. п. — весьма важны для изучения города как поселения [33]. Они дают представление о планировке и застройке города, его укреплениях, об усадьбах горожан, жилищах и хозяйственных постройках, о населенности двора, о структуре и численности городской семьи.

Перепись города велась обычно по его исторически сложившимся районам: сначала описывался собственно «город» — кремль с его укреплениями, церквами, дворами; затем торг, его гостиные дворы, лавки, патрональные церкви; наконец, посад, в котором выделялись слободы. Внутри слобод иногда отмечались и улицы. Своеобразной «клеточкой» города, на которую обращалось особое внимание, была усадьба рядового горожанина — его «двор». Писцы упоминали все строения — избу, клеть, погреб, конюшню, баню (если она была), сосчитывали все плодовые и ягодные деревья, мерили огород. Они указывали расположение, а зачастую также материал и конструкцию построек и их частей — сеней, кровли, забора, лишь изредка объединяя однотипные дворы в одну рубрику. Так, переписная книга г. Устюжны Железнопольской начала XVIII в., описывает вместе девять дворов мастеровых и работных людей: «а на всяком дворе строения по избе с сеньми да по клете покрыты дранью, огорожены забором, ворота однощитные» [34]. Как видим, здесь отмечена даже конструкция ворот.

Всегда называя имя и социальное положение хозяина, писцы зачастую отмечали, кто живет на его дворе, в каких отношениях он с хозяином, реже перечисляли всех мужчин в семье (а для XVII—XVIII вв. иногда — и женщин), указывая на их родственные отношения. Последнее обстоятельство весьма ценно для изучения терминов родства и ономастики. Например: «Во дворе вдовой поп Яков Аристархов 38-ми у него сын Иван 12-ти с ним же шурин Василей Корнилов 42-х у него жена Парасковья 42-х у них дочь Меланья году» [35]. За этой краткой записью скрываются семейные отношения довольно сложные: может быть, поп, овдовев, взял к себе во двор брата покойной жены с его семьей. Впрочем, возможны и другие предположения.

Приходные и главным образом расходные книги освещают разнообразные явления городской жизни. Если в приходных книгах монастырей (а сохранились в основном монастырские) мы находим сведения преимущественно о материальной культуре — об одежде и утвари, бывших основными предметами дарения и покупки, в меньшей степени — о пище и о съестных припасах [36], то в расходных (среди них наиболее интересны расходные книги городских должностных лиц) выявляются во

всей своей многогранности отношения между различными социальными группами, обрисовывается чрезвычайно выпукло хозяйственный быт горожан. Так, расходная книга земского старосты г. Хлынова (Вятки) Ивана Репина за 1678—1680 гг.[37] включает записи о содержании городской посадской общиной приказной избы и воеводского двора (от починки дверей, окон и печей, поставки продуктов и канцелярских принадлежностей до выплаты жалования приказным и праздничных подарков всем городским чинам, начиная с самого воеводы и кончая сторожами), о городских праздниках, справлявшихся также в значительной мере за счет посадской общины, и т. п. Упомянуты и «посулы» столичным чиновникам, к которым обращались по разным поводам вятчане, и расходы на содержание посыльных.

В расходной книге Ивана Репина упомянуто более 50 различных видов пищевых продуктов и готовых блюд, поставленных в разное время на дворы хлыновского воеводы, епископа, реже — подьячего. Среди них 5 видов зерновых (овес, пшеница, ячная крупа, солод, ржаная и пшеничная мука), 5 сортов печеных хлебных изделий (хлеб ржаной и ситный, калач, кулич, пряник); лучшие их сорта, кроме ржаного хлеба, покупались готовыми. Мясо (говядина, баранина, свинина) поставлялось в большинстве случаев обработанным (туша или части ее). Упомянуты также 15 сортов рыбы (осетр, семга, белая рыба, стерлядь, лосось, севрюга, щука, язь, сом, налим, окунь, судак, карась, лещ, калуга и, конечно, осетровая икра). Относительно беден ассортимент овощей и фруктов (капуста, огурцы, свекла, мята, яблоки), компенсировавшийся отчасти разнообразием обработки (например, капуста свежая, соленая, штяная — для щей и пр.). Молочные продукты представлены коровьим маслом, очевидно топленым, и сыром; из напитков поставлялись квас, пиво, вино, мед. Отсутствие в книге упоминаний о тушках домашней птицы и о молоке объясняется, по-видимому, тем, что на дворах упомянутых выше «отцов города» было достаточно кур, уток, гусей, индеек, а также коров, для которых привозили сено и солому.

В книге упомянуто более тридцати видов хозяйственной утвари и нужных для дома инструментов (разного рода емкости — бочки, корчаги, ведра, кадки, корыта, ложки, блюда, даже уполовник, а также лопаты, топоры, заступы, багры и т. п.). Для освещения доставляли сальные свечи и воск, для отопления — дрова; привозили даже лед для ледников. Пожалуй, меньше всего потребляли на дворах воеводы, архиепископа и подьячего канцелярских принадлежностей. Земский староста поставлял только писчую бумагу, чернила, мешочки и коробы для хранения дел. Перья же, вероятно, всегда были под рукой при обилии домашней птицы.

Как видим, расходная книга вятского земского старосты отражала во всех деталях особенности быта элиты среднего русского города XVII в.

Монастырские обиходники, «Указы о трапезе» — своеобразные меню, рекомендованные братии на круглый год, представляют значительный интерес для этнографов, занимающихся городом и деревней. В этих уставах содержатся чрезвычайно ценные сведения о русской пище в целом и об обрядовой пище в частности. Попутно выясняется, что «постничанье» монахов (употребление мяса было вообще запрещено) отнюдь не означало скудости их питания, которое изрядно разнообразилось обилием рыбных блюд. Несмотря на отмеченную выше ограниченность, уставы дают представление о русской кухне.

Повседневная пища была как будто довольно скромной: «Во всякую неделю за обедом ества обычная шти да каша гречневая с горохом, а иногда без гороху, да пиво сычено, на ужине в летнюю пору яйца, а иногда млеко, переменяя, а в зимнюю пору сыры, а иногда каша овсяная (в пост молоко и яйца исключались, их заменяли «сельди немецькыя») да пиво»[38]. Можно думать, что монахи питались так же, как и небогатые горожане, но несколько лучше крестьян, что основу их стола составляли традиционные щи да каша. Но изучение уставов в целом по-

казывает, что этот стол существенно разнообразился по праздникам, которых упоминается более двадцати в год. Вот что представлял собой стол Тихвинской лавры в 1590 г., на первый день пасхи: «В начале трапезы келарь раздает хлеб пасочен с яйцы печен и сыр по кусу (т. е. кулич и сырную пасху. — *М. Р.*) и по яйцу, вместо же ржаных хлебов пшеничны с маслом и яйцы печены и мазаны (крашеные или расписные. — *М. Р.*) яйцы ж»[39]. Сам же обед состоял из пяти блюд, как бы мы сказали сейчас: «1-я шти капустны, 2-я сиги или лещи жарены, 3-я — сковрады сиговы или линевы, 4-я караси телные, 5-я лососина ли ладога просолная»[40]. Запивали все это квасом и медом. В другие дни пасхи обед бывал не хуже и ужин также. Итак, 3—4 сорта рыбы заменяли монахам мясо, а приготовление блюд было разнообразно: за обедом подавали и жаркое, и тельное (т. е. колобки или котлеты из рыбы, очищенной от костей), и соленую рыбу. Среди блюд, встречающихся в этом указе, стбит отметить еще рыбные каши — лососью, сиговую, сельдяную, различные пироги[41] и пр.

Эти источники для изучения русской кухни могут сравниться по своему богатству разве с некоторыми списками Домостроя, которые содержат, подобно монастырским обиходникам, «книгу во весь год что в столы подают» и «книги ин перевод во весь год столовую еству подают»[42]. Эти книги упоминают 135 кушаний (не считая напитков — кваса, морса, пива, меду); в их числе 48 блюд из мяса и дичи, 55 — из рыбы, 19 различных пирогов и хлебных изделий, 3 грибных кушанья и 10 сладких. Однако для стола слуг меню было гораздо скромнее, оно насчитывало едва полтора десятка блюд. Вообще Домострой, регламентировавший во всех деталях быт зажиточного горожанина, представляет собой настоящий клад для исследователя и заслуживает специального изучения. Нам уже случалось касаться некоторых аспектов использования этого важнейшего источника[43], и далее в настоящей статье мы его рассматривать не будем.

Самого серьезного внимания исследователей заслуживают так называемые духовные грамоты — завещания. Как рядовые горожане, так и крупные феодальные владельцы, умирая или отправляясь в дальний путь (что в те времена было связано с различными опасностями), считали необходимым распорядиться всем принадлежащим им имуществом — от земельных владений, включая крупные города, до личных предметов утвари и одежды. Поэтому мы находим в духовных грамотах перечень жилых и хозяйственных построек, драгоценной утвари и украшений, платья, обуви, хозяйственных предметов. В них выявляются и особенности внутрисемейных отношений, погребального обряда, положение отдельных социальных групп. Содержащийся обычно в духовных грамотах перечень, «что ми у кого взяти, что ми кому дати», обрисовывает сложную картину имущественных отношений в городах, причем иной «смиренный старец» — монах мог оказаться богаче какого-нибудь мелкого удельного князя, у которого ничего не остается, кроме долгов.

Показательно составленное в 1503 г. завещание удельной княгини волоцкой Юлиании, вдовы князя Бориса Васильевича Волоцкого: «Благословляю сына своего Федора крест серебрян с мощми да колпак полки сожаны жемчюгом, да три оу него пуговицы яхонты жемчюги а не пришиты. Да благословляю сноху свою Федорову жену Марью два обруча золоты да двои серги, одни яхонты а другие лалы, а те серги оу сына моего оу Ивана у ожерелья белого в пугвицах. А сына своего Ивана благословляю крест серебрян с мощми да ожерелье сожено с пуговицами с большими. А даст бог, сын мой Иван женитца, и яз благословляю сноху Иванову жену трои серги, двои яхонты, а третьи лалы, а тех серег каменье з жемчуги на калпаке оу сына моего оу Ивана, а что жемчюгу и каменья на том калпаке и тот жемчуг и каменье дочери моеи Аннино приданское и то внуке моей Овдотье, ожерелейной жемчюг с передцевой и з запястьем. Да благословляю внуку свою икона камень зелен обложен золотом. Да дочери ж моеи приданое монисто большое золото да три об-

ручи золоты, что сын мои Иван заложил в закладе, и сын мои, то выкупив, да даст внуке то моей... Да что ми господарь мои князь велики велел дочери моеи приданое взяти оу зятя оу своего князя оу Петра оу ростовьского, ино меня того приданого не дошло»[44]. Далее следует полный список приданого княжны Анны: иконы и кресты, драгоценные украшения, утварь, каменья, жемчуг, дорогое мужское и женское платье, вплоть до драгоценных шубных пуговиц и золотых кружев, которые можно нашить на одежду.

В этой духовной грамоте выявляются довольно сложные внутренние отношения княжеской семьи, находящейся на грани своего падения.

Мелкие удельные владельцы, вынужденные тянуться за своими московскими родичами, наряду с династическими и политическими делами знали и заботы, свойственные любой семье, и матери-вдове приходилось «расхлебывать» семейные дела, коренившиеся еще в прошлом, когда дети ее были совсем юными. У старой княгини Юлиании было трое детей: старший сын Федор был женат и владел Волоколамским уделом, младший Иван — холост и владел Рузским уделом. Дочь Юлиании Анна, выданная за ростовского князя Петра, видимо, умерла, оставив дочь Авдотью. Отцовский довольно крупный удел был поделен между братьями. У вдовой княгини оставалось еще немало драгоценностей и дорогого платья (перечисление их чрезвычайно важно для этнографа), но значительную часть сумел выманить у матери «во временное пользование» любимый младший сын — холостяк и гуляка Иван Борисович. Кое-что из них он успел уже и «спустить», заложив (как видно из его собственного завещания) московскому ростовщику из сурожан Вепрю за сто рублей[45], кое-чем пользовался. Было это, по всей видимости, давно, еще до того, как Анну выдали замуж (в закладе оказались драгоценности, предназначенные ей в приданое). В своем завещании княгиня Юлиания стремится оделить всех, не обойти никого из сыновей, ни внучку, ни даже будущую сноху, которая может появиться, если этот щеголь и лошадник Иван наконец женится. Однако наследникам можно не завидовать, так как ни невестке — жене Федора Марье, ни племяннице — дочери Анны Авдотье, по всей вероятности, не удастся получить то, чем уже завладел князь Иван. Плоха надежда и на получение от князя Петра ростовского приданого покойной Анны, на которое претендовал род ее родителей, если оно до сих пор не возвращено. Но ведь и Петр был в свое время обманут: ему так и не выдали всего Аннииного приданого. Наконец, и сам Иван, князь рузский, только номинально княжит в своем уделе. Он по уши в долгах за дорогую утварь, одежду, оружие, лошадей (за опашень «дикого» (серого. — *М. Р.*) цвета, мерина экстравагантной голубой масти, иноходцев), во всем зависит от московского великого князя и в том же году напишет в завещании: «А что моя вотчина Руза и половина Ржовы а то перед моим государем перед великим князем, и государь мои князь велики, с тое моеи вотчины долг мои велит пожалует заплатити и душу помянет»[46]. Так отойдет к Москве значительная часть некогда крупного удела волоцких князей. А через десять лет и старший из них, Федор, умрет бездетным. Род волоцких князей прекратится. Московский великий князь завладеет Волоколамском.

Помимо этой запутанной, но весьма интересной семейной коллизии, в духовной грамоте отражены важные для этнографа детали быта. К ним относятся и долгая жизнь одежды, передаваемой по наследству детям и внукам, и обыкновение «освежать» эти наряды, нашивая на них новые украшения — медальоны, серьги, пуговицы, вошвы, кружево, и сам комплект мужской и женской верхней и нижней одежды. Важен и освященный веками обычай возврата приданого родителям после смерти их замужней дочери. Однако данный казус не был вполне ясен. Возвращать приданое полагалось лишь тогда, когда женщина умирала бездетной; в противном случае ей наследовали дети. Можно думать, что Авдотья после смерти Анны не осталась у отца — князя Петра ростовского и жила в роде волоцких князей, что приданое ее матери было уже

объектом тяжбы между князьями волоцкими и ростовскими и что московский великий князь решил его в пользу волоцких князей. Но Петр ростовский не торопился выполнить это решение. Словом, грамота отражает и какие-то нарушения семейно-брачных обычаев [47].

Интересен еще один бытовой штрих, связанный с православием. Одной из главных ценностей богатой городской семьи — феодалов или купцов — были большие и малые иконы (часто в драгоценных окладах), каждую из которых особо завещали «на благословение дома» того или иного родственника.

Состав имущества горожан — их одежда, украшения, утварь, в меньшей степени жилище — отражен в рядных грамотах о сговоре (брачных договорах) и росписях приданого. Если у высших слоев городского населения речь шла преимущественно о вотчинах, деньгах, одежде и украшениях («платье и низанье»), дававшихся в приданое за невестой, то у рядовых горожан иногда описывалось кратко все небогатое имущество жениха и невесты. Если в первом случае перечислялись десятки предметов, составлявших несколько комплектов парадной женской одежды, мужская одежда, парадное убранство постели, белье, драгоценная утварь, дорогие иконы, то во втором случае включались иногда дешевые серебряные серьги невесты и (по-видимому, единственная) однорядка жениха [48]. Рядные грамоты о сговоре отражают также детали свадебного обряда, в частности подарки жениха, устройство поезда — «свадебный подъем», который обходился недешево, с чем и была связана включаемая обычно в рядную грамоту неустойка за нарушение срока свадьбы.

Опись приданого была особенно важна для семей зажиточных, дававших за дочерью много ценностей. Ведь мы говорили уже, что при определенных обстоятельствах (наиболее простой и бесспорный случай — смерть бездетной женщины) это приданое полагалось возвращать в тот род, к которому она принадлежала, — родителям или, если их уже не было в живых, родичам-наследникам. Для рядовых горожан даже приобретение традиционного свадебного ларца со всякой «женской рухлядью» (мылом, лентами, башмаками и пр.) было серьезным расходом, а тем более — весь «свадебный подъем». Понятно, что они больше заботились о гарантиях совершения и сроков свадьбы, чем об описи приданого, которое отнюдь не было особенно велико.

Другой вид «рядных» грамот — договоров — условия, заключаемые с мастеровыми (по большей части — с целыми артелями), содержит богатый материал о строительной технике, жилище и хозяйственных постройках. В них обычно оговариваются все детали намеченной работы: как вывести стены, крышу, как сделать потолок, пол, окна и двери, как обработать внутренние помещения, включая «опушку» лавок и коника, как устроить залавочники [49]. Здесь можно встретить указания на определенные части здания: «подрубить кругленько в лапу», углы горницы срубить «в крюк», двери вставить «в одверье». Эти строительные термины, бытовавшие еще и в начале нынешнего столетия, оказываются, таким образом, весьма древними, что представляет интерес не для одних этнографов. Читатель знакомится не только с различными строительными терминами, но и с названиями строительных материалов, построек, отдельных частей жилища, даже мебели — лавки, коник, скамьи. В этих названиях выражены и локальные особенности языка (например, бытующее до наших дней на русском Севере название «мост», обозначающее как пол в жилом помещении, так и часть жилища — сени) [50].

Важные сведения об усадьбе, жилище и хозяйственных постройках горожан находим в многочисленных купчих, раздельных, меновных и закладных грамотах. При покупке, разделе, обмене и закладе всегда точно фиксировались размеры усадьбы и ее частей, все постройки, включая число прясел забора, ворота и калитки [51]. При этом ясно выступают социальные и имущественные различия, отмеченные количеством и качеством построек.

В закладных грамотах содержатся упоминания также и мелкого домашнего имущества горожан — утвари, одежды и т. п. Здесь, как и в других приведенных случаях, нужно обращать внимание на местные термины (например, названия сарафана — «шубка», «шушун» и т. п.). Чрезвычайно интересно упоминание в одной закладной грамоте XIII в. из Новгорода Великого, написанной на бересте, комплекта мужской верхней одежды — имущества, заложенного (или, как думает Л. В. Черепнин, оставленного на хранение) в чемоданах — «тоболах» («положили Гришка с Костою а во тоболахо»), свиты вместе с сорочками, сапогами и шапкой. Речь идет, по-видимому, о горожанах [52]. Правда, можно сделать и такое предположение, будто направлявшиеся из Новгорода на Мовозеро Гришка и Коста не были новгородцами, а находились в городе проездом. Но и в этом случае, с нашей точки зрения маловероятном, автором грамоты, употреблявшим эти термины, остается новгородец Сидор Тадуй, а Гришка и Коста, носившие сапоги, если и не были горожанами, то одевались по-городскому.

Для изучения общественного быта городов большую важность имеют так называемые поручные грамоты. Практика поручительства, особенно широко распространившаяся в Московском государстве в XVII в., обусловливает значимость этой группы источников, освещающих многие стороны быта. Поручительство требовалось и при назначении человека на важную должность (например, кабацкого головы или целовальника), и при приеме его в стрелецкое войско, и при поступлении на государевы рыбные промыслы, и даже при найме жилища [53]. В поручных грамотах обычно сформулированы и обязанности того, за кого ручаются. Ручаясь за кого-либо человек брал на себя вполне конкретные и при том нелегкие обязательства. Например, при подозрении в нечестности кабацкого головы тут же описывали имущество тех, кто за этого голову ручался [54]. Видимо, следующим шагом была конфискация или распродажа этого имущества для погашения убытков казны.

При избрании причетника местной церкви посадская община требовала ручательства, что этот новый член причта будет беречь церковные книги и не давать их драть или пачкать воском «малым робяткам». Здесь явно подразумевается, что по этим книгам причетник будет учить грамоте детей прихожан.

Сдавая в наем дом, хозяин требовал ручательства за то, что постоялец будет выполнять поставленные им условия как в отношении содержания в порядке помещения, так и в отношении поведения, и даже за то, что в срок очистит помещение. Запись о сумме, за которую сдавался дом,— пожалуй, самое краткое, можно даже подумать, не самое важное из условий [55]. В поручных записях формулируются, таким образом, важные черты общественного быта, а дела, связанные с последствиями такого поручительства, дают еще и представление об имуществе поручителей.

Особая группа поручных грамот — так называемые «жилые поручные» — связана с ремесленным ученичеством. Иначе они назывались «учобными записями». В таких записях подробно охарактеризовано положение принимаемых мастером учеников, причем видно, какое большое место занимали их обязанности по хозяйству и как относительно мало времени шло непосредственно на обучение ремеслу [56]. Почти всегда оговаривается право мастера «смирять» учеников, т. е. попросту бить или наказывать их иначе по собственному усмотрению, и обязанность ученика беспрекословно подчиняться во всем мастеру и членам его семьи. Режим учеников, оказывается, даже хуже, чем режим слуг богатого дома, описываемый Домостроем.

Вместе с тем обычным обязательством мастера было научить ученика ремеслу, по окончании срока — снабдить необходимыми для работы инструментами и приспособлениями — «снастью», а также «одеть, обуть по силе», «как в людях ведетца» [57]. Поэтому в учебных и жилых поручных записях можно найти не только перечень основных инструментов

разных ремесел («скорняшного дела снасть», «образцовые печати» — формы для изготовления изразцов, которые давал гончар, «мехи, наковальни да два молота, один боевой, а другой одноручной» у кузнеца, «аршин и ножницы» у портного и т. п.), но и комплект мужской одежды, какая считалась приличной для посадских людей.

Близко к поручным грамотам стоят записи — различного рода обязательства, обычно скреплявшиеся поручительством. Записи давали лица, назначаемые или избираемые на какую-либо не особенно значительную должность. В них содержался, как правило, и перечень обязанностей, которые брало на себя это лицо.

Красочны, например, записи тюремных сторожей, обязывавшихся не только стеречь тюремных сидельцев (заключенных) «накрепко», но и «в день на кабак их не пускать»[58]. Причетник церкви давал, как уже сказано, запись, в которой помимо участия в церковной службе обязывался не брать церковные книги домой для занятий с «робятками», которых обучал грамоте[59]. Идущий в кабалу посадский человек также давал на себя запись, обязуясь выполнять поручения хозяина. В этом случае оговаривались и хозяйские харчи, и одежда, и срок пребывания в кабале — одному или с семьей[60]. И при этом бывали свидетели — «по слухи» — и поручители, имена которых вносились в кабальные книги, или же с поручителей брались поручные записи. Таким образом, записи показывают различные стороны общественного и семейного быта горожан, принадлежащих к разным социальным группам.

Общественная жизнь города ярко характеризуется также «памятями» — своеобразными должностными инструкциями. Памяти давались различным должностным лицам в городе (например, стрелецкому голове, биричу и др.) и содержали как общие указания об исправлении должности, так и конкретные поручения, например «кликать по торгам не по один день» о том-то и том-то[61]. Как содержание этих поручений, так и способы их выполнения (например, выкликание известий, причем указывалось лишь их общее содержание, а не точный текст, который должен был «выкликнуть» бирич) характеризуют быт феодального города.

Уже самая формулировка таких памятей, употребление ими множественного числа («по торгам») указывают на то, что в крупном городе бывало обычно не одна, а несколько торговых площадей. Например, в Астрахани в XVII в. имелось не менее трех базаров, в том числе русский и татарский, на каждом из которых должен был «выкликать» бирич[62]. Разнообразие содержания передаваемых через биричей известий характеризует сложность городской жизни. Бирич должен был объявлять и постановления о правилах торговли (например, что оптовая купля-продажа разрешается с утра до такого-то часа, а розничная — только после этого часа), и распоряжения местных властей, касающиеся противопожарной безопасности, и известия о городских происшествиях (вплоть до побега крепостного или пропажи вещи) — словом, как мы уже говорили, бирич был своеобразной живой газетой города.

Память предписывала городскому воро́тнику «накрепко стеречь» въезд и выезд из города, открывать и закрывать ворота в положенные часы. Из такой памяти мы узнаем не только о режиме городской жизни, но и о счете времени, который отличался от современного (часы дневные и ночные).

Пожалуй, еще больше материалов о городской жизни содержат воеводские наказы — инструкции, даваемые центральным правительством воеводам, направляемым в разные города Московского государства. В этой группе актов XVII в. есть ряд общих мест, повторяющихся независимо от того, в какой именно город отправлялся воевода. Так, в каждом наказе повторяется категорический запрет жителям города топить летом домашние печи (а для варки пищи полагалось иметь на огородах особые печи) и сидеть по вечерам с огнем[63]. Это была важная по тем временам мера против пожаров, бывших настоящим бичом для тогдашних городов. Попутно мы узнаем, что при каждом доме имеются огороды,

и в тех же наказах, хоть и не так часто, упоминаются городские выгоны и сенокосы, что говорит о содержании горожанами домашнего скота.

Другим важным общим местом наказов был запрет корчемства и варки вина, пива и браги. Воеводам предписывалось, однако, разрешать варить хмельное к семейным праздникам — свадьбам, крестинам, именинам и т. п. Это «послабление» имеет большую важность для этнографа, раскрывая некоторые особенности семейного быта горожан.

Вместе с тем воеводские наказы содержали различные указания, имеющие значение именно для данного города. Так, предписываемый ритуал смены воевод был различен для городов центральных русских областей и, например, для Якутска, где приходилось считаться с местной якутской знатью и устраивать для нее отдельные приемы [64].

Особый интерес представляют наказы воеводам, направляемым в западные и юго-западные пограничные города. В них ярко выступает специфический быт этих городков, вся жизнь которых протекала под постоянной угрозой неприятельского нападения, так что воевода должен был лично следить за тем, чтобы ворота запирались вовремя, держать у себя крепостные ключи и высылать ежедневно по нескольку раз разведку, прежде чем приказать выпустить на пастбище скот. В жизни такого городка особую роль играл вестовой колокол, сигналы которого на разные тревожные случаи точно определялись. Такая регламентация существовала не только в XVII, но и в XVIII в., а в Сибири, на Кавказе и в Средней Азии — и в XIX в.

Переписка, связанная со сменой воевод, вообще богата упоминаниями явлений общественной и частной жизни горожан. Бывали (впрочем, не очень часто) случаи досрочной смены воеводы или увольнения менее значительных членов местной администрации по жалобам — челобитьям — населения. В таких челобитных грамотах и в материалах расследований, учиняемых в связи с жалобой, выявляется множество конкретных черт городской жизни и материальной культуры горожан.

Особенно интересно следствие по делу калужского воеводы, ведшееся в 1660 г.[65] Земский староста г. Калуги Васка Моисеев «и все посадские люди били челом» царю на воеводу — думного дворянина Ивана Еропкина и его сына Автамона, что оба они берут взятки, велят поставлять воеводе и его семье продукты, строить воеводский дом, назначают горожан не в очередь строить и чинить укрепления, сажают их без вины «для взятку» в тюрьму, наживаются на постоях войск и на транзитной торговле, не пропуская без «посулов» мимо Калуги стругов вверх по Оке из Нижнего Новгорода и вниз по Оке из Мценска. Отношения воеводы с посадской общиной были очень плохи и доходили до публичных оскорблений, воевода называл Моисеева «старостишкою», «а вы, мирские люди, — говорил он, — слина» [66].

Всего обвинения посадских людей против воеводы содержали 19 статей. По делу было назначено следствие, в ходе которого допрошено более 240 человек. Из опубликованных документов неясно, чем кончилось это дело, но для историка и этнографа чрезвычайно интересен как сам процесс, так и названные в ходе его факты. Выяснилось, что воевода «не давал своей печати» (т. е. разрешения) на пропуск стругов из Мценска вниз по Оке и из Нижнего Новгорода вверх, пока ему не подносили, например, белугу ценою в 1 р. или несколько щук, по 20 алтын каждая [67]. Тут есть сведения и о порядке судоходства по Оке (видимо, при проезде мимо Калуги требовался пропуск с воеводской печатью), и о развитии рыболовства и торговли рыбой, перевозившейся на большие расстояния, и даже о том, что в Оке или в Волге водилась тогда какая-то особо крупная белуга, если цена одной рыбы могла достигать рубля.

Посадскую общину воевода принудил построить для себя «избу на подклети да сени и в сенях два чулана», что по заявлению челобитчиков обошлось посадским в 200 рублей. «А по досмотру, — читаем мы в деле,— на воеводском дворе поставлена горница вновь, по мере 3 сажен, вверх 30 венцов, в отрубе лес 5 и 6 вершков, в горнице чулан

дощатой, да перед горницею сени бревенные, а в сенях два чулана, один — дощатой, другой — бревенной елового лесу да из сеней в другие сени переходы по мере 3 сажен, а горница да сени крыты дранью. Да поставлен омшеник 3 саж. вверх 11 венцов, в отрубе лес 5 и 6 вершков. А поваренной подрубки елового лесу 9 венцов да поверх подрублено полчетверта венца покрыто дранью, длинныя стены по мере 4 сажен, а поперег 3 саж.» [68]. Как видим, указанные в челобитной факты подтвердились даже с лихвой: кроме избы или горницы с сенями и чуланами, были сооружены еще переходы, омшаник и поварня. Но Автамон Еропкин не признавал, что эти строения стоят так много. Он ссылался на то, что в том же году в Калуге «подьячей Василий Агеев купил двор с хоромы: на дворе горница о дву житьях да повалуша, меж ними сени на жилых подклетях, в сенех чулан да погреб, да ледник, над погребами сушило 4 саж., сарай да баня по мере 14 саж., поперег 9 саж., ворота створчаты да огород по мере 21 саж, с яблонями, двор весь в городьбе; дано за тот двор 45 руб...». Там же якобы «посадской человек Тихонко Кирпичников купил двор, на дворе хором: горница с комнатою на глухих подклетах да повалуша с роскаты на жилом подклете, промеж горницы и повалуши сени и изба с сенями, сушило, ледник да погреб, сарай, баня с сенми, конюшня, поварня; двор весь в городьбе, трои ворота и с садом; дано за тот двор 80 руб.» [69]. Аргументация воеводского сына сводилась к тому, что посадские указывают неправильную цену, что дворы с гораздо большим числом построек продавались в Калуге по значительно более низкой цене. Установить истину, исходя из документов этого дела, трудно. Но для исследователя чрезвычайно ценны содержащиеся здесь сведения о материале, конструкции, числе и названиях городских построек. В частности, обращает на себя внимание чрезвычайная добротность строительных материалов: на стройку шли толстые еловые бревна (диаметром 25—30 см). Высота избы из 30 венцов должна была быть 8—9 м, не считая кровли.

Что содержание воеводы обходилось горожанам недешево, мы видим из расходной книги вятского земского старосты. Но калужский воевода стоил калужанам еще больше. На его «домовые харчи медом и деньгами, и пивные вари, и работников, и рыбы, и мяса, и сен, и лучины, и дров, и деревянной посуды и свечь сальных» ушло в год 83 рубля 19 алтын 2 деньги [70]. Кроме того, воевода заставлял ремесленников выполнять разные работы. Например, портной Ларка делал для него «кафтан шубной, чекмень, шубку крашенинную» [71]. В последнем случае речь идет, по-видимому, о женском сарафане.

Из челобитной мы узнаем еще об одном явлении общественной жизни города, которое воевода сумел использовать в своих корыстных интересах. Заключенные в тюрьму должны были платить определенные взносы — «влазное» и «хоженое» [72] в пользу администрации, и, безвинно сажая посадских людей в тюрьму, воевода не только терроризировал население, но и обеспечивал себе и своим приближенным определенный дополнительный доход. Средством давления на посадских людей был и воинский постой. Горожане жаловались, что размещаемые в их дворах солдаты «бьют и грабят и ночью клети ломают и животы крадут и в торгу продают, и женам их и детям бесчинство делают» [73]. Характерно, что здесь упоминается тот же типичный случай разбоя — похищение скота из клети, который трактуется еще в Русской правде.

Мы остановились подробно на этом конфликтном деле 1660 г., чтобы показать, каким ценным источником служат его документы для изучения городского быта.

Различного рода жалобы — «изветы» — и следственные материалы по ним вообще составляют одну из наиболее ценных для исследователя разновидностей актов [74]. В них отражены, пожалуй, все стороны жизни горожан: их основные и подсобные занятия, материальная и духовная культура, общественный и семейный быт. Городовые служилые люди — стрельцы и казаки — жалуются на воеводу, что он принуждает их жить

«в городе», т. е. внутри укреплений, в детинце, тогда как им удобнее селиться на неукрепленной окраине, поближе к отведенным для них участкам земли, просят приказать воеводе «избенок наших на гумнах не ломать» [75]. В свою очередь воевода пишет, что ему нельзя держать город в боевой готовности, если стрельцы и казаки не будут жить в крепости, которую и должны оборонять [76]. Поп жалуется, что его обворовали, и в числе похищенного имущества называет два сошника с полицами [77]. Все это показывает, как важны были для горожан подсобные земледельческие занятия и какое влияние они оказывали на сложившуюся ранее социальную топографию города.

Шуянин — посадский человек города Шуи — жалуется на грабеж, совершенный соседом, и из перечисления ограбленного мы видим, что этот посадский человек — художник, иконописец, получаем представление о его инструментах, материалах и домашней обстановке [78]. Вообще в жалобах на воровство и грабеж перечисляется весь домашний скарб.

Мастер-ремесленник жалуется на то, что от него сбежал ученик и «снес» ценные вещи (чаще всего — теплую одежду). Горожане жалуются на бесчинства местных дворян, граничащие с разбоем: они врываются даже во дворы, «проломив ворота» [79], и перед нами явственно выступает замкнутый характер городского двора. Ростовский митрополит сетует, что местный кабацкий голова приходит с товарищами в городской собор нетрезвым и учиняет шум и это мешает даже церковной службе [80].

Служилые люди — ворóтники — жалуются на то, что их заставляют выполнять обязанности заплечного мастера, который не то умер, не то скрылся безвестно, и просят освободить их от этого, поскольку такие занятия им чужды и они даже не умеют делать того, что полагается делать палачу при допросах и наказаниях: «Государевы воеводы заставляют нас сильно (т. е. насильно. — *М. Р.*) виновных людей кнутом бить и пытать, а мы преж сего кнутом не бивали и не пытывали, и служивали твою государеву службу в городе у ворот, и нынеча нам от того насилства разбрестися розно» [81].

Наконец, «тюремные сидельцы» — заключенные просят починить водоотводную трубу в Китай-городе, поскольку местность затопляется и «как бы нам, твоим государевым тюремным сидельцам, от течи водныя в конец не погибнуть». Помета дьяка сообщает, что велено трубу починить [82]. Так переплетаются сведения об общественном быте и городском хозяйстве. Мы привели здесь, разумеется, лишь некоторые примеры возможного использования материалов, содержавшихся в разного рода изветах и челобитных.

Особое место среди актового материала занимают грамоты, посылаемые вышестоящими по феодальной иерархии лицами нижестоящим. Например, архиепископ посылает грамоту в один из городов своей епархии о том, что по имеющимся сведениям местное духовенство редко совершает крестные ходы. Он предписывает делать это чаще, упорядочить процедуру, причем выявляется и участие в церемонии крестного хода разных социальных групп, в частности стрельцов. Общеизвестны пастырские послания и царские грамоты, порицающие разного рода «бесовские действа» — «скакания, плясания и плескания» — словом то, что было характерно для дохристианских народных празднеств и широко бытовало даже в крупных городах еще в XVI—XVII вв. В этих грамотах порицаются не только народные песни и пляски, трапезы с неумеренными возлияниями и светской музыкой, но и такие распространенные военные игры молодежи, как кулачные бои [83]. Резко отрицательное отношение авторов к подобным действам, нередко искаженные описания не могут, однако, лишить эти грамоты большой ценности для историка и этнографа, изучающего общественный быт городов.

Быт городского торга с его рядами и лавками, гостиными дворами, службой мер и весов, купеческими обществами и государственной администрацией, отношения купеческой общины с духовенством лучше всего отражены в уставных и данных грамотах, определяющих, например, при-

вилегии Иваньского купеческого «ста» в Новгороде Великом[84], единицы меры и веса, которые были обязательны для данного торга, процедуру церковного торгового суда[85], привилегии иноземных гостиных дворов и порядки на городском гостином дворе, принадлежащем городскому купечеству. Содержание гостиных дворов, факторий, торговых бань и других учреждений, связанных с торгом и сдававшихся на откуп, регламентировалось также соответствующими актами — откупными грамотами[86]. О содержании таких дворов, столь необходимых городу для обеспечения торговых связей с другими городами и землями, имеется обильный материал. Переписка по этим делам — жалобы купцов на плохое содержание двора и жалобы откупщиков на обман при заключении условий откупа занимают довольно видное место среди изданных актов[87]. Переписные книги фиксировали число и характер построек на этих дворах и в торговых банях[88].

Мы рассмотрели здесь лишь некоторые виды и разновидности письменных источников, стремясь показать специфику этнографического подхода к ним. При этом был взят сравнительно узкий аспект рассмотрения источников как материала для изучения этнографии города, городского образа жизни. Имелись в виду преимущественно широкие круги — не только феодалы и их окружение (эта группа городского населения чрезвычайно полно описана представителями упомянутой нами историко-этнографической школы и в особенности самим И. Е. Забелиным), но главным образом ремесленники, купцы, духовные, военные— словом, весь городской люд, население города во всей его социальной сложности.

При историко-этнографическом изучении города письменные источники должны сочетаться с материалами археологических раскопок, вещевыми музейными коллекциями, изобразительными источниками, а также данными языка и фольклора, наконец, с художественными литературными произведениями современников[89]. Но изучение письменных, и в частности документальных, источников в этом аспекте имеет свои особенности, на которые мы и стремились обратить внимание читателя.

[1] *Сахаров И.* Сказания русского народа о семейной жизни своих предков. СПб., 1837. Ч. 1, 2; *Терещенко А. В.* Быт русского народа. СПб., 1848, с. 1—4.

[2] *Рабинович М. Г.* Очерки этнографии русского феодального города. М.: Наука, 1978, с. 281.

[3] Там же, с. 9.

[4] Достаточно вспомнить обстоятельства находки знаменитой Новгородской первой летописи: монахи Юрьева монастыря готовились выбросить ее в Волхов.

[5] Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. — ПСРЛ, СПб., 1863, т. XV, стб. 408.

[6] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов: Комиссионный список. М.; Л., 1950, с. 337.

[7] Например, первые издания Русской Правды предприняты еще во второй половине XVIII в. (см.: Правда Русская, данная в одиннадцатом веке от великих князей Ярослава Владимировича и сына его Изяслава Ярославича. СПб., 1767), а исследования ее — в первой половине XIX в. (см.: Древнейшее русское право в историческом его развитии/ Соч. Г. Ф. Эверса; пер. с нем. Ив. Платонова. СПб., 1835; Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды; Рассуждение, писанное для получения степени магистра кандидатом прав Ник. Калачовым. М., 1846). С тех пор об этом источнике создана обширная литература.

[8] См. издания Археографической комиссии: Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства (далее: АЮ). СПб., 1838; Акты, относящиеся до юридического быта древней России.../ Под ред. Н. Калачова (далее: АЮБ). СПб. Т. I, 1857; Т. II, 1864; Т. III, 1884; Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России/ Собр. и изд. А. Федотов-Чеховский. Киев. Т. I, 1860; Т. II, 1863; Акты исторические и юридические и древние царские грамоты Казанской и соседственных губерний. Казань, 1859. Т. I.

[9] См. издания Археографической комиссии: Акты исторические. СПб., 1841. Т. I, II; Дополнения к актам историческим (далее: ДАИ). СПб., 1846—1875. Т. I—XII; Акты феодального землевладения и хозяйства (далее: АФЗиХ). М., 1951—1961. Ч. I—III; Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV—начала XVI в. М.: Изд-во АН СССР, 1952—1964. Т. I—III (далее: АСЭИ).

[10] Укажем выборочно: Старинные акты, служащие преимущественно дополнением к описанию г. Шуи и его окрест-

ностей (далее: АШ). М., 1853; Акты Московского государства (далее: АМГ). СПб., 1890—1901. Т. I—III; Акты времени правления царя Василия Шуйского. М., 1914; и др.

[11] *Рубинштейн Н. Л.* Русская историография. М.: Госполитиздат, 1941, с. 418—420.

[12] Там же, с. 419.

[13] *Забелин И. Е.* История города Москвы. М., 1902; *Он же.* История русской жизни. М., 1876—1879. Ч. 1, 2; *Он же.* Домашний быт русского народа. М. Ч. 1. Домашний быт русских царей, 1862; Т. II. Домашний быт русских цариц, 1869.

[14] Повесть временных лет. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950, т. I, с. 11—13 (далее: ПВЛ, I).

[15] ПВЛ, I, с. 12, 14—15; Летопись по Воскресенскому списку. — ПСРЛ, СПб., 1856, т. VII, с. 10.

[16] *Токарев С. А.* История русской этнографии: (Дооктябрьский период). М.: Наука, 1966, с. 23—29.

[17] Повести о начале Москвы/ Исслед. и подгот. текстов М. А. Салминой. М.: Наука, с. 200—205 и др.

[18] Повести о Куликовской битве/ Изд. подгот. М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. М.: Изд-во АН СССР, 1959, с. 52—56 и др.

[19] Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911; *Серебрянский Н.* Древнерусские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М., 1915; Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. IV. Повести религиозного содержания, древние поучения и послания, извлеченные из рукописей Николаем Костомаровым.

[20] См.: *Тихомиров М. Н.* Источниковедение истории СССР. М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1962, вып. 1, с. 123—125.

[21] Советская историческая энциклопедия. М., 1961, т. 1, с. 313.

[22] Например, упомянутое выше издание «Акты, относящиеся до юридического быта древней России» содержит следующие рубрики (расположенные в алфавитном порядке, с сохранением орфографии подлинника): выборы, выписи, грамоты, данные, дела, дельные, доезды, доклады, допросы, досмотры, духовные, записи, изветы, кабалы — заемные, закладные, служилые, книги — дозорные, записные, кабальные, межевые, отказные, отмерные, передельные, переписные, перечневые, платежные, приходные, расходные, строельные, таможенные, ямские — купчие, межевые, меновые, мировые, наемные, наказы, оброчные, отводные, откупные, отписи, отписки, отпускные, отсрочные, памяти, писания, письма, платежные, подорожные, подписки, порядные, поручные, поступные, посыльные, приговоры, приказы, промытные, протрои (грамоты о выборе или поставлении духовных лиц), проезжие, разборы, разъезды, розводные, роздельные, розрубные, росписи, росписки, роспросные речи, рядные, сговорные, сделочные, сказки, сметы, списки, срочные, ссудные, ставки очные, ставленые, статейные списки, указы, ценовные, челобитные, явки.

[23] Основные публикации древних актов мы уже указали. Прибавим к ним «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук» (далее: ААЭ). СПб., 1836. Т. I—III; Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. (далее: ДДГ). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Ссылки на другие сборники актов будут даваться ниже по мере надобности.

[24] *Арциховский А. В., Тихомиров М. Н.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М.: Изд-во АН СССР, 1953; *Арциховский А. В.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952—1961 гг.). М.: Наука, 1954—1962; *Арциховский А. В., Янин В. Л.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962—1976 гг.). М.: Наука, 1978.

[25] ПВЛ, I, с. 25—29, 34—39.

[26] Там же, с. 38—39.

[27] Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949, с. 10, 11, 16 и др.

[28] ДДГ, с. 185—186.

[29] Русская Правда. Пространная редакция, ст. 26, 28. М.: Госюриздат, 1952. Вып. I (Памятники русского права, далее: ПРП).

[30] Судебник 1589 г. Краткая редакция, ст. 53. — В кн.: Судебники XV—XVI вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 365.

[31] Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. — ПРП. М.: Госюриздат, 1957, вып. VI, с. 306—326.

[32] Городовое положение 1785 г. СПб., 1817, ст. 123, п. 60—94, 103—177; ст. 20, с. 5, 35—44 и др.

[33] Основные издания писцовых и переписных книг см.: Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1859—1910. Т. I—IV; Писцовые книги Московского государства. СПб., 1872. Ч. I—II, а также по отдельным городам: Писцовая и переписная книга XVII в. Нижнему Новгороду. СПб., 1896; Писцовая книга города Балахны 1674—1676 гг. — В кн.: Действия Нижегородской губернской архивной комиссии. Н. Новгород, 1913, т. III, вып. 1; Разрядный и разметный список о сборе с Новгорода и новгородских пятин ратных людей и пороха по случаю похода Казанского. — ААЭ, т. I, № 205; *Баландин Н. И., Червяков В. П.* Переписная ландратская книга Устюжны Железнопольской 1713 г. (далее: ПКУ). — В кн.: Аграрная история Европейского Севера СССР. Вологда, 1970, с. 196—252.

[34] ПКУ, с. 204. Материалы писцовых и переписных книг широко использованы для реконструкции усадьбы в работах: *Чечулин Н. Д.* Русские деревянные постройки в XVI в. — В кн.: Зап. РАО. СПб., 1893. Т. VI; *Рабинович М. Г.* Русское жилище XIII—XVII вв. — В кн.: Древнее жилище народов Восточной Европы. М.: Наука, 1975; *Он же.* Русская городская семья в XVIII в.: (По материалам переписной книги Устюжны Железнопольской 1714 г.). — СЭ, 1978, № 5.

[35] ПКУ, с. 210.

[36] Например, Болдинский Дорогобужский монастырь, видимо, не гнушался продавать подаренное случайным покупателям. В его приходной книге фигурируют деньги, полученные от продажи телогрей, кафтанов, однорядок, армяков, шуб, шапок и прочей светской, по большей части городской, одежды, иногда очень парадной («7 однорядок лазоревых и голубых шебединского сукна»), но часто и ветхой («шубенка да две рубатенки поношены выморские» проданы всего за 6 алтын 4 деньги). Это отражает обычай отдавать церкви одежду покойников («выморскую») «по душе», т. е. в уплату за поминанье, или светскую одежду при постриге в обмен на монастырскую. Реализацией всего этого ведал «платильный казначей» (1602—1604). — АЮБ, т. II, № 142-I, стб. 263—283.

[37] Расходная книга земского старосты Ивана Репина. Хлынов, 1678—1680 гг. — В кн.: Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 1906, вып. V—VI, с. 20—105.

[38] Указ о трапезах Сергиева монастыря 1590 г. (ныне в Загорске. — *М. Р.*). — ДАИ, т. I, № 135-I, с. 215.

[39] Указ о трапезе Тихвинской лавры, 1590. — ДАИ, т. I, № 135-II, с. 220.

[40] Там же.

[41] Там же, с. 221—222.

[42] Домострой по списку Общества истории и древностей российских. М., 1882, с. 144—163.

[43] См.: *Рабинович М. Г.* О древней Москве. М.: Наука, 1964; *Idem.* Die traditionelle Speise der Russen. — In: Ethnologia europaea. Bonn, 1971, Bd V; *Он же.* Свадьба в русском городе в XVI в. — В кн.: Русский народный свадебный обряд. Л.: Наука, 1978.

[44] ДДГ, № 87, с. 349—350.

[45] ДДГ, № 88, с. 351.

[46] Там же, с. 351—352.

[47] Подробнее о княжеских духовных грамотах см.: *Базилевич К. В.* Имущество московских князей в XIV—XVI вв. — В кн.: Труды Государственного Исторического музея. М.: ГИМ, 1926. Вып. III.

[48] См., например: АЮБ, т. III, № 328-IV, стб. 266—267; АШ, № 103. с. 185—188; № 163, с. 297—300.

[49] АЮБ, т. II, № 165, с. 520—524; АШ, № 132, с. 236—239; см. также: *Рабинович М. Г.* Русское жилище..., с. 230—233.

[50] АШ, № 132, с. 238.

[51] АЮБ, т. II, № 148-I-XVI, стб. 386—400.

[52] *Арциховский А. В., Борковский В. И.* Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1955 г. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Грамота № 141, с. 17—18; *Черепнин Л. В.* Новгородские берестяные грамоты, как исторический источник. М., 1969, с. 361.

[53] См.: АЮБ, т. II, разд. «Поручные».

[54] Труды Воронежской ученой архивной комиссии (далее: Тр. Воронеж. УАК), 1903, т. V. № 3079/1853, с. 463.

[55] Так, в Москве в 1683 г. была сдана изба с сенями и чуланом за 3 рубля в год. Съемщик обязался «вином и табаком не торговать и с воровскими людьми (т. е. с политически неблагонадежными; воры в нашем понимании назывались тогда татями. — *М. Р.*) не водитца и никаким дурном не промышлять и отжив год та изба с сенями очистить и наемные деньги заплатить» (АЮБ, т. II, № 258-8, стб. 803—804).

[56] См.: *Бахрушин С. В.* Ремесленные ученики в XVII в. — В кн.: Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1954, II; С. В. Бахрушин пользовался неопубликованными записями, хранящимися в ЦГАДА. Подобные же записи опубликованы в АЮБ, т. I, II; см. также: *Тальман Е. М.* Ремесленное ученичество Москвы в XVII в. — В кн.: Исторические записки. М., 1948, кн. 27.

[57] *Бахрушин С. В.* Ремесленные ученики..., с. 107.

[58] АЮБ, т. I, разд. «Записи».

[59] АЮ, № 287, с. 292—293.

[60] АЮБ, т. III, № 360-I, стб. 429.

[61] АЮБ, т. II, № 230-XIX, стб. 693.

[62] АЮБ, т. II, № 230-XVI, стб. 692—693.

[63] Например, в наказах воевод, назначенных в Москву, Углич, Шую, Печерники, Могилев, Усвят. См.: АМГ, т. I, № 249, 323; т. II, № 633, 739, 997; АШ, № 180; и др.

[64] АМГ, т. II, № 633, 739, 997 и др.

[65] АМГ, т. III, № 4, с. 2—15.

[66] Там же, с. 11. «Слина», т. е. слюна (воевода мог сказать, например, «тьфу»).

[67] Там же, с. 4.

[68] Там же, с. 2—3.

[69] Там же, с. 3.

[70] Там же, с. 4.

[71] Там же, с. 7.

[72] Там же, с. 4.

[73] Там же, с. 12.

[74] АЮБ, т. I, разд. «Изветы».

[75] АМГ, т. I, № 159, с. 442.

[76] Там же, № 210, с. 207.

[77] Тр. Воронеж. УАК, 1914, т. V, № 1828/602, с. 128.

[78] АШ, № 17, с. 28.

[79] *Александров В. А.* Памфлет на род Сухотиных (XVII в.) — История СССР, 1971, № 5, с. 120.

[80] АЮБ, т. III, № 357-I, стб. 412.

[81] АМГ, т. I, № 4, с. 2. Здесь небезынтересна и скрытая угроза побега из города («разбрестися розно»), встречающаяся в челобитных того времени.

[82] ЦГАДА. Столбцы Белгородского стола, № 83, л. 392—393.

[83] Русские достопамятности. М., 1877 т. I, с. 114; ААЭ, т. III, № 264.

[84] Устав новгородского князя Всеволода Мстиславича купеческой организации церкви Ивана на Опоках. — В кн.: Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. М.: Наука, 1976, с. 160—163.

[85] Устав великого князя Всеволода о церковных судах, и о людях, и о мерилах торговых. — В кн.: Древнерусские княжеские уставы..., с. 154—158.

[86] АЮБ, т. II, № 206, стб. 619—620.

[87] АШ, № 49, с. 91—92.

[88] ДАИ, т. III, № 121, с. 522; АЮБ, т. II, № 143, стб. 300; № 182, с. 577.

[89] См.: *Рабинович М. Г.* Очерки этнографии..., с. 9—13.

Л. А. Фадеев

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В «СОВРЕМЕННИКЕ» А. С. ПУШКИНА

В своем труде, посвященном истории русской этнографии, С. А. Токарев выражает сожаление, что «никем еще не проделана весьма настоятельная работа по выявлению того богатства этнографических знаний, какое содержится в русских литературных, публицистических и научных журналах первых десятилетий XIX в.» [1].

Очевидна обширность и сложность этой задачи. Решение ее — дело будущего. Оно, вероятно, потребует особой методики исследования: этнографическая проблематика здесь тесно переплетается с историко-литературной.

Данная статья представляет собой попытку разработки указанной методики на материалах лишь одного журнала — «Современник», издававшегося А. С. Пушкиным. Такой опыт представляется оправданным. Несмотря на кратковременность своего существования — 1836 и начало 1837 г. (вышло всего пять томов), этот журнал сыграл значительную роль в развитии этнографических знаний в России.

Ценность материалов «Современника», затрагивающих этнографическую тематику, определяется хорошо продуманной ее постановкой и передовой позицией журнала в общественно-политическом отношении. Непреходящее значение сохраняют все материалы такого рода, написанные для «Современника» самим А. С. Пушкиным, в том числе и черновые.

История возникновения «Современника» хорошо изучена, но нам придется все же на ней остановиться, чтобы указать на некоторые ее особенности, обусловившие интерес Пушкина к этнографической тематике в журнале.

О собственном периодическом издании Пушкин стал думать с 1831 г., после прекращения «Литературной газеты» А. А. Дельвига. Сначала замышлялась газета. Сохранились письма поэта к официальным лицам, в том числе к начальнику III отделения А. Х. Бенкендорфу, содержащие просьбу разрешить такое издание. Пушкин мотивировал это намерение своими материальными нуждами и брал на себя обязательства сохранять лояльность в отношении правительства.

Благодаря В. А. Жуковскому и министру просвещения Д. Н. Блудову осенью 1832 г. соответствующее разрешение от А. Х. Бенкендорфа было получено. Однако замысел этот не смог осуществиться. Ввиду отсутствия средств и опыта Пушкин был вынужден обратиться к крупным издателям, сначала к Н. И. Гречу, а затем к экономисту Н. И. Тарасенко-Оттрешкову, дельцу-предпринимателю, имевшему, как потом было установлено, связи с III отделением. По мере выяснения отношений с издателями Пушкин все более и более убеждался в невозможности работы с ними.

Все же он не оставлял мысли об организации собственного периодического издания. Необходимость издания журнала, способного донести до русского читателя прогрессивные веяния, несмотря на требования цензуры, глубоко сознавалась и единомышленниками Пушкина, кружком литературных друзей.

Как-то «на субботе» у В. А. Жуковского, где, кроме Пушкина, присутствовали П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, И. А. Крылов, П. А. Плетнев, читали письмо А. И. Тургенева из Парижа. Все пришли в восторг, единодушно воскликнув: «Жаль, нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток!» [2].

Мысль о журнале буквально носилась в воздухе. Была очевидна и его форма. Летом и осенью 1835 г. Пушкин, по воспоминаниям современников, постоянно возвращался к этой идее, а накануне Нового года в письме к А. Х. Бенкендорфу снова просил разрешить ему такое издание: «Я желал бы в следующем 1836 году издать 4 тома статей чисто литературных (как-то повестей, стихотворений), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; наподобие английских трехмесячных review. Издание таковой review доставило бы мне вновь независимость, а вместе с ней и способ продолжать труды, мною начатые» [3].

Еще не дождавшись официального разрешения, 10 января 1836 г. Пушкин писал П. В. Нащокину: «Денежные мои обстоятельства плохи — я принужден был приняться за журнал. Не ведаю, как еще пойдет. Смирдин уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его „Библиотеки“. Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура — что с ними связываться невозможно» [4]. Как видно, намерение Пушкина вызвало серьезное беспокойство крупнейших книжных дельцов.

14 января А. Х. Бенкендорф официально известил министра просвещения С. С. Уварова: «... государем разрешено Пушкину издание трехмесячного журнала под предварительной цензурой» [5]. Ни царь, ни его чиновники не сомневались в широкой общественной значимости издательской деятельности Пушкина. Поэтому журнал был разрешен лишь на один год, а цензором к нему был приставлен один из самых свирепых литературных чиновников — А. Л. Крылов.

Портфель первого номера журнала был собран заблаговременно. Сразу же начались цензурные затруднения. Уже 14 апреля 1836 г. Л. В. Никитенко отметил в своем дневнике: «Цензура жмет Пушкина» [6]. Особенное сопротивление встретили «Парижские письма» А. И. Тургенева, по поводу которых Пушкин вынужден был обратиться непосредственно к председателю Петербургского цензурного комитета князю М. А. Дондукову-Корсакову в письме от 18 марта 1836 г. Но А. Л. Крылов продолжал задерживать прохождение статьи, ссылаясь на чрезвычайную занятость работой, что было формальным предлогом. Лишь после повторного обращения издателя к М. А. Дондукову-Корсакову для цензурования «Современника» 10 апреля был назначен еще П. И. Гаевский [7].

Пушкин взялся за дело горячо. Переписка его свидетельствует о том, что он старался привлечь к участию в журнале лучшие литературные силы России. Предприятие Пушкина было встречено русской интеллигенцией с большим одобрением, литераторы и ученые с величайшей охотой соглашались сотрудничать в «Современнике», предлагая лучшее из своих сочинений.

М. П. Погодин писал Пушкину 1 мая 1836 г. из Москвы: «Все мое — ваше... Какие статьи нужны Вам, мы поговорим в Москве. На первый случай могу предложить... новости из стран славянских, с которыми у меня живая корреспонденция. Об источниках для Слав‹янской› истории (вовсе не известных у нас) Шафарика» [8].

Несколько раньше, в конце февраля—начале марта, В. Ф. Одоевский спрашивал Пушкина, не согласится ли он напечатать предисловие к книге И. П. Сахарова вместо объявления о ней в «Современнике» [9]. Речь идет о монографии «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков». Из переписки видно, что Пушкин не только взял эту книгу для прочтения, но уже вел с В. Ф. Одоевским переговоры об ее использовании в журнале. Во всяком случае Пушкин отвечал В. Ф. Одоевскому, что для

№ 1 «Современника» он собирается взять вторую часть этой работы — «Русские народные загадки» [10].

Из письма Е. Ф. Розена от 4 февраля 1836 г., посылавшего в «Современник» стихи, видно, что Пушкин уже просил его дать в журнал и статьи [11]. Розен незамедлительно выполнил просьбу. В первом номере была опубликована его статья «О рифме» как о культурном новшестве у ряда народов.

Казанская поэтесса А. А. Фукс в письме от 24 мая того же года писала Пушкину: «... исполняя ваше приказание (писать для «Современника». — *Л. Ф.*), что есть посылаю: отрывки из Писем о скитах в Нижегородской губернии, два действия водевиля, первую главу моей повести, взятой из предания татарского об основании и переселении Казани, и одну элегию» [12].

Замечательно, что, помимо выражения готовности сотрудничать в журнале «Современник», все письма свидетельствуют об откликах на живой интерес Пушкина к работам на этнографические (или затрагивающие этнографические сюжеты) темы. Можно даже предполагать, что Пушкин несколько ранее сообщил своим корреспондентам о желательности представления работ такого рода. Так, с А. А. Фукс он встречался во время поездки на Урал. Не исключено при этом, что соответственно возможностям и кругозору каждого из авторов Пушкин очерчивал желательный круг вопросов: для историка Погодина — славистика, для поэта Одоевского и этнографа Сахарова — народный быт и фольклористика, для казанской поэтессы Фукс — предания и особенности жизни насельников Поволжья.

Весной 1836 г. Пушкин в последний раз был в Москве. Он хотел поработать в архивах над материалами давно уже замышлявшейся им истории Петра Великого, но главной заботой были дела «Современника», переговоры с московскими учеными и писателями, труды которых он желал видеть на страницах журнала.

4 мая в доме П. В. Нащокина, где Пушкин остановился, его посетил В. А. Соллогуб. «Мы начали говорить, — вспоминает тот, — об начатом им издании „Современника“». — «Первый том [13] был слишком хорош, — сказал Пушкин. — Второй я постараюсь выпустить поскучнее: публику баловать не надо». Тут он рассмеялся» [14].

За пушкинской шуткой, тонкой и многозначной, стояло серьезное намерение поэта усилить в «Современнике» (журнале литературном) значение материалов, посвященным строгим и сложным для тогдашних читателей научным вопросам. Для второго тома журнала уже набирались: «Мифология вотяков и черемис» А. Емичева и выполненный В. Золотницким разбор книги «Статистическое описание Нахичеванской провинции» (СПб., 1833). В Москве А. С. Пушкин намеревался встретиться с этнографом-фольклористом И. М. Снегиревым, автором книги «Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования о русских пословицах и поговорках» (М., 1831—1834), продолжавшим в это время работу над своим трудом «Русские простонародные праздники и суеверные обряды».

14 мая Пушкин вместе со Снегиревым читал корректуру третьего листа этой книги и просил его дать статью на эту тему в «Современник». Со своей стороны Пушкин обещался написать разбор книги Снегирева о пословицах. Кроме того, он просил ученого дать соображения относительно такого литературного памятника, как «Слово о полку Игореве». Пушкин сам в это время глубоко им заинтересовался [15]. Об этом он говорил в гостях у С. П. Шевырева. Там же за ужином Пушкин читал русские песни [16]. Все это как нельзя лучше подчеркивает ярко выраженный интерес Пушкина к этнографическим сюжетам, его пристальное внимание к работе тогдашних этнографов, стремление представить эту тематику читателям «Современника».

Пушкин последовательно проводил эту линию в журнале и, несмотря на кратковременность своей издательской деятельности, достиг в этом направлении значительных результатов.

Интерес к этнографической тематике в период издания «Современника» был продолжением давнего увлечения Пушкина, проявившегося достаточно ярко уже в ранних, «южных» поэмах — «Кавказский пленник» (1820—1821) и «Цыганы» (1824).

Увлечению в известной мере способствовал доминировавший тогда в науке и литературе культ так называемого «естественного человека», со свойственным ему противопоставлением испорченных нравов цивилизованного общества простой и чистой жизни «диких» народов.

Эти первые опыты наблюдения и осмысления жизни традиционных обществ, размышления над гибельными последствиями их столкновения с цивилизацией легли в основу углубленного изучения Пушкиным жизни русского народа еще во время ссылки в Михайловское в 1824—1826 гг. Тогда Пушкин шел от размышлений о народности литературы. Изучение сказок, собирание песен, пристальное внимание к нравам и обычаям простого народа были повседневной заботой ссыльного поэта. Результатом этой деятельности явился насыщенный фольклорными мотивами знаменитый пролог ко второму изданию «Руслана и Людмилы» («У лукоморья дуб зеленый...») и статья о народности литературы, опубликованная П. В. Анненковым в 1855 г. Из Михайловского Пушкин привез и тетрадь записанных им народных песен, частично изданных потом П. В. Киреевским.

Путешествие в Арзрум в 1829 г. открыло новый период в разработке Пушкиным этнографической тематики, связанной уже с «Современником», что завершилось созданием собственно этнографических работ [17].

Однако Пушкина — издателя «Современника» — этнография привлекала еще в одном смысле. Несмотря на все хлопоты, попытки обращения к царю и Бенкендорфу, несмотря на представления влиятельных друзей, Пушкину так и не удалось получить разрешения издавать литературно-политический журнал.

Появление еще одного источника политической информации, к тому же руководимого таким литератором, как Пушкин, внушало Николаю I и его чиновникам серьезные опасения. Очевидно, нежелательным было и появление столь значительного конкурента «Северной пчеле»: булгаринский официоз должен был распространяться без помех.

«Современник», по мысли августейшего цензора, мог иметь лишь литературное направление. В этих условиях обращение к этнографической тематике, исключительно широкой по охвату, обогащенной идеями любимых Пушкиным великих просветителей XVIII в., в известной степени восполняло отсутствие политической рубрики в журнале. Возникала возможность достаточно ясно и обоснованно ставить актуальные, важные для тогдашнего общества идеологические проблемы в завуалированной форме: так, под рабством понималось и крепостное право.

Этнографические знания освещали истоки народной жизни и культуры — обычаи, верования и предания. С ними была связана громадная по значению проблема народности искусства и литературы, решение которой сопровождалось жестокой, бескомпромиссной борьбой между прогрессивными силами и мертвящей рутиной, насаждавшейся самодержавием.

Изучение отношений между цивилизованными и первобытными народами вводило читателей в обширный круг идей об идеальном устройстве общества, о мерилах нравственной и политической жизни.

В многонациональной России сам по себе интерес к жизни угнетавшихся царизмом национальных меньшинств, боровшихся за свою свободу народов перерастал уже в чисто политический вопрос.

Наконец, знакомство с жизнью народов других стран не только расширяло кругозор русского читателя, но и непосредственно знакомило с нравами и формами буржуазной цивилизации, эпоха которой лишь начиналась.

Отвратительный цинизм и бесчеловечие буржуа вызывали в Пушкине, как и в Байроне, гнев и презрение. Но в отличие от Байрона он понял и роковое значение наступления буржуазной цивилизации для отсталых на-

родов. Это он ярко показал в III томе «Современника», в своем «Джоне Теннере».

В 30-е годы XIX в. этнография еще не сложилась в самостоятельную науку. Основные ее идейные установки и аспекты изучения только намечались, что позволяло Пушкину—издателю журнала более свободно, избегая цензурных препятствий, трактовать некоторые материалы в очень остром, злободневном, политическом смысле.

Этнографическая тематика представлена в «Современнике» многообразно. Зачастую она служит различным целевым установкам.

Как и следовало ожидать от литературного журнала, преимущественное внимание в нем было уделено не специальным этнографическим исследованиям, а художественно-публицистическому широкому показу культурно-исторических, культурно-политических, культурно-нравственных проблем. В этнографическом аспекте преобладал показ отношений между цивилизацией и традиционными обществами.

Уже говорилось, что для Пушкина было важно достаточно ясно и обоснованно поставить перед читателями ряд актуальных, значительных по тому времени вопросов, связанных с этнографией. Поэтому формальная рубрикация в журнале особой роли не играла. Использовались разнообразные жанры и виды литературного творчества: путевые очерки, письма, историко-литературные разборы и обозрения, литературно-теоретические статьи, сатирические очерки и пр.

Особенно ценны работы, выполненные для «Современника» самим Пушкиным, и не только в силу того, что они отмечены печатью гения. Значение их определяется последовательностью, концептуальностью пушкинского подхода к этнографии. Он хорошо представлял себе общественную значимость этнографических знаний, мог оценить дальнейшую перспективу их развития. Среди специально этнографических работ журнала выделяются три статьи, написанные самим Пушкиным. Ему принадлежит и первое место среди авторов журнала по объему статей, связанных с этнографической тематикой, а также по разносторонности метода и характера ее подачи. Подборка статей, неуклонное проведение основной идейной линии журнала, наконец, композиция отдельных номеров — все это сливается в неразрывное целое, составляет незаурядное, особенно приметное явление в истории отечественной этнографии.

* * *

Первый том журнала открывается «Путешествием в Арзрум», записками Пушкина о поездке на закавказский театр военных действий русско-турецкой войны 1829 г.

Живые и увлекательные этнографические зарисовки, сделанные поэтом, не только раскрывают оригинальные черты жизни и быта кавказских народов, но и выявляют сам метод наблюдений.

Поразительная жизненная активность Пушкина, тяга к общению с людьми, способность видеть главное позволяли ему делать попутно тонкие и глубокие наблюдения.

Он не обдумывал заранее, что и как нужно наблюдать, но его привлекало все, и всюду он находил для этого достойные объекты: в дороге, в саклях, в банях, на улицах городов и в чумном лагере.

Предпочтение в его статье, безусловно, отдается литературно-художественным мотивам; этнографическая информация органично вплетается в ткань произведения; она неотделима от повседневной, текущей жизни.

В этом убеждают, например, окрашенные юмором заметки о знакомстве с калмыцкой кухней и поэтичное описание осетинских похорон, в конце которого Пушкин сетует, что никто не мог объяснить ему «сих обрядов» [18]. То же можно сказать и про описание тифлисских бань и самого Тифлиса с его климатом и нравами.

Поражает верность взятого писателем тона, глубина оценки тех или иных культурных явлений, будь то сказанные мимоходом слова о так

называемой «азиатской роскоши» или цельный рассказ о посещении гарема арзрумского паши (т. I, с. 79—81).

Но там, где речь идет о притеснении малых народов, о разрушительном влиянии цивилизации, изложение становится строго этнографичным, лирическая окраска уступает место точной фиксации положения дел. Так, с горечью пишет он о тяжелых последствиях Кавказской войны и тут же указывает на лицемерие официальной проповеди Евангелия — «тщетно в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты» (т. I, с. 25—27).

Определенностью поставленной проблемы отличается также написанный Пушкиным для того же тома «Разбор сочинений Георгия Конисского» — видного церковного деятеля XVIII в. из Белоруссии. Пушкин обращает внимание читателей на развернувшееся в XVI—XVII вв. активное сопротивление широких масс белорусов и украинцев политике насильственной полонизации, проводившейся Речью Посполитой. Конисский, по словам Пушкина, «принес ... тихие сетования народа, издревле нам родного, но отчужденного от России жребиями войны» (т. I, с. 87).

Наибольшее внимание Пушкин уделяет рукописной «Истории Малороссии», которую в то время все историки считали главным трудом Конисского. Действительная принадлежность ее перу Г. А. Полетики, украиноведа и младшего современника Конисского, была установлена лишь в 1891 г. А. М. Лазаревским [19]. Проблематика и характер трактовки Г. А. Полетики близки взглядам Г. Конисского, но в данном случае это не существенно, так как Пушкина привлекала широкая постановка вопроса о месте и значимости традиционного уклада в государственной системе.

Разобрав «Историю Малороссии», Пушкин справедливо подчеркивает, «что одна только история народа может объяснить истинные требования оного» (т. I, с. 97). Следует обратить особое внимание на подтекст этой фразы.

По мысли Пушкина, белорусы и украинцы должны были обрести настоящее Отечество в России. Но, чтобы это могло исполниться, царской администрации следовало понимать и учитывать действительные нужды и запросы этих народов. Пушкин предостерегает от обычного бездушного администрирования, предлагая обширные выдержки из «Истории Малороссии» как иллюстрацию правления, чуждого и враждебного народу.

Историю Пушкин понимает здесь в широком, близком этнографии плане. Недаром он называет автора человеком «сведущим» «в старинных правах и постановлениях сего края» (т. I, с. 96). Целыми страницами приводит Пушкин содержащиеся в «Истории Малороссии» яркие описания борьбы украинцев и белорусов против чужеземного ига. Ведущая роль простого народа в этой борьбе особенно наглядна рядом с картинами измены украинской шляхты общенациональному делу.

Как объективный исследователь, Пушкин предостерегает читателей от некоторых пристрастий автора: «Любовь к родине часто увлекает его за пределы строгой справедливости» (т. I, с. 97). Эта характеристика справедлива в отношении обоих авторов — и Г. Конисского, и Г. А. Полетики.

Этнографической темы Пушкин коснулся в первом томе еще дважды: представляя читателям статью султана Казы-Гирея «Долина Ажитугай» и в аннотации, посвященной второму изданию «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. «Все, — пишет Пушкин, — обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой» (т. I, с. 311). В самом деле, это было первое в нашей литературе художественно совершенное и этнографически точное изображение украинского народа.

Из сочинений, присланных в журнал бароном Е. Ф. Розеном, для публикации в первом томе Пушкин отобрал статью «О рифме». Е. Ф. Розен ясно проводит мысль о народах — творцах культуры, связывая важнейшие общеевропейские культурные новшества, в том числе и рифму, с появлением на исторической арене «новых народов» (т. I, с. 133—137).

Народную поэзию он непосредственно связывает с психологией народа, называя ее «совершенно верным отражением самого народа» (т. I, с. 138). Е. Ф. Розен подчеркивает самобытность фольклора. «Первобытная поэзия всех коренных народов, не подверженных чужому влиянию, — пишет он, — была выражением чистых природных чувств и развивалась природным растением» (там же).

Подробно разобрав лишенные рифмы русские народные песни, Е. Ф. Розен в соответствии со своими историко-культурными воззрениями приходит к выводу, что родившаяся у арабов рифма, как инокультурное, чуждое европейской поэзии явление, влияла на нее не лучшим образом. Она внесла в европейскую поэзию дотоле мало ей свойственное шутливое, низменное, по его словам, выражение. Вывод этот важен для изучения культурных корней новой европейской поэзии, но еще более важно глубоко вдумчивое отношение Е. Ф. Розена к народной русской поэзии.

Второй том «Современника», вышедший из печати в июне 1836 г., замечателен богатством затронутых в нем тем, хорошо продуманным сочетанием литературно-художественных и научных, в том числе и этнографических, работ. Видимо, таким и хотел видеть свой журнал Пушкин. Во всяком случае, он писал 27 мая 1836 г. П. В. Нащокину: «Второй № Современника очень хорош, и ты скажешь мне за него спасибо. Я сам начинаю его любить, и вероятно займусь им деятельно» [20].

Здесь опубликована специально этнографическая статья А. Емичева «Мифология вотяков и черемис». Видимо, из цензурных соображений статья посвящена якобы благодетельному влиянию христианства на быт отсталых — «диких» или «некогда диких» — народов. Народные языческие верования именуются «черной каплей в глубине светлого сосуда». Однако действительный смысл статьи помогает раскрыть приводимая А. Емичевым история христианизации земель удмуртов (вотяков) и марийцев (черемис). «...Гонимые черемисы и вотяки, — пишет о них А. Емичев, — сгрудились в отдаленных местах обширной губернии и по-прежнему язычествовали и звероловили» (т. II, с. 181).

Только «расселение христиан», добавляет А. Емичев, привело к сокращению числа язычников и появлению так называемых «новокрещан» (там же). По приводимому замечанию советского критика М. П. Еремина, из статьи непреложно следует, что «„просвещение светом христовым“ свелось к тому, что удмуртов и марийцев согнали с лучших обжитых мест в лесную глушь» [21]. Автор, по сути дела, обличает лицемерную «просветительную» роль церкви. «Статья А. Емичева, — продолжает М. П. Еремин, — написана в тоне объективной научной информации. Но сочувствие притесняемым народам выразилось в ней вполне отчетливо» [22].

Статья А. Емичева содержит обширный фактический материал. Читатель мог познакомиться с пантеоном удмуртских и марийских богов, в котором были представлены олицетворения всех важнейших природных явлений, и с основными формами культа. «Каждая потребность, — справедливо заключает А. Емичев, — порождала новые мысли о началах сил природы» (т. II, с. 182).

В этом же томе помещен разбор «Статистического описания Нахичеванской провинции», изданного в Петербурге в 1833 г. под инициалами «В. Г.» (псевдоним военного историка и администратора В. Н. Григорьева). Разбор замечателен и статистическими познаниями его автора — В. Золотницкого, и свойственным ему глубоким пониманием историко-этнографического значения такого рода описаний.

Поправив грубо искаженные автором родовые имена, В. Золотницкий справедливо замечает: «Все эти названия поколений имеют свои значения; изменить их правописание значит уничтожить их смысл» (т. II, с. 222). На той же странице он уточняет этногенетические соотношения между кенгерлу, караджалу, карачорлю и куртинцами, произвольно сведенными автором в два племени.

Замечательны и его исправления в описании традиционной структуры и титулатуры должностных лиц у жителей Нахичеванской области. Мы

уже не говорим о многочисленных поправках к описаниям природных ресурсов, хозяйства и демографии.

Особенно насыщен этнографическими материалами третий том «Современника». Центральное место занимает сделанное самим Пушкиным изложение записок Джона Теннера. Пушкин возвращается здесь к затронутой еще в ранних поэмах («Кавказский пленник» и «Цыганы») идее о гибели и разрушении, которые цивилизация несет первобытным народам. Но здесь эти взгляды выражены более глубоко, более исторично, обоснованы конкретным этнографическим материалом.

Как явную несправедливость и бесчеловечность оценивает поэт отношение Соединенных Штатов к индейским племенам — «древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами» (т. III, с. 206). «Дикость, — с горечью говорит Пушкин, — должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся» (там же).

Он хорошо представляет себе, что промышленное развитие Штатов сыграет в этом процессе решающую роль: «„Дикость“ должна исчезнуть под напором буржуазной цивилизации, которая превратит континент в обработанные поля и гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский» (там же).

Неотвратимость истребления аборигенов придает, как справедливо полагает Пушкин, особое значение бесхитростному рассказу Джона Теннера. «„Записки“ драгоценны во всех отношениях. Они самый полный и, вероятно, последний документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека... они... будут свидетельствовать... о средствах, которые Американские Штаты употребляли в XIX в. к распространению своего владычества и христианской цивилизации» (т. III, с. 207).

С замечательной полнотой и ясностью определяет Пушкин значение этнографического источника. Истинное бытие племен безграмотных особенно занимает его. Ссылаясь на Вашингтона Ирвинга, он подчеркивает, что в изображении знаменитых романистов они похожи на настоящих «дикарей» не более, чем идиллические пастухи на пастухов обыкновенных (там же).

Соответственно своим взглядам на источник и анализирует Пушкин записки Теннера. Он подчиняет подборку отрывков из его сочинения задаче сколь можно более полной этнографической характеристики аборигенов. Он останавливается на наиболее важных событиях в жизни Теннера и на его приобщении к обычаям и нравам индейского племени (первый выстрел, голодовка, камлание матери и первая большая добыча Джона, лишения на охоте, кровная месть, предрассудки, любовь и брак и т. п.). Практически Пушкин знакомит читателей «Современника» с наиболее значительными моментами в общественной и частной жизни индейцев.

Особое внимание уделяет он бесчеловечной эксплуатации индейцев американским торговым капиталом. «Подвергаясь таковым трудам и опасностям, — пишет Пушкин, — индейцы имеют целью заготовление бобровых мехов, буйволовых кож и прочего, дабы продать и выменять их купцам американским. Но редко получают они выгоду в торговых своих оборотах: купцы обыкновенно пользуются их простотою и склонностью к крепким напиткам. Выменяв часть товаров на ром и водку, бедные индейцы отдают и остальное за бесценок; за продолжительным пьянством следуют голод и нищета, и несчастные дикари принуждены вскоре опять обратиться к скудной и бедственной своей промышленности» (т. III, с. 225). Обширные выдержки из записок Теннера, ярко рисующие печальные последствия американской торговли, Пушкин заключает горькой фразой: «Оставляем читателю судить, какое улучшение в нравах дикарей приносит соприкосновение цивилизации!» (т. III, с. 226).

Признание первостепенной роли этнографических исследований для понимания народных движений ясно выступает в статье Пушкина «Об истории Пугачевского бунта». Статья была ответом на критический разбор «Истории Пугачева», опубликованный военным писателем В. Б. Броневским в журнале «Сын Отечества» в 1835 г. Броневский упрекал Пушкина за «огромное» примечание к первой главе «Истории Пугачева», в котором даны обширные выдержки из этнографической работы Левшина.

«Полное понятие о внутреннем управлении яицких казаков, об образе жизни их и проч. необходимо для совершенного объяснения Пугачевского бунта; и потому, — пишет Пушкин, — необходимо и *огромное* (т. е. пространное) примечание... Я не видел никакой нужды пересказывать по-своему то, что было уже сказано как нельзя лучше г-м Левшиным» (т. III, с. 112).

Замечательно доверие Пушкина к народной устной традиции. Отвечая на спорный вопрос о поселении казаков на Яике, он говорит: «... предание могло сохранить то, о чем умалчивала хроника... Г. Левшин, опровергая Рычкова, спрашивает: как могла она (Гугниха) помнить происшествия, которые были *почти* за сто лет до ее рождения? Отвечаю: так же, как и мы помним происшествия времен императрицы Анны Иоанновны, — по преданию» (т. III, с. 111).

Здесь же Пушкин подчеркивает важнейший этноисторический факт, на который его предшественники не обратили внимания: «Есть разница между *появлением* казаков на Яике и *поселением* их на сей реке» (там же).

Особого упоминания заслуживает данное в том же томе журнала определение значения России в торговых отношениях с европейскими и восточными странами. В статье «Государственная внешняя торговля 1835 года» говорится: «Россия в отношении Запада есть государство земледельческой и скотоводственной промышленности, а в отношении Востока она является государством мануфактурным» (т. III, с. 269). В статье подчеркивается мысль о верхушечности европейской цивилизации России. Относительной представляется и культуртрегерская ее роль как поставщика мануфактурных товаров странам Востока. Этот вывод подкрепляется цифрами. Азиатская торговля составляет всего лишь $^1/_{11}$ часть всего русского экспорта (там же).

Насыщенность «Современника» научной информацией, столь ярко выступающая в третьем томе, усложняла издательскую деятельность Пушкина. Журнал явно обгонял свое время. Значимость помещенных в нем материалов не могла быть оценена по достоинству большинством тогдашних читателей. «Современник» не пользовался популярностью. При тираже первых двух томов в 2400 экземпляров разошлось не более трети. Уже летом 1836 г. Пушкину было очевидно, что академическая форма журнала ведет к большим убыткам. Он думал о возможной перестройке «Современника», предполагал привлечь к нему В. Г. Белинского, жившего тогда в Москве. Но для этого нужно было время. Скрепя сердце Пушкину пришлось пойти на уменьшение тиража (четвертый том был выпущен всего в 900 экз.) и сокращение историко-этнографического материала. В четвертом и пятом томах он дается лишь фрагментарно.

Следует, однако, указать на глубочайшую этнографическую разработку сюжета, персонажей, бытовых и массовых сцен в «Капитанской дочке», опубликованной в четвертом томе. Живую основу повести составляют исторические и этнографические изыскания Пушкина в связи с подготовкой «Истории Пугачева», особенно материалы поездки по Волге и Уралу осенью 1833 г. Но подробный разбор этого в полном смысле художественного произведения нуждается в специальном исследовании.

В пятом томе «Современника» был опубликован отрывок из рукописи Н. М. Карамзина «О древней и новой России». Работа покойного историка, видимо, привлекла внимание Пушкина широкой историко-культурной перспективой. В частности, Карамзин анализирует происхождение важнейших этнопсихологических свойств русского народа. Он придержива-

ется обычных для того времени представлений, связывая различные черты народного характера с определенными культурными влияниями, с проявлением в русских нравах якобы этнического субстрата. Так, с влиянием варягов — «мужественного и вольного» народа — он связывает свойственный верхам русского общества рыцарский дух, местническое самолюбие и т. п. Влиянию древних азиатских обычаев он приписывает приниженное положение женщин и «строгое холопство». В целом важнейшие этнопсихологические свойства русских он считает привнесенными, заимствованными у других народов. «Такая смесь в нравах, — пишет он, — произведенная случаями, обстоятельствами, казалась нам природною, и россияне любили оную, как свою народную собственность». Говоря о культурном отставании допетровской России, Карамзин отмечает сравнительно быстрое введение важнейших культурных достижений: бумаги, пороха, книгопечатания, библиотек и др., хотя и указывает на неблагоприятное влияние татарского ига (т. V, с. 97—98).

Князь П. А. Вяземский в своей статье о Д. И. Фонвизине одним из главных достоинств его сочинений в противовес Карамзину называет «умение схватить русские нравы и оставаться при них, не примешивая лживых красок к природным». Для Вяземского очевидна «русская веселость, которая должна существовать, как есть русская физиономия природная и нравственная» (т. V, с. 53).

В пятом томе перу Пушкина принадлежат лишь художественные произведения: «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времен», стихотворения последних лет. Но это не было отказом от идейной линии журнала. Пушкин вновь обращается к этнографии, считая, очевидно, крайне важным помещение в «Современнике» материалов такого рода.

Подготовительные выписки и наброски для журнальной статьи сохранились в бумагах Пушкина под общим заглавием «Камчатские дела».

Во время разработки материалов для «Истории Петра I» Пушкину стало ясно исключительное значение Сибири как источника средств в решении западноевропейских дел России. Проблемы освоения восточных земель, взаимоотношений с коренными народами, взаимодействия культур глубоко занимали Пушкина. Наиболее ярким примером была Камчатка, не только потому, что ее история была полна впечатляющих событий, но и потому, что можно было составить полное представление о ее аборигенах благодаря труду С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки».

Конспекты петербургского издания (1786) этой книги, хранившейся в личной библиотеке поэта[23], и составляют важнейшую часть работы Пушкина.

Пушкин начинает с подробного географического описания, уделяя при этом большое внимание русским и туземным названиям различных местностей, выделяя важные в этнографическом плане места: «Кануч или Крестовая (смотри любопытную надпись), реки Крюки и Ушки... знатны рыбными промыслами... Кырганик (близ оной Яр, где камчадалы гадают стреляя из лука)».

Значительное место отводится собственно этнографическим данным о жителях Камчатки (камчадалах, коряках и курилах) в согласии с планом статьи, где предусмотрены рубрики: «Описание Камчатки; жители оной».

Перейдя к народам, Пушкин записывает данные об их расселении, подразделениях («коряки бывают оленные и сидячие»), ономастике; особенно отмечает он смысл самоназваний и названия русских — «огненные люди». Привлекают его и имена камчадальские, как видно из его пометы в книге.

Кажется, ничто из этнического бытия камчадалов не ускользает от внимания поэта: верования, места первоначального обитания, брачные отношения с русскими, сбор ясака и т. п. При ссылке на Стеллера «о междоусобии камчадалов» он дал рубрику «Первобытное состояние».

Много страниц занимают собственно «камчатские дела» — отношения аборигенов с русскими, особенно царской администрацией.

Из этого конспекта ясно видно, что Пушкин намеревался показать лицемерность правительственной установки: «... противу иноземцев строгости не употреблять, коли можно обойтись ласкою...». Горестно звучит пушкинская фраза: «Камчадалы плодились, несмотря на то, что множество их погибало от снежных обвалов, от бурь, зверей, потопления, самоубийства, войны» [24].

Зрелостью научных (собственно этнографических) интересов отмечен этот труд да и другие труды последних лет жизни Пушкина. Правда, Пушкин идет за таким классиком этнографии, как Крашенинников, но сама подборка фактов, как и в «Джоне Теннере», говорит о самостоятельности и цельности его подхода к этнографическому материалу.

Не будет преувеличением сказать, что Пушкин в своих работах даже более этнографичен, чем многие современные ему путешественники и ученые, для которых этнография была делом жизни. Еще более существенно, что этнографические знания тесно увязывались с творчеством поэта, питали его, составляли органическую часть мировоззрения Пушкина, приобретая в силу этого громадное общественное значение.

Заголовок рукописи «Камчатские дела» помечен рукою Пушкина 20 января 1837 г. Всего через неделю трагическая смерть поэта оборвала работу. Последним трудом Пушкина оказался этнографический.

Отредактированный и проведенный через цензуру Пушкиным пятый том «Современника» вышел уже после его смерти. Том открывался статьей В. А. Жуковского «Последние минуты Пушкина». «В бумагах, после него оставшихся, — писал Жуковский, — найдено много начатого, весьма мало конченного; с благоговейной любовью к его памяти мы сохраним все...» (т. V, с. 1).

Движимые этой любовью и желанием помочь семье покойного, его друзья продолжали издание, но «журнал... уже не имел какого-либо направления и превратился в своеобразный „музей Пушкина“» [25]. Только первые пять номеров составляют столь памятный и важный для русского читателя пушкинский «Современник».

[1] *Токарев С. А.* История русской этнографии. М.: Наука, 1966, с. 181.

[2] *Гилельсон М. А.* П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969, с. 232.

[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949, т. XVI, с. 69—70. Речь идет в письме о журнале «Quaterly Review».

[4] Там же, с. 73.

[5] *Лернер Н. О.* Труды и дни Пушкина. СПб., 1910, с. 349.

[6] *Никитенко Л. В.* Дневник. М.: ГИХЛ, 1955, т. 1, с. 182.

[7] *Лернер Н. О.* Труды и дни Пушкина, с. 355.

[8] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. XVI, с. 110.

[9] Там же, с. 89.

[10] Там же. А. С. Пушкин писал и «№» и «том» о «Современнике».

[11] Там же, с. 82.

[12] Там же, с. 120.

[13] Первый том «Современника» вышел 11 апреля 1836 г.

[14] *Ашукин Н.* Москва в жизни и творчестве А. С. Пушкина. М.: Моск. рабочий, 1949, с. 192.

[15] Там же, с. 199.

[16] Там же, с. 198.

[17] Значение этнографии в жизни и творчестве Пушкина раскрыто в ряде работ: *Миллер В. Ф.* Пушкин как поэт-этнограф. М., 1899; *Кагаров Е. Г.* Этнографические мотивы в поэзии Пушкина. — СЭ, 1937, № 1; *Соколова В. К.* Пушкин и народное творчество. — В кн.: ОИРЭФА. М.: Изд-во АН СССР, 1951.

[18] Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. СПб. Т. I—IV, 1836; Т. V, 1837 (далее ссылки на журнал даны в тексте статьи, с указанием тома и страницы).

[19] *Лазаревский А. М.* Отрывки из семейного архива Полетики. — Киевская старина, 1891, № 4.

[20] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. XVI, с. 121.

[21] *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. М.: Худож. лит., 1976, с. 334.

[22] Там же.

[23] *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина: Библиогр. описание. СПб., 1910, с. 54.

[24] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., 1950, т. X, с. 344, 347—348, 367.

[25] *Смирнов-Сокольский Н.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М.: Всесоюзн. кн. палата, 1962, с. 447.

З. Д. Титова

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В ИЗДАНИЯХ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1845—1917)

Развитие этнографической библиографии в России теснейшим образом связано с Русским географическим обществом (РГО), в деятельности которого было ярко выражено библиографическое направление. Оно было первым ученым обществом, которое систематически занималось разработкой библиографии географии и этнографии [1].

К концу первой половины XIX в. этнография как наука тесно смыкается, с одной стороны, с географией, а с другой — с историей. Поэтому появлявшаяся в это время комплексная библиография географии, статистики, истории всегда включала и этнографические материалы.

И все же библиографических работ по этнографии явно не хватало. Исследователю приходилось самому разыскивать нужный материал, подчас просматривая массу небольших исследований, очерков и заметок, рассеянных в различных журналах и газетах. Не было почти ни одного журнала, газеты или дневника путешествия, где бы исследователь не мог найти нужных для себя этнографических сведений, а между тем использование этих материалов было затруднено из-за отсутствия соответствующей библиографии. Ощущалась явная необходимость сводных указателей этнографической литературы. Неудивительно поэтому, что одно из ведущих обществ России — Русское географическое — с первых шагов своей деятельности начало уделять большое внимание сбору и публикации библиографических материалов [2].

Уже временный устав Географического общества (1845) предусматривал создание четырех отделений: географии общей, географии России, статистики России и этнографии России. Согласно уставу 1849 г., число отделений сохранялось, но наименования им были даны другие: географии математической, географии физической, статистики и этнографии. Этнография сразу заняла почетное место в системе Географического общества, и Отделение этнографии сделалось на долгое время главным и самым влиятельным организационно-научным центром этнографической работы в России. Предметом деятельности Отделения этнографии являлась «не только антропология в тесном смысле, но и изучение наречий, нравов, обычаев разных народностей и в особенности изучение бытовых сторон жизни русского народа» [3].

Отделение этнографии организовало планомерный сбор этнографического материала на местах. К этой работе привлекалась широкая общественность по всей стране. Уже в 1847 г. отделением была составлена и разослана во многие места программа-наставление для собирания этнографического материала [4]. К 1853 г. число полученных с мест рукописей достигло двух тысяч. Материалы поступали от сельских и городских учителей, волостных писарей, служащих статистических комитетов, провинциальных врачей и т. д.

В том же году началась публикация лучших из присланных описаний в виде серии «Этнографических сборников», которых вышло шесть выпусков за 1853—1864 гг. Часть этих материалов печаталась также в дру-

гих изданиях Географического общества[5]. Во всех этих изданиях заняли прочное место библиографические публикации.

Таким образом, Русское географическое общество впервые в России поставило и успешно решило задачу создания библиографии по географии и смежным с нею дисциплинам, в частности этнографии, использовав для этого свои периодические издания.

«Географические известия» были специальным прибавлением к «Запискам РГО». Эти прибавления издавались отдельными выпусками, по 1—2 выпуска в месяц. Редактором издания был Н. И. Надеждин. В прибавлениях публиковались сведения о жизни иностранных ученых обществ и библиографические известия о книгах, атласах и пр. «Известия РГО» стали издаваться с 1865 г. В них публиковали текущие научные сведения, сообщения о действиях Общества, географические известия и библиографию.

Общество систематически занималось библиографией, совершенствуя и расширяя в своих изданиях соответствующий отдел. Если в «Географических известиях» отдел библиографии только зарождался, хотя уже была намечена ясная его программа, то в «Вестнике Русского географического общества» такой отдел получил дальнейшее развитие. Этому много способствовал редактор «Вестника», секретарь Географического общества В. А. Милютин, сделав его одним из интереснейших в журнале[6]. Милютин считал, что «одна из главных обязанностей специальных журналов — постоянно следить за литературой тех наук, которым журнал посвящен»[7]. С этой целью в отделе библиографии «Вестника» были созданы рубрики «Новые книги» и «Журналы и газеты». В «Известиях» отдел библиографии стал называться «Критика и библиография» и был еще более расширен.

Совет Русского географического общества с самого основания Общества возложил ведение отдела библиографии по различным наукам на соответствующие отделения. Это было сделано с той целью, что именно отделения «обязаны следить за всем ходом науки, составляющей предмет их занятий, и помещать по возможности полные обзоры всех новых сочинений, с кратким критическим разбором важнейших из них»[8]. Отделения энергично принялись за выполнение возложенной на них задачи. Особенно интенсивно работало в этом направлении Отделение этнографии.

Для информации читателей о вновь вышедших книгах и журналах отделение широко использовало страницы «Географических известий», «Вестника» и «Известий», где стали публиковаться сведения о русских и зарубежных сочинениях, проспекты новых отечественных изданий, критические обзоры периодики, рецензии и отзывы о печатных работах ученых, путешественников и пр. Однако очень скоро передовых русских ученых перестал удовлетворять такой способ информации о новых изданиях. Отделение взамен сухого перечня вышедших книг и журналов чаще начало аннотировать отдельные сочинения или даже давать на них развернутые рецензии. Однако отделение не ставило еще задачи полного учета всех издаваемых в России этнографических работ, хотя потребность в этом начала ощущаться все острее. Объяснялось это тем, что, помимо изданий Русского географического общества, этнографические статьи и материалы стали появляться во многих других изданиях. Немало их было в изданиях Московского общества истории и древностей российских, особенно когда с 1846 г. начали регулярно выходить «Чтения» названного общества. За 25 лет (1846—1870) там было напечатано более 50 этнографических статей и публикаций. Ценные этнографические материалы с 1867 г. печатались в «Записках Общества русского языка и словесности». Много капитальных этнографических сочинений было помещено начиная с 1868 г. в «Трудах» Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете и в «Известиях» Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете (с 1878 г.). «Известия» были близки к типу настоящего журнала, так как выходили периоди-

чески и имели хорошо поставленный библиографический отдел. Остальные же издания ученых обществ, как правило, выходили по мере накопления материала (число номеров в год не было определено, что дает основание считать их не журналом, а продолжающимся изданием). С 1875 по 1881 г. издавались исторические сборники «Древняя и новая Россия». Среди преобладающих статей по истории там были и «Описания русских городов, местностей... обычаев, нравов и т. п.». С 1881 по 1901 г. выходил сборник «Живописная Россия», где давались наряду с другими материалами и обстоятельные описания быта местного населения.

Во многих губернских городах стали издаваться непериодические сборники, частью официальные, частью — местных ученых обществ [9]. Во всех этих изданиях были широко представлены и этнографические материалы. С 50-х годов XIX в. возникают отделы Русского географического общества: Кавказский, Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский, Оренбургский, Туркестанский, Юго-Западный. Некоторые из них, правда, скоро закрылись, но другие функционировали, и в их изданиях скопилось немало ценного этнографического материала [10].

Этнографические статьи печатались также и в общих научных и литературных журналах — «Журнале министерства народного просвещения», «Вестнике Европы», «Русском вестнике», «Отечественных записках» и т. д.

Этнографическая литература так развилась, что следить за ней стало трудно, и назрела необходимость в составлении этнографических указателей.

Кроме того, надо напомнить, что Отделение этнографии с самого начала деятельности разослало в самые отдаленные уголки России специальные программы для собирания этнографических и фольклорных материалов, имело много корреспондентов на местах, вело обширную переписку с местными деятелями. В результате этого в скором времени с мест стало поступать большое количество материалов: описания жилищ, одежды, обрядов, а также записи фольклорных текстов. Большое количество новых сведений поступало в отделение от участников экспедиций, и оно росло. Отделение обратилось с ходатайством в Совет Географического общества о разрешении издавать при отделении специальный этнографический журнал. С осени 1890 г. стал выходить первый специально этнографический журнал — «Живая старина». Но, дав разрешение, Совет общества не выделил необходимых средств на издание журнала. Поэтому было решено собрать необходимую сумму путем подписки, а подписчиков просить внести деньги полностью. Журнал стал выходить по четыре выпуска в год, книжками в двадцать и более печатных листов, под редакцией председателя отделения.

Редакция журнала с первых дней работы старалась установить тесные связи с местными исследователями в различных районах страны. Социальный состав этих местных деятелей был очень разнообразен, но преобладали сельские и городские учителя, волостные писари, провинциальные врачи. «Живая старина» помещала на своих страницах преимущественно «новые», т. е. не опубликованные ранее, статьи незначительного объема и статьи из архива Географического общества. Тематика журнала была весьма разнообразна: изучение внешних и внутренних особенностей народов России и сопредельных с нею стран, изучение народных языков, наречий и говоров, народной поэзии, быта — вообще «живой народной старины». Благодаря такой тематике журнал имел репутацию «благонамеренного» направления и поэтому в 1891 г. по постановлению министерства народного просвещения был рекомендован для библиотек средних учебных заведений, а в 1892 г. допущен и в духовные семинарии. Журнал не играл активной роли в политической жизни, но постепенно получал более широкое распространение и завоевывал прочное место среди других периодических изданий по этнографии.

Журнал включал несколько разделов, в том числе раздел критики и библиографии, сохранившийся на всем протяжении издания «Живой ста-

рины». На последнем разделе мы и остановимся подробнее. Впервые в этом разделе начали помещать текущую и ретроспективную этнографическую библиографию.

Обзоры новых этнографических книг и сборников, изданных на русском и западноевропейских языках, печатались с 1906 по 1908 г. Вел этот раздел помощник редактора Н. Н. Виноградов [11]. Книги и сборники в обзорах располагались в алфавитном порядке авторов и заглавий, иногда сопровождались краткими аннотациями. В редких случаях давалась оценка того или иного издания. Ежегодно в обзорах рассматривалось от 30 до 130 книг. Обзоры текущих журнальных и газетных статей этнографического содержания из центральных и местных периодических изданий России печатались в «Живой старине» всего четыре года — с 1905 по 1908 г. Причину прекращения публикаций таких обзоров нам установить не удалось. «Живая старина» включала в свои обзоры статьи преимущественно из «Трудов», «Известий», «Ученых записок» Академии наук, ученых обществ и университетов. Из ведомственных журналов помещались обзоры статей «Журнала министерства народного просвещения». В среднем в год рассматривалось до 30 периодических изданий.

Редакция «Живой старины», придавая важное значение публикации обзоров этнографических статей, старалась в то же время печатать указатели, учитывающие по мере возможности всю этнографическую литературу в периферийных изданиях, малодоступных широкому кругу исследователей. Так, с 1898 г. в «Живой старине» появляется совершенно новый для этнографии тип указателей, дающий обзор статей в литовской периодической печати (видного библиографа С. И. Балтрамайтиса) [12] и в «Волынских губернских ведомостях» (местного библиографа А. И. Лященко) [13].

Оба автора рассматривают статьи в хронологическом порядке, а в предисловии определяют свои задачи и раскрывают построение указателей. Особенно подробно предисловие А. И. Лященко, где он отмечает, что хотя до него и был Указатель статей к неофициальному отделу «Волынских губернских ведомостей» за 1867—1879 гг. (сост. А. В. Братчиков), но он остался малоизвестным, а библиографический труд З. М. Пенкиной «Полесье» охватывает период только с 1855 по 1880 г. Таким образом, работа самого А. И. Лященко более полно раскрывает этнографическое содержание неофициальной части газеты почти за 50 лет.

Здесь уместно напомнить о той роли, которую сыграли вообще «Губернские ведомости» в изучении отдельных народов России. Они с самого начала их учреждения (с 1838 г.) стали широко предоставлять свои страницы для опубликования местных материалов, сделавшись, таким образом, в известной мере этнографическими и поэтому хорошо известными каждому этнографу. Появление каждого нового указателя, раскрывающего содержание газеты, приветствовалось учеными-этнографами, а редакции журналов охотно принимали такие указатели к опубликованию, что и сделала «Живая старина».

С середины XIX в. внимание этнографов было обращено на изучение народов Прибалтики и, как следствие этого, появился указатель известного этнографа и библиографа Э. А. Вольтера [14]. В предисловии автор подробно излагает историю этнографического изучения Литвы, отмечая, что появление его указателя объясняется всевозрастающим интересом литовской интеллигенции к поэзии, обычаям и обрядам родного края.

На страницах «Живой старины» за 1913 и 1915 гг. были напечатаны два очень ценных указателя — Б. Э. Петри [15] и Н. Ф. Познанского [16].

Обзор литературы за 1911 г. по этнографии, языкознанию и фольклору многих народов России дал этнограф, впоследствии профессор Иркутского университета по кафедре археологии и этнографии Б. Э. Петри. Его указатель включает все журналы, сборники и книги на русском языке, в которых встречается соответствующий материал (всего 508 названий). Расположен материал по губерниям, в пределах каждой губернии — по народам, ее населяющим. Сам автор считал свою

работу только опытом и надеялся восполнить те пробелы, которые в ней имеются, а именно: включить хотя бы важнейшие работы на иностранных языках; сообщить краткое содержание русских книг и статей; включить в круг рассматриваемых изданий наиболее крупные провинциальные газеты и т. д. Но намеченная им программа не была выполнена.

В обзоре Н. Ф. Познанского собрана этнографическая литература о русском населении России за 1914 г. Цель своей работы автор определил следующим образом: «Дать читателю по возможности полную картину того, какие работы появились за 1914 г. в области этнографии великорусов и что дают эти работы. Поэтому, не имея в виду библиографической полноты, мы отмечаем лишь значительные явления, давая при этом либо характеристику работы, либо краткое изложение ее содержания» [17]. Почти все рассматриваемые в обзоре материалы (52 названия) имеют подробную аннотацию и распределены по восьми отделам. Специально выделены библиографические указатели.

К сожалению, публикация подобных указателей через два года прекратилась, вероятно, из-за начавшейся первой мировой войны.

В библиографическом разделе «Живой старины» было помещено несколько ценных указателей по отдельным этнографическим темам, не утративших своего значения и в последующие годы. Так, в 1909 г. был опубликован указатель А. Н. Самойловича [18], специалиста в области этнографии тюркских народов, посвященный загадкам тюркских народов Поволжья, Урала, Сибири. В нем учтена литература с 80-х годов XIX в. по 1907 г. Материал расположен по народам.

В 1912 г. в «Живой старине» были опубликованы три указателя по литературе о сказках народов России. Тот же Э. А. Вольтер [19] дал подробный обзор латышских сказочных сборников Трейланда (148 сказок) и Лерхис-Пушайтиса (более 600 сказок). Кроме того, составитель кратко остановился на истории изучения латышских народных сказок с 1835 по 1907 г. В «Библиографии монгольской сказки» Б. Я. Владимирцова учтены книги и рукописные записи монгольских народных сказок. Автор отмечает, что монгольские сказки очень мало переводились на европейские языки, и поэтому издано всего несколько сказочных сборников; рукописное же богатство гораздо значительнее, но еще плохо использовано [20]. «Библиография якутской сказки» Э. К. Пекарского [21] включает тексты, переводы и исследования о сказках, изданных с конца XIX в.

Одним из важных видов этнографической библиографии были перечни работ этнографов, публиковавшиеся к юбилейным датам отдельных ученых или в виде приложения к некрологам. Подборка И. Н. Смирнова [22] посвящена ученому и журналисту, специалисту в области финских языков М. П. Веске. В небольшом некрологе дана его краткая характеристика и приведен перечень его этнографических работ, вышедших отдельными изданиями или напечатанных в журналах об эстонских народных песнях, народных сказках, а также материалы о результатах его поездок к марийцам и мордве. Всего в списке свыше 30 работ за 1874—1885 гг., данных в хронологическом порядке.

В 1893 г. С. И. Балтрамайтис поместил «Список печатных трудов Довконта» [23] — литовского литературоведа — по языкознанию, этнографии и фольклору литовцев. Здесь приведены работы ученого, опубликованные на западноевропейских языках с 1837 по 1864 г. (19 названий) и 19 названий рукописей.

Широко использовал форму биобиблиографии и Д. К. Зеленин. Он уделял внимание не только известным специалистам, но и провинциальным любителям, которые публиковали свои труды главным образом в малоизвестных периферийных изданиях. На этой основе им составлены подборки об А. А. Спицыне и П. А. Дилакторском.

Обзор трудов А. А. Спицына Д. К. Зеленин сделал в связи с 25-летним юбилеем его научной деятельности. «В таких случаях, — пишет Д. К. Зеленин, — всегда кстати подвести библиографические итоги» [24].

Труды Спицына (56 названий) относятся к археологии, истории и этнографии Вятского края и напечатаны в местных изданиях за 1880—1890 гг. Отметим также, что и его исторические и археологические работы далеко не безынтересны этнографу.

Другой обзор Д. К. Зеленина посвящен П. А. Дилакторскому[25], библиографу и этнографу Вологодской губернии. В хронологическом порядке он приводит те его работы, которые имеют непосредственное отношение к этнографии (17 названий за 1893—1906 гг.). Зеленин отмечает, что известный труд Дилакторского «Вологжане-писатели. Материалы для словаря писателей, уроженцев Вологодской губернии» также представляет для этнографа большой интерес, так как в нем, в биографиях авторов-вологжан собрана почти вся этнографическая литература о Вологодской губернии.

Оба обзора Д. К. Зеленина построены по единому плану и показывают последовательность развития научных интересов каждого из названных краеведов, а в конце приведена литература о нем.

Обзор Ф. И. Коновалова[26] посвящен памяти А. Н. Минха — научного и общественного деятеля Саратовского края, результатом неутомимых трудов которого явились многочисленные статьи и обзоры, напечатанные в специальных изданиях разных ученых обществ, а также в газетах. Мы находим у него значительное число исследований 1867—1912 гг. (87 названий) по археологии, географии и исторической этнографии как общего характера, так и специально по Саратовскому краю.

Следует сказать еще о двух указателях, которые несколько выпадают из общего раздела «Библиография» журнала «Живая старина». Первый указатель — «Материалы для сводного списка периодических изданий по этнографии, антропологии, фольклору и археологии в петербургских библиотеках» — составлен Э. А. Вольтером[27].

Описание разделено составителем на три части: 1) периодические издания, напечатанные славяно-русскими буквами; 2) периодические издания, напечатанные латинскими буквами; 3) список изданий, имеющихся в Берлинской, Мюнхенской и Венской библиотеках.

Материал расположен по первому слову заглавия: вслед за заглавием дано указание, в каких библиотеках издание находится. Учтено 707 статей. Приведен список сокращений для названных библиотек.

Второй указатель принадлежит С. И. Балтрамайтису[28] и посвящен литовским рукописям. Автор занимался несколько лет сбором библиографических материалов по географии, этнографии и статистике Литвы. Балтрамайтис не выпускал из виду и библиографических сведений о тех рукописях, где затронуто изучение литовского языка и письменности. Им зарегистрированы сведения о пятидесяти подобных рукописях XVI—XIX вв.

Библиографическая культура журнала «Живая старина» выражалась не только в опубликовании указателей, но и в том, что отдельные исследовательские работы, помещенные на его страницах, стали снабжаться солидными списками литературы. В разделе «Исследования» за 1910—1914 гг., например, помещены две работы с пристатейными списками литературы. Это очерк М. Б. Едемского[29] о свадьбе в селе Кокшеньге Тотемского уезда, где приведен список (40 названий) книг и статей, изданных с середины XIX в., о свадебных обрядах русского населения Вологодской губернии, и статья Г. С. Виноградова[30] о самоврачевании и скотолечении у русского старожилого населения Сибири. В статье дан список литературы, опубликованной с середины XIX в. (25 названий), по народной медицине и ветеринарии. В «Живой старине» регулярно печатались также указатели содержания самого журнала[31], помогающие исследователям быстро разыскивать не только интересующую их работу, но и нужную им библиографию.

Отделение этнографии РГО довольно широко использовало для библиографических целей и другие периодические издания самого Общества, о чем говорилось выше. Начиная с 50-х годов члены Отделения

этнографии, видные библиографы XIX в., помещали указатели географической, экономической и этнографической литературы в «Вестнике Русского географического общества». Так, Г. Н. Геннади с 1851 по 1857 г. публиковал здесь ежегодные указатели к «Губернским ведомостям» [32] (20 губернским газетам). Удачное расположение материала (в хронологическом порядке, а в пределах года — в алфавитном порядке по названиям губерний) давало возможность познакомиться с народным бытом, обычаями, обрядами, преданиями и поверьями населения каждой губернии. После Г. Н. Геннади указатель к «Губернским ведомостям» за весь предшествующий период (1838—1850) существования этого издания опубликовал в «Вестнике» А. И. Пискарев [33]. Он включил в указатель только те статьи неофициальной части «Ведомостей», которые содержали местные (краеведческие) материалы. Литература в указателе расположена по предметным рубрикам, что оказалось очень удобным, так как дало возможность под рубрикой «Обряды», «Обычаи», «Пословицы» и др. собрать сведения изо всех «Ведомостей» о многих народах России. Помимо того, Географическое общество уже с 1851 г. приняло решение помещать ежегодно в «Вестнике» Общества подробные обозрения географической, этнографической и статистической литературы за прошедший год. Эти обозрения должны были наиболее полно знакомить читателей со всеми без исключения сочинениями и статьями, появившимися в течение года [34].

Первый такой указатель принадлежит видному экономисту того времени Е. И. Ламанскому [35]. В предисловии он говорит о «наполнении» указателя, т. е. о том, с какой полнотой составлен указатель, характеризует включенную литературу. Из числа учтенных им изданий он исключил «Губернские ведомости» на том основании, что обозрение их уже было составлено другими авторами. Весь материал Е. И. Ламанский разделил на два больших раздела: 1) книги и 2) периодические издания. В первом разделе автор зарегистрировал всего одну работу по этнографии народов России.

Иную картину мы имеем во втором разделе: здесь периодические издания подразделяются на журналы, издаваемые правительством (официальные), и журналы литературные. Как те, так и другие заключали в себе важные исследования по этнографии России. В указателе учтены преимущественно этнографические статьи из «Журнала министерства внутренних дел» и газеты «Кавказ». Раскрыто содержание статей, и дана их характеристика.

Работа Е. И. Ламанского была продолжена другими библиографами — П. П. Дубровским, М. П. Устиновым и Г. Н. Геннади. Так, «Обозрение русской географической, этнографической и статистической литературы за 1852 г.» дал П. П. Дубровский [36]. Обзор той же литературы за 1853 и 1854 гг. написан им же совместно с Г. Н. Геннади [37].

П. П. Дубровский делит «Обозрение» на три части, а именно указатель сочинений: 1) вышедших отдельно; 2) помещенных в журналах и газетах и 3) помещенных в «Губернских ведомостях». По структуре указатель Дубровского близок к указателю Ламанского. Дубровский, говоря о сочинениях, вышедших отдельно, замечает, что монографий по географии и этнографии в течение 1850 г. вышло несколько больше, чем в предшествующие годы. Довольно подробно автор разбирает шесть этнографических работ [38]. Во второй части указателя Дубровского, где анализируются статьи из 70 журналов, этнографические статьи не выделены.

«Указатель отдельно вышедших в 1853 г. в России сочинений по предмету географии, этнографии и статистике» [39] напечатал тот же Г. Н. Геннади, подробно аннотировав восемь этнографических работ и отметив журналы, где на них помещены рецензии.

В 1859 г. появился обзор М. П. Устинова [40]. Этнографические материалы представлены наряду с географическими, но благодаря подробным аннотациям этнограф мог легко найти в обзоре интересные для себя

материалы. В статье «Поездка на Печору», например, дается описание быта ненцев и коми-зырян; образ жизни, обычаи, поверья изображены детально и увлекательно.

Все погодные указатели, опубликованные в «Вестнике», не только давали возможность читателям следить за развитием и успехами русской этнографической литературы, но должны были, по мысли составителей, впоследствии послужить основой для составления полной, систематической библиографии по этнографии и другим наукам — географии и экономике. Однако такое издание осуществлено не было. Следует отметить, что погодные указатели отличались друг от друга и в принципах описания материала, и в его систематизации. Если Ламанский пытался дать критический анализ включенных изданий, то сменившие его библиографы чаще всего помещали в указатель книги и статьи без всяких аннотаций, ограничиваясь чисто формальным описанием. Из этнографических материалов, включенных в указатели, большая часть охватывает разные стороны быта народов Поволжья, Прибалтики, Европейского Севера.

С 1859 г. всю учетно-регистрационную библиографию в периодических изданиях Русского географического общества ведет крупный библиограф второй половины XIX в. В. И. Межов. Он публиковал свои работы во многих изданиях Географического общества [41]. В. И. Межов стремился учесть как можно полнее всю книжную продукцию и не пропустить ни одной хотя бы сколько-нибудь интересной статьи, чтобы дать полную картину состояния в России этнографической литературы в течение года. В своих указателях В. И. Межов принял иной метод подачи материала, чем Г. Н. Геннади, Е. И. Ламанский и П. П. Дубровский; он дал четкое расположение литературы по отраслям знания. Главное преимущество указателей В. И. Межова по сравнению со всеми рассмотренными выше в том, что он не только выделил этнографию в особый раздел, но еще и внутри этого раздела произвел деление: общие вопросы этнографии, литература о материальной культуре русского и нерусского населения России, литература по отдельным темам — обряды, праздники, предания и т. д. В указателе за 1864 г. В. И. Межов несколько видоизменил структуру раздела «Этнография»: он ввел новые рубрики, выделив периодические издания, библиографические указатели, программы, материалы по этнографии исторической и теоретической. Количество учтенной этнографической литературы в указателях Межова возрастало из года в год. Так, за 1859 г. им учтено свыше 200 названий, а за 1875 г. — уже свыше 780 названий.

Этнографическая часть указателей Межова за 1860 и 1861 гг. была напечатана в пятом и шестом выпусках «Этнографического сборника» под новым заглавием [42].

Отличительная черта указателей В. И. Межова — не только удачно разработанная система расположения материала, но и то, что каждая книга снабжалась подробным библиографическим описанием с указанием наличия рецензий, а часто составитель раскрывал и содержание работы.

Помимо того, на страницах периодических изданий Географического общества с 1891 по 1906 г. и в 1916 г. печатались списки новых поступлений в Библиотеку Общества за каждый год [43]. Это были книги и периодические издания, русские и иностранные, по всем наукам, входящим в круг интересов Общества. Этнографическая литература в специальный отдел не выделялась, а помещалась в разделе археологии и антропологии.

С 1906 г. редакция «Известий» Географического общества возобновила печатание указателей текущей географической литературы, появлявшихся в «Известиях» вплоть до 1898 г. В отличие от прежних указателей, которые охватывали литературу всех стран света, в указателе 1906 г. была представлена литература только о России и сопредельных с нею странах Азии. Автором указателей был один из крупнейших географов нашей страны, впоследствии президент Географического общества Л. С. Берг.

Автор учел литературу, поступившую в библиотеку Общества с 1 сентября по 1 декабря 1905 г.[44]

В предисловии Л. С. Берг отмечает, что поставил перед собой скромную цель — дать обзор текущей географической литературы России, разбив ее на несколько отделов, составленных по географическому принципу: Европейская Россия, Кавказ, Сибирь и т. д. В каждом отделе выделена этнографическая литература.

Заслуживают также внимания годовые отчеты Географического общества. Они печатались систематически с 1847 г. и являются до настоящего времени важным источником для изучения истории развития отечественной этнографии. Большой интерес представляют содержащиеся в них библиографические материалы. Это главным образом сведения о темах печатных трудов членов Общества и Отделения этнографии. Кроме того, на страницах отчетов систематически публиковались списки изданий Общества.

Одновременно с публикацией ежегодных указателей литературы Географическое общество и Отделение этнографии начали издавать указатели по отдельным местностям, народам и темам. В 1874 г. вышло в свет первое издание указателя «Об Амурском крае» исследователя Сибири, основателя Общества изучения Амурского края Ф. Ф. Буссе[45], а в 1882 г. — второе издание, дополненное литературой до 1881 г.[46] Автор этого солидного труда долго жил в Амурском крае и лично собрал о нем много литературы. Кроме того, он пополнил свои сведения материалами из разных библиотек. Оба издания указателя включают книги, статьи и заметки об Амурском крае с 1774 по 1881 г. В предисловии отмечено, что литература относится к бассейну р. Амура ниже слияния р. Шилки и р. Аргуни, а также к островам Японского моря. В указатель включены издания на русском и западноевропейских языках; иностранные сочинения автором лично не просматривались, а указывались на основании критических отзывов о них.

В первом издании указателя материал расположен в хронологическом порядке. Этнографические работы (около тридцати) даны вместе с работами историческими и географическими. Во втором издании расположение предметное. Этнографические сочинения собраны под рубрикой «Население». Кроме того, этнографические материалы можно найти в рубриках: «Общие сочинения», «Путешествия, экспедиции и исследования края»; «Мелкие статьи, заметки и корреспонденции». Почти каждое описание снабжено аннотацией. Приложен к указателю алфавит имен собственных, в который включены также названия научных обществ и учреждений, а также продолжающихся изданий, журналов и газет.

В 1877 г. в «Известиях» Общества был опубликован указатель по материальной и социальной культуре мордвы антрополога и этнографа, секретаря Отделения этнографии В. Н. Майнова[47]. История появления этого указателя не совсем обычна. В феврале 1877 г. В. Н. Майнов внес на обсуждение Отделения этнографии проект этнографическо-антропологической экспедиции для изучения черемис (марийцев), мордвы и чувашей. Отделение тщательно обсудило это предложение и создало особую комиссию, на которую возложило выработку программы для этнографической части экспедиции В. Н. Майнова. По поручению этой комиссии Майнов составил для доклада в отделение небольшой очерк домашнего быта мордвы по имеющимся уже в литературе сведениям. Так появился этот ценный указатель, в котором рассмотрена литература о жилище, пище, одежде, обычаях и обрядах, занятиях, верованиях мордвы.

В предисловии автор отмечает, что скопившаяся литература о мордве хотя часто и носит отпечаток случайности, тем не менее дает представление о том, что уже сделано по изучению этого народа.

Этнографический указатель, не потерявший своего значения до настоящего времени, был опубликован в качестве приложения к одному из томов «Записок по Отделению этнографии». Это «Сборник библиографических материалов для географии, этнографии и статистики Литвы»,

написанный С. И. Балтрамайтисом. Указатель вышел в 1891 г., а в дополненном виде был издан вторично в 1904 г.[48]

С. И. Балтрамайтис в этом труде подытожил достижения библиографии литовской печати XIX в. Задачи библиографии автор понимал весьма широко. В своих полемических статьях он подчеркивал справочное значение библиографии и требовал ее полноты. На библиографию он возлагал и более общие функции—отобразить историческое развитие печати.

Тематика указателя универсальна. В нем отражена литература по истории, археологии, географии, этнографии, языку и литературе литовского народа; включены также художественные произведения, написанные на темы истории и мифологии Литвы. В первом издании описано более четырех тысяч работ, во втором — около десяти тысяч. В указатель включена литература на русском, литовском и западноевропейских языках. Материал расположен по тематическим разделам, удобным для пользования, но схема классификации имеет недостатки методологического характера, на которые указывает современный литовский библиограф В. Жукас. Не соглашаясь с группировкой литературы в разделах и подразделах указателя, он отмечает все же, что С. И. Балтрамайтис впервые «раскрыл краеведческий материал литовской печати, многое сам выявил, а также собрал воедино накопленный русскими, польскими, немецкими библиографами материал о Литве»[49]. Вторая часть «Сборника», охватывающая литературу за 1904—1917 гг. и содержащая также дополнения к первой части, осталась в рукописи (местонахождение ее В. Жукасом не указано).

В конце указателя приложен алфавитный список авторов и предметов. Этнографическая литература выделена в особый раздел. Вначале даются работы общего характера, относящиеся ко всем народам, проживающим в Литве; затем в подразделах — работы по материальной культуре (одежда), народной медицине, народному искусству, фольклору, обрядам, поверьям и праздникам — всего свыше 1200 названий.

В качестве приложения к этому сборнику Русское географическое общество издало «Список литовских и древнепрусских книг», а рукописям С. И. Балтрамайтис посвятил отдельный обзор, напечатанный в журнале «Живая старина»[50]. Этот библиографический труд был подготовлен на основе собрания литовских книг Императорской публичной библиотеки (ныне Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), сотрудником которой был С. И. Балтрамайтис.

В «Списке» С. И. Балтрамайтис впервые дал, хотя и с пробелами, довольно полную картину состояния литовской печати. Литературу автор расположил в хронологическом порядке, чтобы, по его словам, «литовцам яснее было видно, когда началась литовская письменность и какими шагами двигалась из года в год вперед». Его труд был высоко оценен современниками-рецензентами. Он не потерял справочного значения и до наших дней[51].

Крупным событием в жизни Географического общества и его Отделения этнографии было издание капитального библиографического труда Д. К. Зеленина, который собрал колоссальную литературу о материальной культуре народов России. Появление указателя связано с деятельностью Комиссии по составлению этнографических карт, организованной при Отделении этнографии. Комиссия была создана в конце 1909 г., и первым шагом ее практической деятельности явилось составление указателя этнографической литературы о народностях России, оно было поручено Д. К. Зеленину. Содержание и план книги определялись специальной инструкцией. Работа над указателем была выполнена в течение нескольких месяцев, чему способствовала, конечно, огромная эрудиция автора[52].

В предисловии к указателю Д. К. Зеленин сообщает, что работа предназначена для Комиссии по составлению этнографических карт России и этим объясняется как содержание указателя, так и его план. Пособие

включает книги, статьи и этнографические карты на русском языке, напечатанные с 1700 по 1910 г., о русском народе и других народах, проживающих в России. Из газет в указатель вошли только «Губернские ведомости», включающие в себе особенно обильный и ценный материал. Рукописи вообще не использованы. Из рецензий учитывались только содержащие новые данные и оригинальное освещение вопроса. Структура указателя довольно сложная: материал распределен по шести отделам. Первый — общий, который в свою очередь делится на две части: в первую часть включены книги и статьи о нескольких народах, во-вторую — литература по отдельным народам, причем народы разделены на восемь больших групп по этнографическому признаку. Каждый из пяти остальных специальных отделов — «Жилище», «Одежда», «Музыка», «Народное искусство», «Хозяйственный быт» — также делятся на две части: в первой части каждого из этих отделов материал распределен по губерниям в алфавитном порядке, во второй — по народам.

Библиографические описания точны и подробны, имеют частично краткие аннотации. Тщательно разработан вспомогательный аппарат с отсылочной нумерацией. Приложен алфавитный указатель губерний и областей; алфавиты народностей и племенных групп; указатель этнографических карт; указатель библиографических сочинений; алфавит специальных журналов, не исчерпанных в настоящем пособии; алфавитный указатель авторов. Даже оглавление служит своего рода справочником: около каждой рубрики обозначены не только страницы, но и число номеров, раскрывающих ту или иную тему.

Выход в свет указателя Д. К. Зеленина вызвал многочисленные отклики в печати [53]. Все писавшие сходились в том, что без его указателя (в нем зарегистрировано 8847 названий) не обойдется ни этнограф, ни географ, ни филолог, ни фольклорист — это необходимое пособие для обширного круга исследователей России. Здесь читатель найдет обильный материал по истории и быту народов России. Историк литературы встретит здесь ценную библиографию провинциальной периодической печати, историк искусства — полные данные о музыке и других видах народного художественного творчества. Несмотря на имеющиеся в указателе недостатки — отсутствие подробных аннотаций и не всегда обоснованное распределение материала по разделам, он до настоящего времени остается единственным и необходимым справочным пособием для изучающих материальную и духовную культуру народов СССР. Библиографический указатель Д. К. Зеленина был известен В. И. Ленину [54], который использовал его при изучении национального вопроса в России.

Другая работа Д. К. Зеленина — «Описание рукописей ученого архива Русского географического общества» [55] представляет своеобразную форму этнографической библиографии [56]. Автор подробно характеризует каждую рукопись, составляя своего рода конспект всего ее содержания. Одинаково полно дан народоведческий и диалектологический материал. Особое место здесь занимают рукописи, описывающие русское жилище, одежду и хозяйственный быт. «Описание» по праву считается этнографической энциклопедией народов России.

Географическое общество помещало также в своих изданиях обзоры зарубежных книг и статей по этнографии. Так, уже в «Географических известиях» был опубликован обзор 12 книг немецкого сборника «Материалы по изучению Русского государства» [57]. Здесь приведены на немецком языке этнографические статьи о русских в Америке, о населении Средней Азии и Сибири. На страницах «Вестника РГО» были помещены список и обзор иностранных изданий по географии, этнографии и статистике с ноября 1855 по декабрь 1856 г. Автор указателя — председатель Отделения статистики, географ А. Б. Фон-Бушен [58]. В указателе разобраны 18 периодических изданий и около 200 книг. Этнографические материалы относятся к Европе, Азии, Америке, Австралии.

В «Известиях» с 1876 по 1878 г. печатались обзоры иностранной литературы по антропологии, палеонтологии и этнологии [59].

Следует сказать несколько слов о рецензиях и отзывах, которые больше других видов библиографических работ публиковались в изданиях Общества. Чаще всего объектом рецензий были печатные работы ученых и путешественников, но иногда давались отзывы и на рукописные работы, хранящиеся в архивах. Каждая рецензия содержала в себе ряд библиографических сведений. Рецензенты отмечали имеющиеся в книге различного рода указатели, приводили отдельные сведения об авторе работы и упоминали другие произведения того же автора.

* * *

Подведем некоторые итоги. Географическое общество, в особенности его Отделение этнографии, уже в дореволюционный период систематически занималось разработкой библиографии этнографии. На протяжении всех лет издания «Географических известий», «Вестника», «Известий» и «Записок» Общества, а также «Живой старины» библиография занимала в них постоянное место как один из основных разделов. Осуществлялся не только текущий, но и ретроспективный учет этнографической литературы.

Устойчиво держались в журналах библиографические рубрики: «Обзоры журналов и газет» и «Новости этнографической литературы».

Библиографический раздел велся учеными-специалистами — этнографами, фольклористами, библиографами, отсюда тщательность подбора материала, его полнота, удачное расположение по тематике, а также по географическим и этнографическим признакам.

Многочисленные указатели давали зачастую не простой перечень литературы, а раскрывали ее содержание, нередко с его критической оценкой, особенно в предисловиях.

Много было сделано в отношении опубликования указателей по этнографии различных народов России. Большую заслугу Русского географического общества составляет то, что оно впервые начало помещать в своих изданиях указатели, специально раскрывающие этнографическое содержание многих местных периодических изданий. Солидно представлена в изданиях Общества и биобиблиография. Подборки литературы о периферийных ученых и корреспондентах, внесших большой вклад в этнографическое изучение отдельных народов или целого края, часто снабжались списками работ этих деятелей.

Библиографические работы, опубликованные в журналах, вводили в научный оборот также иностранную литературу об отдельных народах мира.

Таким образом, Географическое общество сослужило немалую службу в развитии отечественной этнографической библиографии еще в дореволюционный период.

[1] О деятельности Географического общества см. в серийных выпусках настоящего издания: Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии: Указатель статей, опубликованных в I—V выпусках. — В кн.: ОИРЭФА. М.: Наука, 1978. (ТИЭ. Нов. сер.; Т. 107. Вып. VIII); Л.: Наука, 1977. (ТИЭ. Нов. сер.; Т. 104. Вып. VII).

[2] В числе изданий Русского географического общества, помещавших библиографический материал, следует назвать: Записки РГО (1846—1917); Географические известия РГО (1848—1851); Вестник РГО (1851—1860) (далее: ВРГО); Известия РГО (с 1865 г.).

[3] Архив РГО, ф. 1, оп. 1, д. 1, л. 60.

[4] Программа для собирания местных этнографических сведений. СПб., 1852.

[5] В «Записках РГО» (1846—1859, 1861—1864; с 1857 г. «Записки РГО» стали издаваться по отделениям), в «Вестнике РГО» (1851—1860) и в «Известиях РГО» (с 1865 г.).

[6] В. А. Милютин был одним из первых русских ученых, придававших библиографии серьезную научную значимость.

[7] Архив РГО, ф. 1, оп. 1, д. 34, 1851 г., л. 31 об. В редакционном комитете.

[8] Там же, д. 16, 1848 г.

[9] Памятные книжки (например: Памятная книжка Иркутской губернии на 1861, 1863, 1864 и другие годы; Памятная книжка Пензенской губернии на 1862, 1863 и другие годы); Труды губернских статистических комитетов (например: Труды Архангельского губерн-

ского статистического комитета. Архангельск, 1866—1891); Труды губернских ученых архивных комиссий (например: Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Рязань, 1885—1916; Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Саратов, 1888—1916); Губернские ведомости (например: Вологодские губернские ведомости, 1838—1840, 1842—1917 гг.; Иркутские губернские ведомости, 1857—1917 гг.; и др.).

[10] Зап. ВСОРГО, Иркутск, 1889—1896; Изв. ВСОРГО, Иркутск, 1878—1917; Зап. ЗСОРГО, Омск, 1879—1916; Зап. КОРГО, Тифлис, 1852—1916 и др.

[11] *Виноградов Н. Н.* Новости этнографической литературы. — ЖС, 1906, Вып. 3/4; ЖС, 1907—1908. Вып. 1/4.

[12] *Балтрамайтис С. И.* Библиографический обзор литовских повременных изданий за 1898 г. — ЖС, 1898, вып. 3/4, с. 477—479.

[13] *Лященко А. И.* Волынские губернские ведомости в 1838—1887 гг.: (Библиогр. указ.). — ЖС, 1893, вып. 2, с. 265—278.

[14] *Вольтер Э. А.* Обзор трудов по литовской этнографии (1879—1890). — ЖС, 1890, вып. 1, с. 37—42; вып. 2, с. 177—183.

[15] *Петри Б. Э.* Библиография за 1911 г. по этнографии, религии, языкознанию и фольклору. — ЖС, 1913, вып. 3/4, с. 441—468.

[16] *Познанский Н. Ф.* Обзор русской этнографической литературы за 1914 г. Великоросы. — ЖС, 1915, вып. 1/2, с. 173—216.

[17] Там же, с. 173.

[18] *Самойлович А. Н.* Материалы для указателя литературы по загадкам турецких племен. — ЖС, 1909, вып. 2/3, с. 79—83.

[19] *Вольтер Э. А.* Материалы для библиографии латышских сказок. — ЖС, 1912, вып. 2/4, с. 515—520.

[20] *Владимирцов Б. Я.* Библиография монгольской сказки. — ЖС, 1912, вып. 2/4, с. 521—528.

[21] *Пекарский Э. К.* Библиография якутской сказки. — ЖС, 1912, вып. 2/4, с. 529—532.

[22] *Смирнов И. Н.* М. П. Веске. — ЖС, 1890, вып. 1, с. 19—23.

[23] *Балтрамайтис С. И.* Список печатных трудов Довконта. — ЖС, 1893, вып. 1, с. 19—23.

[24] *Зеленин Д. К.* Научные труды А. А. Спицына. — ЖС, 1906, вып. 2. с. 15—18.

[25] *Зеленин Д. К.* П. А. Дилакторский (1868—1910). — ЖС, 1911, вып. 3/4, с. 500—502.

[26] *Коновалов Ф. И.* Список трудов А. Н. Минха. — ЖС, 1913, вып. 1/2, с. 208—212.

[27] ЖС, 1913, вып. 3/4, с. 469—499. В предисловии указано, что сводный список печатается на основании данных разных библиотек, а именно: библиотеки Русского географического общества, библиотек Академии наук и университета, библиотеки Музея Александра III (теперь — Русский музей), Публичной библиотеки, библиотеки Археологической комиссии, библиотеки Академии художеств, библиотеки Эрмитажа, библиотеки Музея антропологии и этнографии. Описание разделяется на три части.

[28] *Балтрамайтис С. И.* Сведения о литовских рукописях: (Библиогр. указ.). — ЖС, 1894, вып. 1, с. 93—103, вып. 3/4, 545—548.

[29] *Едемский М. В.* Свадьба в Кокшеньге Тотемского уезда. — ЖС, 1910, вып. 1/4, прил., с. 1—137.

[30] *Виноградов Г. С.* Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого населения Сибири: (Материалы по народной медицине и ветеринарии). — ЖС, 1915, вып. 4, с. 325—432.

[31] *Виноградов Н. Н.* Алфавитный указатель к «Живой старине» за 15 лет ее существования (1891—1906). — ЖС, 1908, вып. 2, прил., с. 33—38; 1909, вып. 4, прил., с. 49—69. Кроме того, в «Живой старине» с 1892 по 1902 г. печатались суммарные оглавления нескольких выпусков.

[32] *Геннади Г. Н.* Указатель географических, этнографических и статистических статей, помещенных в «Губернских ведомостях» за 1851—1857 гг. — ВРГО, 1852—1856. Ч. 5, 8, 11, 14, 18; 1858—1859. Ч. 23, 35 (в разд. 4 каждой части).

[33] *Пискарев А. И.* Алфавитно-статистический указатель сведений о России, заключающихся в неофициальной части «Губернских ведомостей». — ВРГО, 1857. Ч. 20; 1860. Ч. 29 (в разд. 4 каждой части).

[34] До этого времени был издан только капитальный труд по библиографии географа И. Ф. Штукенберга на немецком языке, куда этнография входила наряду с географией, топографией и статистикой: *Stuckenberg J. Ch.* Versuch eines Quellen. Anzeigers alter und neuer Zeit für Studium der Geographie, Topographie, Ethnographie und Statistik des Russischen Reichs. СПб., 1849—1852. Т. I—IV.

[35] *Ламанский Е. И.* Обозрение русской географической, этнографической и статистической литературы за 1851 г. — ВРГО, 1852, ч. 4, кн. 1, разд. 4, с. 1—42.

[36] *Дубровский П. П.* Обозрение русской географической, этнографической и статистической литературы за 1852 г. — ВРГО, 1853, ч. 7—8 (в разд. 4 каждой части).

[37] *Геннади Г. Н., Дубровский П. П.* Обозрение русской географической, этнографической и статистической литературы за 1853 и 1854 гг. — ВРГО, 1854—1856, ч. 12—13, 15—17 (в разд. 4 каждой части).

[38] Одна из работ относится к этнографической лингвистике, остальные посвящены этнографическому описанию народов Поволжья и Прибалтики.

[39] *Геннади Г. Н.* Указатель отдельно вышедших в России в 1853 г. сочинений по предмету географии, этнографии и статистики. — ВРГО, 1854, ч. 12, разд. 4.

[40] *Устинов М. П.* Обозрение русской географической литературы 1858 г. — ВРГО, 1859, ч. 26—27 (в разд. 4 каждой части).

[41] *Межов В. И.* Библиографический указатель вышедших в 1859 г. в России книг и статей по части географии, топо-

графии и статистики. — ВРГО, 1860, ч. 30, разд. 4; *Он же.* Библиографический указатель вышедших в 1860, 1861, 1862, 1863 гг. в России книг и статей по части географии, этнографии и статистики. — Зап. РГО, 1861. Кн. 4; 1862—1864. Кн. 1—4 (в разд. «Критика и библиография» каждой книги); *Он же.* Литература русской географии, статистики и этнографии за 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 гг. СПб., 1865—1876 (Изв. РГО, 1865—1878, прил. VII, т. 1—14).

[42] *Межов В. И.* Библиографический указатель этнографических исследований, описаний и материалов за 1860 г. — ЭС, 1862, с. 1—50, паг. 8-я; *Он же.* Библиографический указатель этнографических сочинений и статей, изданных на русском языке в России в 1861 г. — ЭС, 1864, с. 1—82, паг. 8-я.

[43] Географическая литература России Европейской и Азиатской и прилегающих стран по данным библиотеки Русского географического общества. — Изв. РГО, 1891—1905, т. 27—41, вып. 1—6; 1916, т. 52, вып. 2, 5—10 (в разд. «Географическая литература» каждого выпуска).

[44] *Берг Л. С.* Библиография русской географической литературы (с 1 сентября по 1 декабря 1905 г.). — Изв. РГО. 1906, т. 42, вып. 1, с. 305—331.

[45] *Буссе Ф. Ф.* Указатель литературы об Амурском крае. — Изв. РГО, 1874, т. 10, прил., с. I—III, 1—42.

[46] *Буссе Ф. Ф.* Указатель литературы об Амурском крае. До января 1881 г. — Изв. РГО, 1882, т. 18, вып. 3/4, прил., с. I—IV, 1—43; вып. 5, прил., с. 1—80.

[47] *Майнов В. Н.* Предварительный очерк имеющихся в литературе сведений о мордве. — Изв. РГО, 1877, т. 13, вып. 2, с. 90—113.

[48] *Балтрамайтис С. И.* Сборник библиографических материалов для географии, этнографии и статистики Литвы. С приложением списка литовских и древнепрусских книг с 1553 по 1891 г. СПб., 1891, 289, II. 96 с. (Зап. РГО по Отд-нию этнографии, 1891, т. 21, вып. 1); *Он же.* Сборник библиографических материалов для географии, истории, истории права, статистики и этнографии Литвы. С приложением списка литовских и древнепрусских книг с 1553 по 1903 г. СПб., 1904, 618, IV. 218 с. (Зап. РГО по Отд-нию этнографии, 1904, т. 25, вып. 1).

[49] *Жукас В.* История литовской библиографии (до 1940 г.): Автореф. докт. дис. Вильнюс: Вильнюсский гос. ун-т, 1972.

[50] ЖС, 1894, вып. 1, с. 98—104; 1894, вып. 3—4, с. 545—548.

[51] *А. Л.* Рец. на кн.: Балтрамайтис С. Сборник библиографических материалов. — КВ, 1892, № 9, с. 424; *Яцимирский А. И.* Рец. на кн.: Сборник библиографических материалов... — ИВ, 1905, № 5, с. 686—687 и др. (на литов. яз.).

[52] *Зеленин Д. К.* Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России. 1700—1910 гг. (Жилище. Одежда, Музыка, Искусство. Хозяйственный быт). СПб., 1913. — Зап. РГО по Отд-нию этнографии, 1913, т. 40, вып. 1.

[53] См. рецензии на указатель: РВ, 1913, № 26; ПВ, 1913, № 248; Гермес, 1913, № 20; РФВ, 1913, т. 70; 1914, т. 71; ИВ, 1914, № 1; ЭО, 1914, № 1/2.

[54] Ленинский сборник. [М.]: Партиздат, 1937, т. XXX, с. 311.

[55] *Зеленин Д. К.* Описание рукописей ученого архива Русского географического общества. Пг., 1914—1916. Вып. 1—3. Этнографические рукописи, относящиеся к нерусским народам Европейской части СССР и Прибалтики, были опубликованы Д. К. Зелениным позднее, в сб.: Советская этнография, 1940, № 4, с. 193—205; 1944, № 6/7, с. 254—277. В 1973 г. Географическое общество СССР опубликовало «Описание коллекций рукописей научного архива Географического общества СССР», которое рассматривается как продолжение работы Д. К. Зеленина.

[56] Попытка составления описи научного архива Географического общества уже была сделана раньше: к «Известиям» общества за 1875 и 1876 гг. (т. 11, 12) было приложено «Описание рукописей ученого архива Русского географического общества». Его составил секретарь Отделения этнографии В. Н. Майнов. Однако эта работа не была доведена до конца; опубликовано было только около двух авторских листов — описаны рукописи, поступившие от корреспондентов Общества из Архангельской, Астраханской и Владимирской губерний, а также из Бессарабской области. Остальные материалы находились в архиве Географического общества.

[57] Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches... — ГИ, 1849, вып. 1, разд. 6, с. 50—52.

[58] *Фон-Бушен А. Б.* Список главнейших иностранных географических, этнографических и статистических изданий за полугодие (от ноября 1855 по май 1856 г.). — ВРГО, 1856, ч. 18, кн. 5, отд. 4, с. 29—44; *Он же.* Список... (с мая по декабрь 1856 г.). — ВРГО, 1857, ч. 19, кн. 2, отд. 4, с. 1—22.

[59] *Конер В.* Литература антропологии, этнологии и науки о древностях за 1876 г. — Изв. РГО, 1878, т. 14, вып. 2, прилож., с. 1—54 (паг. 2-я); *Майнов В. Н.* Обзор литературы науки о человеке. — Изв. РГО, 1876—1877, т. 12, вып. 1—6; т. 13, вып. 1, 6 (в конце каждого выпуска).

Н. М. Щербанов

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В «УРАЛЬСКИХ ВОЙСКОВЫХ ВЕДОМОСТЯХ»

(Публикации Н. Ф. Савичева за 1867—1885 гг.)

История собирания, публикации и изучения фольклорно-этнографических материалов по уральским казакам и соседствующим с ними народам — казахам, башкирам, татарам, калмыкам и др. — тесно связана с газетой «Уральские войсковые ведомости». Она издавалась в г. Уральске при Войсковом хозяйственном правлении с 1867 по 1917 г. сначала на четырех, а затем на восьми полосах [1]. В «Неофициальном отделе» газеты публиковались статьи по этнографии, фольклору, истории, географии и экономике края, по народному просвещению, а также художественные произведения (очерки, рассказы, повести, стихи). Наиболее деятельное участие в газете принимали, кроме Н. Ф. Савичева, уральские интеллигенты и офицеры: А. Ф. Акутин, Н. А. Бородин, В. Н. Витевский, А. Л. Гуляев, А. Б. Карпов, П. И. Корин, М. К. Курилин, Ю. Ф. Костенко, Н. Г. Мякушин, А. П. Хорошхин и др. В газете также печатались статьи ученых Р. Г. Игнатьева и Г. С. Карелина. Довольно часто в «Уральских войсковых ведомостях» публиковались материалы из фондов Уральского казачьего архива. Они поистине уникальны, но архив этот утерян.

Газета фактически была единственным на протяжении второй половины XIX в. печатным органом на территории Уральского казачьего войска.

Большая часть работ, помещенных в «Неофициальном отделе», принадлежит Никите Федоровичу Савичеву — этнографу, фольклористу, писателю, историку и художнику. За 18 лет сотрудничества, начиная с 1867 г., Н. Ф. Савичев поместил в УВВ более ста работ. Из всех ее сотрудников «Н. Ф. Савичев был самый плодовитый, помещая чуть не в каждом номере вплоть до 1885 г., до дня смерти своей, какую-нибудь статью либо в прозе, либо в стихах, и всегда занимательную для читателей „Уральских войсковых ведомостей“» [2]. Его работы печатались и в других изданиях [3].

Плодотворная деятельность Савичева как этнографа и фольклориста, к сожалению, почти не нашла до сих пор отражения в истории науки. Вместе с тем собранные им фольклорно-этнографические материалы представляют научный интерес и являются яркой страницей в истории изучения не только уральского казачества, но и русской этнографии и фольклористики. Н. Ф. Савичев был связан также с центральными научными организациями и обществами, а также с видными деятелями русской науки и культуры.

Никита Федорович Савичев (1820—1885) родился в казачьей семье, в 1839 г. окончил Уральское войсковое училище. Служебная его жизнь проходила главным образом в строевых частях Уральского войска, что позволило ему близко познакомиться с разными сторонами быта казаков и соседящих народов, больше всего казахов. По делам службы он побывал на Усть-Урте, на Украине, в Москве. В бытность свою в Уральске

он был деятельным участником местных кружков демократического направления, знавал ссыльных петрашевцев (А. Н. Плещеев, А. В. Ханыков), был знаком со значительной группой ссыльных поляков, наиболее заметной фигурой среди которых был выдающийся демократ С. Сераковский. Встречался Н. Ф. Савичев и с Т. Г. Шевченко. В этой демократической атмосфере развивалась общественно-литературная и фольклорно-этнографическая деятельность Савичева.

Движимый потребностью в общении с передовыми людьми, стремлением пополнить свои знания, Савичев «завербовывается» в уральский полуполк, который направлялся в 1853 г. для несения службы в Москву. К этому времени Савичев был произведен в хорунжие. Однако служба его в Москве охарактеризована им как «неблагодарная» по своему содержанию.

В 1870 г., выйдя в отставку в чине войскового старшины, Савичев занял должность архивариуса Войскового хозяйственного правления, где работал до конца жизни.

В своей многолетней общественной, литературной и научной деятельности, связанной с Уральским казачьим войском, Савичев стремился охватить как можно обширнее его прошлое и настоящее: историю, хозяйство, этнографию, фольклор и пр. Этому посвящались его повести, рассказы и поэмы, историко-этнографические очерки, богатые фольклорными материалами, исследования по истории края, статьи, касающиеся народного просвещения, хозяйства, природы, народной медицины [4].

Работы Савичева выходили в свет во время обостренного интереса передовых общественных кругов России к быту и мировоззрению народных масс. Деятельность Савичева вписывается в общее русло демократического народознания второй половины прошлого века. Исходя из своего убеждения, что «народоведение дело интересное и необходимое» [5], Савичев много и упорно занимался в этой области. Своей публицистикой Савичев в какой-то мере способствовал распространению культуры среди казаков. Это был общественный деятель, остро воспринимающий социальное расслоение казачества и неоднородность казачьего офицерства. Все его симпатии — на стороне рядовых казаков. Его тревожило, что «капитальные» казаки занимаются торговлей все в больших размерах. Он ратует за то, «чтоб сильные капиталисты были чем-нибудь контролированы от излишней эксплуатации, а то они и теперь, торгуя огромными табунами всякого скота, не стыдятся засевать хлеба по 100 и более десятин, чем обпахивают несостоятельных людей» [6].

На формирование мировоззрения Савичева влияли не только общественные и литературные течения середины XIX в. Большую роль играли впечатления, вынесенные из раннего детства, и та конкретная обстановка, в которой он рос и развивался. Интерес к фольклорно-этнографическим разысканиям зародился у Савичева в какой-то мере и под влиянием атмосферы народного быта и фольклора, окружавших его еще тогда.

Нет оснований сомневаться, что Савичеву были знакомы программы по собиранию этнографических и фольклорных материалов, которые рассылали Русское географическое общество и Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Как известно, в работе Отделения этнографии Русского географического общества деятельное участие принимал И. С. Аксаков, которым, в частности, была составлена программа-наставление для собирателей, датируемая 1851 г.[7] Рекомендации И. С. Аксакова собирателям «обращать внимание на всякого рода местные сказания, особенно такие, в которых сохранились предания о старине и былом», а также указывать «на остатки сохранившихся памятников старины» близки интересу Савичева к казачьим древностям. Некоторые положения программы И. С. Аксакова должны были привлечь Савичева и тем, что в них поощрялась деятельность местных собирателей, знатоков фольклора и быта населения того или иного края России, которые «имеют то великое преимущество, что черпают сведения в самом источ-

нике, изучают народ и край на месте, — и всякое их известие имеет цену для науки» [8].

И. С. Аксаков призывал также «доставлять Обществу рисунки лиц, одежд обыкновенных и употребляемых в особенных случаях, например праздниках, жилищ и дворов, домашней утвари, упряжи, оружий, орудий, музыкальных инструментов, даже изображений самих обрядов, игр и занятий народов и племен, населяющих Россию», и при этом «означать место, то есть город или селение, где сняты рисунки, и присовокуплять местные названия всех изображаемых предметов» [9]. Примечательно, что Савичева как художника привлекали именно бытовые картины жизни казачества. В этой связи ценны две заметки в газете «Уральские войсковые ведомости». В одной из них сообщалось о том, что во время антрактов концерта, на котором, кстати, исполнялась казачья песня «На заре-то было на зориньке», «аранжированная В. А. Боде», «была показана коллекция рисунков, изображающих быт уральских казаков... Работа этих рисунков принадлежит нашему даровитому художнику Н. Ф. Савичеву» [10]. В другом, более пространном сообщении говорится об альбоме, «составленном есаулом Н. Ф. Савичевым», представлявшем собой «хорошую коллекцию типичных видов местности, где живут уральские казаки, и сцен из их народного быта». Альбом содержал 12 рисунков: «1) Удар багренья уральских казаков, 2) Жар багренья уральских казаков, 3) Будара, 4) Удар плавни, 5) Плавня, 6) Масленица в Уральске, 7) Изба из черного леса (Жилище уральских казаков), 8) Плетневая мазанка, 9) Плетневая избушка, 10) Дома из воздушного кирпича, 11) Кусовая (Морское судно уральских казаков), 12) Крестовая (Молельня уральской женщины)» [11]. Подбор рисунков, пояснения, роскошное оформление — все говорит о том, что альбом, возможно, готовился для Всероссийской этнографической выставки 1867 г.[12] Накануне выставки в нескольких номерах «Уральских войсковых ведомостей» печаталась обстоятельная статья «Заметки о народном быте и одежде уральских казаков» [13]. Автор статьи подписался псевдонимом, но многое в стиле этой заметки заставляет предполагать, что она принадлежит перу Савичева. В заметке, как и в большинстве его этнографических сообщений, научное описание чередуется с живыми бытовыми сценами, материал подается с учетом исторической обстановки и социальных движений в крае. Совпадает и характерная для Савичева фразеология. В «Иллюстрированной газете» в том же году были напечатаны рисунки Н. Ф. Савичева (рис. 1—3).

Савичев стремился к всестороннему изучению народной жизни. Его интересовали материальная культура, хозяйство, демография, этнический состав казаков, их обычное право, народная медицина, обычаи и обряды, игры, хороводы, фольклор, в особенности исторический, народное красноречие и пр.

Особенно подробно Савичевым рассмотрены типы поселений, построек, одежда, пища, утварь и другие стороны материальной культуры уральских казаков. Кроме обычных поселков, хуторов, уметов, зимовок, Савичев называет полувоенные поселения, к числу которых относились крепости, кордоны, пикеты. Последние имели характер защитных укреплений от кочевников вдоль р. Урал. Любопытно упоминание Савичева о наличии у казаков летних стоянок для скота. Хозяйками этих «базков» были женщины. Савичев пишет, что они ранней весной, когда их мужья находились на промысле севрюги, «откочевывали со своими коровами в базки, отдаленные на несколько верст от постоянного жительства, но сколь возможно близкие к г. Уральску» [14]. Целое лето женщины ухаживали за молочным стадом и жили в «полевых мазанках», которые были «приспособлены к производству продуктов молока». Как видим, это заимствованная от соседних кочевых народов форма откочевки, правда несколько усовершенствованная.

Савичев отмечает необыкновенную простоту в устройстве жилища уральских казаков. В основном это постройки из «воздушного кир-

Рис. 1. Багренье уральских казаков; рисунок Н. Ф. Савичева

Рис. 2. Осеннее плавное рыболовство; рисунок Н. Ф. Савичева

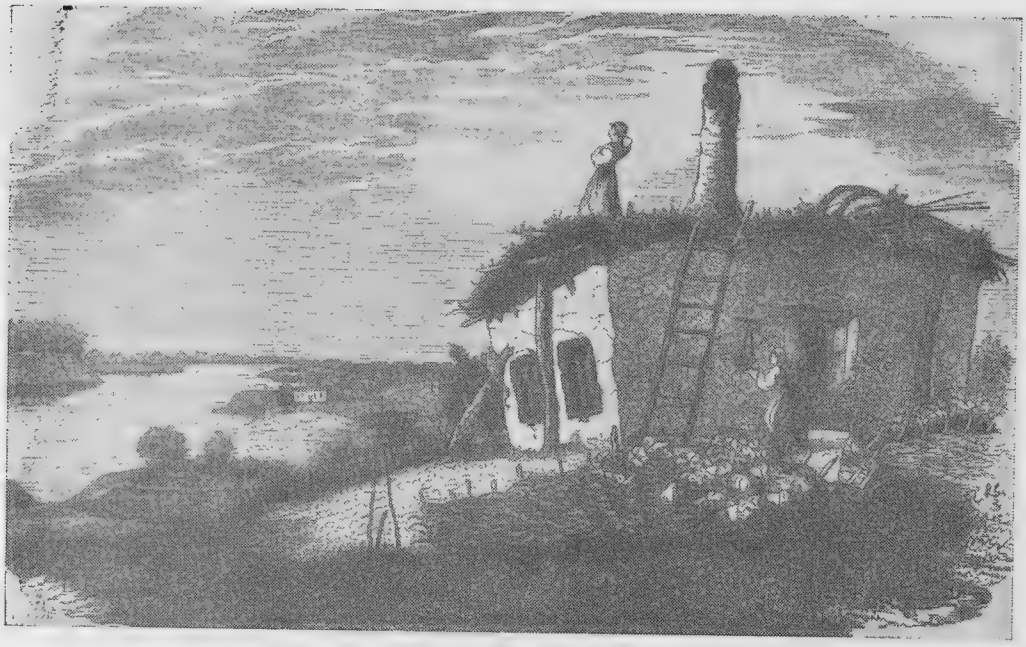


Рис. 3. Изба уральских казаков; рисунок Н. Ф. Савичева

пича» — сырца или плетневых стен, обмазанных глиной (часто белой). Так строили основной, жилой дом и подсобные помещения: летнюю кухню, базок — плетневый чулан, подклеть и пр. Он подчеркивал: «Дома на наших форпостах, и без сравнения с избами русских деревень, благовидны, даже мазанки красивы» [15]. Обстоятельно, с указанием этнографических деталей в одном из очерков показано внутреннее устройство летней кухни: «Кухня была плетневая, вымазанная глиной с обеих сторон, а внутри — выбеленная. Печь, сбитая из глины и вся выбеленная; над челом, как и должно быть, вмазаны звездообразно осколочки фарфоровой посуды, а в середине — зеркальце. Пол глиняный, смазанный... За столом, накрытым чистой розовой скатертью с изображением города Ярославля, ели на деревянных тарелках, из деревянного блюдца, деревянными „терженскими“ ложками» [16].

Савичев отмечал, что столь распространенные в прошлом на Урале бешмет, халат, тулуп, шаровары явно заимствованы от соседей — тюркских народов. В женской же одежде подобных заимствований значительно меньше: костюм уральской казачки больше походил на костюм крестьянки из русских областей Европейского Севера.

Савичев привел факты, когда требования изменить одежду приводили порой к серьезным «волнениям». Так случилось в 1803—1804 гг., когда в Уральском казачьем войске было введено новое положение («штат»), которое не только значительно ограничивало казачьи привилегии и вольности, но и устанавливало однообразную форменную одежду. Савичев изложил в одном из своих очерков примечательный спор молодых казаков со стариками по этому поводу. «Нестарые казаки, — пишет он, — удивлялись, почему старики наши в недавнее время... восставали против нового обмундирования и приняли из-за этого много горя, а в настоящее время никто не брезгает обмундировкой. Старики же поясняли, что нового положения, сиречь „штата“, не принимали по другим причинам: мундиры тут были не при чем» [17]. У Савичева на эту тему есть даже особое стихотворение [18].

Изучая материальную культуру, хозяйство уральского казачества, Савичев подчеркивал, что этнический состав казаков был очень сложным. Выходцы из разных русских областей, преимущественно северных, они

смешивались с калмыками, татарами, башкирами, казахами, впоследствии с персами, особенно благодаря бракам, так как на Яик (Урал) уходили обычно без женщин. Савичев неоднократно отмечал, что постоянное общение казаков, военное и мирное, с соседними народами привело к заимствованию у них отдельных форм хозяйства и многих черт материальной культуры. Так, метод разведения и способ кормежки лошадей у уральских казаков «взят целиком от соседей их, киргиз». «В благоприятную зиму, — пишет далее Савичев, — лошади не берутся на сено в продолжение всей зимы и тебенюют, т. е. сами себе отрывают ногами из-под снега корм — оставшуюся траву» [19].

Заключение браков с женщинами, принадлежащими к тюркоязычным и иным народам, особенно в первоначальный период заселения края русскими, а также последующие миграции сказались и на антропологическом типе уральских казаков. Указывая на его общность с остальными русскими, Савичев отмечает в нем черты, характерные не только для тюрко- и монголоязычных, но и для ираноязычных народов, в частности персов. В повести «Исправленная ошибка», насыщенной бытовыми этнографическими описаниями, дан образ красавицы-казачки Елизаветы Петровны. «Тип лица ее, — пишет Савичев, — был чисто персидский. Я думаю, что она персиянка и произошла от кизылбашей, бежавших из хивинского плена и поселившихся в войске Уральском в конце прошлого и частию нынешнего столетия, принявши христианскую веру. Тип их лица не изгладился и доныне в казаках» [20]. Савичев также указал на заимствование казаками у беженцев-персов некоторых хозяйственных навыков: садоводства, бахчеводства и огородничества: «Искусством, изученным в неволе (в хивинском плену. — *Н. Щ.*) (садоводством и огородничеством) персияне занялись свободно на казачьих землях и передали его вместе с чигирями—поливальными машинами казакам, которые в старину умели только ловить рыбу». Савичев приводит несколько биографий казаков — выходцев из Персии; например, казака Строганова, «родом из кизылбаш», который поднял урожайность «на казенном казачьем огороде», до этого находившемся в запустении. На основе своих многолетних наблюдений Савичев сделал вывод, что еще в его время «красивый тип персидских выходцев... не выродился и резко отличается от общей физиотипичности уральских казаков» [21]. Персы, причисленные в казаки, «оставили за собой старонациональное прозвание кизылбашей (букв. красноголовый, т. е. по головному убору), несмотря на то, что казаки слово кизылбаш сделали укоризненным и называли им, как бы подозревая в нечистокровности казачьей, того, кто не отличался чисто казачьими замашками» [22].

Можно предположить, что во второй половине XIX в. слово «кизылбаш» уже не осознавалось как этноним в применении к казакам, ведущим свою родословную от персов, скорее всего оно стало прозвищем тех, кто занимался садоводством и огородничеством.

К изучению и собиранию фольклорно-этнографических материалов Савичев подходил в основном как историк и поэтому обращал внимание в первую очередь на фольклорные и этнографические явления, непосредственно связанные с историей Уральского войска, с казачьей стариной. В этнографическом очерке «Увеселения в Уральском войске» он дал широкую картину бытования фольклора, обрядов, обычаев, игр на протяжении почти столетия.

Из обрядов Савичев выявляет как наиболее полно сохранившиеся к середине XIX в. масленицу и заклинание весны или встречу весны. Описание Савичевым масленичных обрядов наводит на мысль о том, что этот праздник сохранился у уральских казаков в своем наиболее древнем, вероятно северном, варианте. Таков, например, обычай ряжения в «вывороченные наизнанку шубы» и в «кошомные» (войлочные) маски, получившие у казаков название «харюшки».

Обычай сооружать во время масленицы импровизированный корабль также аналогичен зафиксированному на Архангельском Севере и в Си-

бири [23]. Савичев подробно описывает устройство этого «корабля»: «... на нескольких санях устроены подмостки, среди которых возвышается мачта, притянутая со всех сторон канатами к краям подмостков, занятых разнообразными масками и музыкантами. Все они поют, играют и угощаются водкой. На верху мачты, на надетом на нее колесе, стоит фигура, замаскированная женщиной, одетой в старинный костюм и головной убор, размахивая широкими рукавами под такт музыки. Эта фигура олицетворяет собой праздник масленицы. Импровизированный корабль провожает огромная толпа зевак пеших и конных» [24].

Вместе с тем масленичные обычаи и игры под влиянием основного промысла уральских казаков — рыболовства — приобрели своеобразие и оригинальность. Если в большинстве областей России масленичные обряды, как известно, имели преимущественно аграрный характер, то у уральских казаков они были связаны и с характерными особенностями местных видов рыболовства: «Две харюшки (маскированные)... — пишет Савичев, — едут в старых челнах, привязанных к хвостам лошадей, на которых из всей упряжи только узда и возжи. Раскидывают они сеть „ярыгу", представляя плавное рыболовство; в сеть бросается горбатый паяц, барахтается, кричит и жалуется, представляя из себя осетра, что ему не дают покоя в Урале и все ловят» [25]. Не лишено этнографического интереса и другое описание масленичного обычая: «Едут еще две харюшки — старик со старухой на дровнях, в которые запряжен бык, дугой в низе. Эти уроды представляют, что мадам Масленица живет с мужем в ладу, а другая старуха сидит на том же быке, в седле, лицом к Масленице с мужем и представляет лихую свекровь, которая старается поссорить любезную чету» [26].

Савичев подробно рассматривает и другие масленичные игры (в том числе катание на лошадях и взятие снежного городка), отмечает бытование особых масленичных песен. Текст этих песен, к сожалению, не приведен.

Особенно обстоятельно Савичев описывает «самое оригинальное зимнее увеселение» уральских казаков — взятие снежного городка, или игру в города. По его мнению, эта «старинная игра», наблюдаемая им в 40—50-х годах XIX в., сохранилась к этому времени в древнем виде. Взятие снежного городка, по описанию Савичева, было массовым народным игрищем, имеющим ярко выраженный военизированный характер. Последнее обстоятельство, без сомнения, результат влияния постоянного участия уральских казаков в течение веков в военных кампаниях, которые вела Россия. Этим можно объяснить тот факт, что среди осаждающих снежную крепость находились «ряженые — турецкие паши, арабы, вымазанные сажей, и разные рыцари небывалых орденов». Все это воинство возглавлял «генерал», сопровождаемый «знаменщиками с развевающимися платками на пиках» и «пестрой шалью, представляющей штандарт». Савичев подробно описывает «снаряжение» ряженого «генерала»: «Впереди толпы едет генерал в эполетах, очень искусно сплетенных из соломы, в звездах и орденах из фольги, в ленте из розовой бумаги (в которую завертывают чай); старая аудиторская шляпа с плюмажем собственного изделия покрывает голову героя, который едет на красивой лошади, со всей важностию полководца и с обнаженной шашкой». Примечательно также указание Савичева на то, что в роли генерала многие годы выступал казак Матвей Бакалдин. Савичев хорошо его знал; можно предположить, что этнографические записки об уральской масленице отчасти сделаны с его слов. Из других зимних увеселений, не приуроченных к масленице, Савичев упоминает «езду на собаках», причем подчеркивает, что это «зимнее удовольствие» играло у казаков «немаловажную роль». Однако сейчас трудно выяснить истоки этого необычного развлечения, и Савичев, к сожалению, не говорит об этом. Можно только предположить, что оно было приурочено к празднику святого Христофора, охранителя народа от эпидемий; он обычно изображался на иконах в воинских доспехах и с песьей головой [27].

Обряд встречи весны, по свидетельству Савичева, к середине прошлого века превратился уже в детскую игру. Савичев привел начало обычной песни-веснянки: «Малютки, подбрасывая жаворонки кверху, кричат нараспев:

Жавороночки, прилетите,
Красно лето принесите,
Зиму студену унесите».

Из весенне-летних игр и развлечений Савичев отмечает, кроме традиционных хороводов, игр в горелки, в бабки («козны») и пр., игры с чисто местными особенностями. Такова, например, преимущественно девичья пасхальная игра «катание яиц», напоминающая по правилам «игру в бабки»: «Шагах в 20 от играющих, — пишет Савичев, — расставлены несколько раскрашенных яиц, фронтом, расстоянием на 2 четверти одно от другого. В них катают войлочным мячом, который имеет форму миниатюрного жернова, только без отверстия в середине. Задетое мячом яйцо выиграно и принадлежит той, которая задела его или сбила с места» [28]. Наблюдение Савичева подтверждено советским этнографом М. Г. Рабиновичем, наблюдавшим эту игру в 1921 г. в г. Уральске [29].

Описывая народные увеселения, Савичев постоянно подчеркивал наличие в них социальных мотивов, противопоставлял их развлечениям «уральских аристократов», которые «пили, пили да ели — и только, а жены их и дочери сидели взаперти, как гаремные заключенницы или боярышни допетровской Руси» [30].

Савичев рассматривает вопросы этнографии в тесной связи с историей края, с ходом социально-экономического развития. Особо значительны упоминания им событий, связанных с «волнениями» в Уральском казачьем войске и с жестокими расправами царских властей в крае.

Так, десятые годы XIX в. в связи с «волнениями» казаков в 1803—1804 гг. и последовавшим усмирением их царским правительством были, по проническому замечанию Савичева, «наполнены более тревогами, чем веселостями», а «катастрофа 1837 года, которая разразилась над войском, как каменная туча, надолго прекратила веселье казаков» [31]. Даже название качелей релями (правда, ошибочно) Савичев считает возникшим у казаков, «вероятно, по воспоминанию о пугачевских виселицах, которые слыли у стариков под названием релей» [32].

В своей собирательской практике Савичев ориентировался на демократические элементы в фольклоре казаков. Он записывал фольклор о казачьих восстаниях, отыскивал и публиковал произведения с остроклассовой тематикой, с мотивами социальной борьбы и протеста. Ему принадлежат замечательные записи преданий о Пугачеве.

Историческим преданиям Савичев уделял большое внимание. Большая их часть помещена им в очерках «Физиономия г. Уральска и его окрестностей за 100 лет и в настоящее время» и «Нечто из времен катастроф». В ряде преданий отразились «волнения» уральского казачества накануне Пугачевского восстания. Это время получило среди казаков название «фрейманщина» по имени главного усмирителя казачьего восстания 1771—1772 гг. генерала Фреймана. Основное внимание в преданиях этого цикла сосредоточено на жесточайшей расправе над восставшими. «Уж и казни были, — рассказывал собирателю старый казак Михаил Петрович Синильников, — как только красно солнышко смотрело, — сколько крови было пролито». Некоторые эпизоды предания вырастают в эпические картины народного горя: «На обломе [на площади] у Петро-Павловской церкви казнили. Как бывало начнется утро, так и казни начнутся, да до самого заката солнца и казнят. Соберут арестованных в круг, да и читают им решение, а как прочтут, так всех скованных разведут по разным местам: кого к виселице подведут, кого к колесу, кого к глаголю... Казнили, казнили, чуть не полгорода переказнили, потом перестали, начали бить кнутом, вырывать ноздри, отрезать носы и уши».

Одно из преданий повествует о руководителе восстания — «первом зачинщике» сотнике Кирпичникове, о его казни. В начале предания говорится о том, что «народ сходился на три дня смотреть, скоро ли умрет один повешенный на глаголе за крюк. А он, бедный, маялся на крюке трое суток, на третью ночь только скончался». Предание отражает одну из форм социального протеста уральских казаков — их массовый уход из Яицкого городка на восток: «Фрейман разгневался на Кирпичникова за то больше, что он подговаривал жителей бежать с Яика в Астрабад. По его подговору и пошли было люди, целыми обозами потянулись, да недалеко ушли». Савичев обстоятельно комментирует эти предания, ссылается на П. И. Рычкова и А. С. Пушкина, фиксирует реплики рассказчика, указывает, что тот объединил в предании свои детские воспоминания, когда он «мальчишкой бегал везде, между палачей и между мертвых казненных», и то, что «после слышал» [33].

Предания о Пугачеве были записаны Савичевым на Урале от того же М. П. Синильникова и А. П. Бородина. По-видимому, эти записи были произведены им в начале 40-х годов XIX в., спустя несколько лет после пребывания в Уральске А. С. Пушкина, который первым начал записывать пугачевский фольклор уральских казаков. К сожалению, предания о Пугачеве, записанные Савичевым, до сих пор оставались неизвестными науке. О них не упоминается даже в наиболее полном и обстоятельном обзоре Г. И. Площук «Научный отбор и систематизация повествований пугачевского цикла» [34]. Если записи А. С. Пушкина фрагментарны, лаконичны, а И. И. Железнова — обстоятельны и пространны, то собрание преданий в записи Савичева представляет собой нечто среднее между ними. Савичев, как и Пушкин, отмечает, что в уральских преданиях пугачевского цикла Пугачев и царь Петр III — одно и то же лицо: «В рассказе старика Синильникова интересна уверенность казаков, что они стояли не за самозванца, а за Петра III. Впрочем, об этой общей уверенности, или заблуждении, мне приходилось слышать от многих стариков, что перешло в непоколебимую традицию у потомков пугачевцев» [35].

Полнее разработан в преданиях, записанных Савичевым, первоначальный период Пугачевского восстания. М. П. Синильников сообщает о появлении «слухов» о «государе Петре Федоровиче», который остался «жив и скрывается где-то у старообрядцев». Эти толки о царе-избавителе были, как известно, очень популярны на Яике. Накануне Пугачевского восстания среди казаков появилось большое число так называемых разгласителей, которые распространяли слухи о чудесно спасшемся императоре Петре Федоровиче. Это была своеобразная пропаганда, направленная против Екатерины II и тогдашних порядков, по существу — форма идеологической борьбы, естественная в исторических условиях XVIII в., при господстве в народе наивно-монархических представлений и иллюзий. В числе распространителей таких слухов, по историческим документам, была даже женщина — Прасковья Иванаева, проповедовавшая, «что-де скоро придет государь Петр Федорович, который все настоящие порядки уничтожит и все начальство сместит»; она была жестоко наказана плетьми [36]. В другом документе говорится уже о «многих женщинах», которые «завинялись в сокрытии беглецов из мятежников и противных словах» [37]. Эти «слухи» и «противные слова» и легли впоследствии в основу некоторых преданий о Пугачеве.

Дальнейшие события Пугачевского восстания — осада Пугачевым Яицкой крепости, женитьба на Устинье Кузнецовой, казнь вождя восстания — разработаны менее подробно, чем в аналогичных записях И. И. Железнова. Пожалуй, наибольшую ценность представляет запись Савичева от казака Антона Петровича Бородина хотя бы уже потому, что в ней содержится свидетельство очевидца о пребывании А. С. Пушкина в Уральске и его интересе к пугачевскому фольклору. Вот эта запись: «Так и мне, — начал он (А. П. Бородин. — *Н. Щ.*), — один из тех казаков, которых расспрашивал А. С. Пушкин, именно Бахирев, ска-

зывал, что когда священник Червяк, бывший некоторое время писарем у Пугачева, стал умирать, то Бахирев, задушевный приятель умиравшего, и сам видевший самозванца, просил по-дружески Червяка перед смертью сказать истину: был то Петр III или самозванец, Пугачев. На это Червяк положительно отвечал, что «это не кто иной был, как император Петр III, потому, прибавил он, что таких знаний, распорядительности и проницательности не может быть в простом человеке. И мне, говорит, Александр Сергеевич Пушкин толковал, что это был самозванец, донской казак Емельян Пугачев и присвоил себе имя умершего императора; но я этому не верю. Где новым людям знать, что в старину было» [38].

Савичев также записал и опубликовал несколько преданий, посвященных восстанию уральских казаков в 1803 г.: «Как солдат пригнали», «Солдатская старица», «Вальковый остров». В этих преданиях фигурирует оренбургский губернатор князь Г. С. Волконский, жестоко расправившийся с казаками.

Савичев сумел прокомментировать историческое содержание этого цикла преданий. «Сказания старожилов» поверяются у него «документальными справками из дел Уральского войскового архива» [39]. События 1803 г. имели для народа столь большие последствия, что, по мнению собирателя, «сделались эрою так же, как и „большой“ пожар 1807 года». «От этих двух событий, — пишет он, — долго вели свое летосчисление казаки; теперь этим измеряют степень старости, говоря: „Этот старик помнит большой пожар или — помнит, как солдат пригнали“» [40].

Вместе с тем в этих преданиях в отличие от аналогичных преданий, записанных И. И. Железновым, внимание обращено собирателем в большей степени на бытовые, морально-этические проблемы. Так, в преданиях с тонкой иронией излагаются «похождения» в Уральском войске князя Волконского, который прибыл сюда, чтобы ознакомиться с причинами и характером недовольства казаков; «разведывал, что думают казаки о новом положении, которое он в скором времени должен был ввести в войске». С этой целью он притворился простачком, ходил по домам и толковал с бабами об их житье-бытье, а с ребятами выходил в поле и «выливал» сусликов. Образ Волконского снижен, комичен. «Старый князь, — говорится в предании, — страдал постоянно расстройством желудка и нередко располагался бесцеремонно на улице, днем для облегчения боли в животе» [41]. В 1900 г. В. Г. Короленко зафиксировал ряд преданий о Волконском с подобными мотивами [42].

Своеобразны устные рассказы караульных казаков, записанные Савичевым в разные годы, связанные в основном с именем Павла I. Довольно значительное число песен Савичев передал незадолго до своей смерти другому собирателю — Н. Г. Мякушину, который и поместил их в «Сборнике уральских казачьих песен» (СПб., 1890). Сюда вошли былина об Илье Муромце («Казак наезжает на разбойников»), исторические песни о Ермаке («Как на Волге на реке, да на Камышинке») и о Разине («Как по морюшку, морю синему»), несколько бытовых лирических песен. Некоторые песни были включены собирателем в свои очерки и статьи.

В фольклорно-этнографическом наследии Савичева довольно обширны записи легенд, быличек, поверий, «рецептов» народной медицины. В некоторых из них вырисовывается отсталое мировоззрение уральских казаков в то время (об опивцах, о знахарях и знахарках, о картофеле и пр.).

Легендарно-мифологические повествования интересовали Савичева в той степени, в какой они соотносились с историей и природой края, социальными воззрениями, морально-этическими понятиями и представлениями, бытом, трудом, занятиями и промыслами уральского казачества. Так, в очерке «С почвы на почву» Савичев рассказывает о столкновении казака Сидора Толкачева с «начетчицей» Акимихой. Этот казак еще в 1814 г. привез на Урал, в Бударинский форпост, семена картофеля и стал разводить его; Акимиха же, пользуясь своим влиянием на суевер-

ных казаков, добилась того, что огород Сидора Ивановича «в одну ночь был разорен, все было взрыто и раскидано». Главным аргументом старухи Акимихи была легенда, распространенная среди старообрядцев: «Картофель — садомское яблоко, исшел так же, как табак, кофий и чай, из жены — блудницы вавилонской». Савичев иронически замечает, что «нужно было пройти почти полстолетия, чтобы картофель начали сеять сами казаки, а продавать на базаре — их жены»[43].

Вместе с тем Савичев склонен был видеть рациональное зерно в ряде легенд, быличек и особенно в приемах народной медицины. Таков «испытанный способ» против сибирской язвы, который «состоит в том, что около пятнышка — признака язвы обкалывают серебряным шилом или простой толстой иглой и на обколотое место прикладывают нашатырь, а сверх него ягоду изюма»[44].

Савичев приводит также несколько народных способов лечения холеры: «гидропатический способ» заключался в том, что заболевшего холерой купали в ледяной воде, а потом согревали, завернув в теплые одежды; считалось полезным «в начале холерического припадка вызвать каким-нибудь способом испарину», применялось натирание больного крапивой и пр.

Савичев называет поименно в своих статьях известных среди казаков «лекарей» и «лекарок»: от «сибирки» лечили казачка Пелагея Киселева и ее муж; от холеры — казаки Алексей Егоров, Мин Соколов, Гурьян Сумкин, Лазарь Тамбовцев, Анна Мирошхина и др.

Много внимания Н. Ф. Савичев уделял фольклору, материальной культуре, обычаям и обрядам калмыков, казахов, башкир, татар и некоторых других соседних народов. В вопросе о национальных взаимоотношениях Савичев придерживался прогрессивных для своего времени взглядов. Показательна его поэма «Яицкие казаки и киргизы прошлого века». Рассказав о былой вражде между уральскими казаками и казахами, Савичев выразил горячее убеждение в исторической необходимости сближения и дружбы двух народов:

Национальная вражда
Все больше гаснет год от года,
И два соседние народа
Пред светом чистым просвещенья
... Должны сдружиться навсегда;
Когда падут предубежденья,
Сдружит их общая нужда
На поле честного труда[45].

В описаниях быта и занятий казахов сквозит симпатия Савичева к этому народу и знание его жизни. Савичев отметил дружеский характер взаимоотношений русских и казахов. «С великой радостью пошли мы знакомиться с киргизами, как с земляками, — вспоминает Савичев о встрече с казахами во время экспедиции к Аральскому морю в 1840 г. — Казаки, болтая с ними по-киргизски, говорили на их родном языке, и киргизы встретили нас приветливо, угощали крутом, даже молоком, которого у них самих было немного в осеннее время; кумыс держался у немногих как редкость». Указание Савичева на наличие у казаков двуязычия заслуживает особого внимания. Владение и пользование в быту и русским, и казахским языками было обычным в среде казаков: «Казаки бывших гурьевской, нижней и средней дистанций все знают киргизский язык, иногда лучше самих киргиз, так что дома между собой говорят по-киргизски»[46].

Савичев отмечал, что в середине XIX в. казахи стали переходить к оседлой жизни: «В настоящее время киргизы, близкие к Уралу, засевают пшеницу, просо, дыни, арбузы; покупают на рыболовствах у казаков рыбу, как прочие русские купцы, и перепродают ее с прибылью. Зимою они живут в землянках. Эта оседлость в зачаточном состоянии»[47]. Осо-

бенно обстоятельны описания Савичевым жилища (зимник, юрта), пищи (баламык — «мука, сваренная в воде или молоке», крут, кумыс), одежды. Но он показывает казахов и как исконных, опытных скотоводов. Он пишет: «Один пастух при помощи своей семьи может держать уход за 150 и 200 лошадьми» [48].

В быту уральских казаков Савичев отмечает некоторые заимствования от казахов: «Во время плавного рыболовства тарантас и кибитка составляют кочевое жилище атамана. На верблюда навьючивают части кибитки — кошмы (войлоки) и решетины — складной остов кибитки. За кочевое жилище — кибитку спасибо киргизам: казаки переняли от них ее, и она в иное время необходима» [49]. То же относится к приготовлению пищи: «Каймак — сгущенное молоко, вроде сметаны, но не кислое. Кипятят молоко в котле и горячее разливают в большие чашки. Когда молоко остынет и постоит полсутки, наверху образуется толстая и жирная пенка, это и есть каймак. Уралки из него пахтают масло, а не из сметаны, как везде. Это перенято от киргиз» [50].

Особую познавательную ценность представляют фольклорно-этнографические комментарии Савичева к поэме «Яицкие казаки и киргизы прошлого века». И в самой поэме, и в комментариях дано яркое описание и объяснение обычая баранты, в основном изжившего себя уже к середине XIX в.: «Баранта — самоуправная родовая месть, та же вендетта, состоящая в угоне скота, а при этом и в драке насмерть. Баранта теперь в редкость и случается у дальних киргизов» [51].

В тексте поэмы повествуется:

Иной киргиз чужого рода
В соседях овцу украдет, —
Обиженный покражей род,
Не получив вознагражденья,
Как за бесчестье, восстает
Всей массою своей на мщенье,
И загорится баранта,
Пойдет убийство, разоренье
Из поколенья в поколенье
И на далекие места [52].

Савичев отметил бытование у уральских казаков оригинального фольклорного жанра — состязания в остроумии. «Надобно сказать, — пишет он, — что уральские казаки, как вообще подскалыжники, любят в свободное от занятий время турниры на насмешках и остротах. Когда случайно заспорят двое, их непременно окружит толпа, посмотреть на перекоры противников, как на спектакль, и одобряет криками и смехом того, кто берет верх в состязательном искусстве побеждать остротами. Ссора тут не одобряется, и если один из противников осердится, то, значит, он побежден, зрители закидают его насмешками и тем сгонят с арены... Такие турниры бывают более в праздники и особенно в походах» [53]. Возможно, в этом сказалось также влияние чрезвычайно распространенных в прошлом у казахов шуточных словесных состязаний, известных под названием айтыс.

Богаты в наследии Савичева и фольклорно-этнографические материалы о калмыках. Савичеву было свойственно гуманное и бережное отношение к духовной культуре «доброго калмыцкого народа».

Во взглядах Савичева как этнографа и фольклориста сквозит неподдельный живой интерес к калмыкам, современной жизни и истории этого народа.

Савичев предпринял несколько специальных поездок по форпостам (поселкам), населенным калмыками. Результаты своих этнографических наблюдений Савичев намеревался «сгруппировать в особой статье и поместить в последнем письме путевых впечатлений» [54]. Однако заключительная часть большого очеркового повествования «Путевые впечатления

из поездок по земле Уральского казачьего войска» не была напечатана в газете. Вероятно, одной из причин этого была критическая направленность предложенных газете материалов в адрес казачьей администрации; такое критическое начало присутствует уже в опубликованных «впечатлениях» автора [55].

Однако сведения о быте и фольклоре калмыков вкраплены Савичевым в его многочисленные статьи, посвященные истории, культуре и даже природе края. Красочно и поэтично описание их «полуоседлого, полукочевого» образа жизни: «Калмык только дождется, как снег сойдет с полей, уже кочует в родную степь, с семейством и со всем своим движимым имуществом — скотом, ставит свой подвижный дом-кибитку на любом месте и живет припеваючи, переходя с места на место. Он топит навозными дровами (кизяками. — *Н. Щ.*), камышом. У него есть молоко, кумыс, выгнатая из молока водка» [56]. Савичев сообщает также о том, что если кочующие летом калмыки и приезжают в свой форпост, то «живут не в домах, а в кибитках, расставленных на дворе». Даже духовенство (гилюны, гицюли) калмыков, которое не кочует, предпочитает жить не в доме, а также в кибитках, а иногда в поле близ форпоста.

Савичев обращает внимание на примитивный характер постройки калмыцких жилищ-зимников. В основном это глинобитные постройки с плоской крышей, покрытой камышом. Камыш был одним из основных строительных материалов у калмыков, из него делались также «дворные загороди», и даже для переправы через р. Урал был «устроен камышовый паром» [57].

Представляет интерес сообщение Савичева о наличии у калмыков кулачных боев: «Драки, как поединки, вызываются вовсе не ссорой, а свойственным калмыкам удовольствием подраться» [58].

Таким образом, калмыки, включенные в уральское казачество, сохранили к середине XIX в. свой исконный уклад жизни.

* * *

Архив Н. Ф. Савичева пока не удалось обнаружить; разумеется, это усложняет работу по выяснению роли, которую собиратель сыграл в местной русской фольклористике и этнографии. Но и то, что им опубликовано, чрезвычайно свежо и своеобразно. Обширное фольклорно-этнографическое наследие Никиты Федоровича Савичева, до сего времени как бы оставляемое в тени, нуждается в изучении, а лучшие его образцы — в переиздании.

[1] Об этом издании см.: *Соколов А.* Ко дню двадцатипятилетнего юбилея «Уральских войсковых ведомостей». — Уральские войсковые ведомости (далее: УВВ), 1892, № 1; *Ш. С.* «Уральские войсковые ведомости» за первое двадцатипятилетие (1867—1891); *А. С. Д.* «Уральские войсковые ведомости» с 1892 по 1916 год; *П. Б.* Краткий обзор деятельности наиболее выдающихся сотрудников «Уральских войсковых ведомостей» за 50 лет; *А. Б.* По поводу расширения «Уральских войсковых ведомостей». — УВВ, 1917, № 1 (все четыре статьи напечатаны в этом номере).

[2] *Соколов А.* Ко дню двадцатипятилетнего юбилея...

[3] См.: Картины из быта уральских казаков. — Иллюстрированная газета, 1869, т. 23, № 1, 3, 7, 10; Из быта поселенцев Оренбургского края вообще и уральских, тогда яицких, казаков в частности за сто лет назад. — Туркестанские ведомости, 1876, № 45—47; Песня истории (стихи). — Казачий вестник, 1882, № 103; Бездолье (повесть). — Казачий вестник, 1883, № 5, 8, 10, 19, 24, 25; Кратковременное знакомство с Тарасом Григорьевичем Шевченко (Рассказ офицера Уральского казачьего войска). — Казачий вестник, 1884, № 53, 54.

[4] В «Уральских войсковых ведомостях» (далее указаны год и номера газеты) было напечатано: Увеселения в Уральском войске (1868, № 31—33); От Кармановского форпоста до Глининского (1868, № 44); Путевые впечатления из поездок по земле Уральского казачьего войска (1868, № 47, 48; 1869, № 6, 7, 13); Уличные и комнатные сцены (1871, № 41, 42, 45, 46); Воспоминания об экспедиции к Аральскому морю в 1840 г. (1873, № 13—18); Физиономия г. Уральска и его окрестностей за 100 лет и в настоящее время (1874, № 18—20; № 31—35); Воспоминания об экспедиции к Аральскому морю в 1825—26 годах (1875, № 7, 9); Из быта поселенцев

Оренбургского края вообще и уральских, тогда яицких, казаков в частности за сто лет назад (1876, № 23—30); Уральская старина: Рассказы из виденного и слышанного (1883, № 36, 43, 44; 1884, № 2, 12, 13); О бывшем Сергиевском монастыре (1876, № 42); Исетай Тайманов, старшина Внутренней орды (1876, № 43—45, 47—51; 1877, № 1); О неповиновении начальству двух киргиз (1876, № 4, 6); Яицкое дело (1877, № 18, 19); Нечто из времен катастроф (1884, № 18, 19); Уральский станичный суд (1876, № 33—36); О способе разведения лошадей у уральских казаков (1872, № 35, 36, 38, 39); Несколько слов о багренье (1873, № 10, 15); Школьники на багренном рыболовстве (1875, № 28—46); О появлении холеры в Уральском казачьем войске в 1830 году (1877, № 10—17); и др.

[5] *Савичев Н.* Путевые впечатления от поездок по земле Уральского казачьего войска. — УВВ, 1868, № 47.

[6] *Савичев Н.* Путевые впечатления из поездок по земле Уральского казачьего войска. — УВВ, 1869, № 9.

[7] Архив С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых, ф. 3, оп. 5, д. 19. — Рукописный отд. ИРЛИ. Н. Ф. Савичев был знаком с деятельностью И. С. Аксакова.

[8] Там же, оп. 5, д. 19, л. 17.

[9] Там же, л. 7 и 9.

[10] Концерт 26 февраля в Уральске. — УВВ, 1867, № 10.

[11] УВВ, 1867, № 45. «Удар» — сигнальный выстрел из пушки, после которого начинался лов рыбы. «Жар багренья» — самый напряженный момент зимнего лова, когда баграчеи начинали опускать через проруби багры до дна и быстро их выдергивать.

[12] Подробное описание экспозиции по уральским казакам на выставке содержится в заметке: Участие уральцев в русской этнографической выставке в Москве. Уральская группа на выставке (Извлечение из Указателя). — УВВ, 1867, № 26.

[13] -ъ. Заметки о народном быте и одежде уральских казаков. — УВВ, 1867, № 1, 2, 5, 48, 51.

[14] *Савичев Н.* Физиономия г. Уральска и его окрестностей за 100 лет и в настоящее время. — УВВ, 1874, № 20.

[15] *Савичев Н.* Путевые впечатления из поездок по земле Уральского казачьего войска. — УВВ, 1868, № 47.

[16] *Савичев Н.* Исправленная ошибка. — УВВ, 1872, № 2.

[17] *Савичев Н.* Уральская старина: Рассказы из виденного и слышанного. — УВВ, 1883, № 36.

[18] *Савичев Н. Ф.* Штат. — В кн.: Мякушин Н. Г. Сборник уральских казачьих песен. СПб., 1890, с. 216—217.

[19] *Савичев Н.* О способе разведения лошадей у уральских казаков. — УВВ, 1872, № 35. Савичев, говоря о казахах, употребляет принятый в его время этноним «киргизы»; о киргизах в современном значении у него не упоминается. В примечаниях к поэме «Яицкие казаки и киргизы прошлого века» он поясняет: «Себя киргизы называют: казак (кассак), татар — нагаями» (УВВ, 1881, № 39).

[20] *Савичев Н.* Исправленная ошибка. — УВВ, 1871, № 51. О сложности этнического состава уральского казачества писал еще академик П. С. Паллас, побывавший в Яицком городке (Уральске) дважды: в 1769 и 1779 гг.: «Город весьма многолюден... Кроме великого числа иностранных, там находящихся купцов, которые держат при себе множество прикащиков и работников, считается одних казаков до 15 тысяч душ... Но в выше упомянутом числе, то есть в 15 тысячах, находится много некрещеных татар, калмыков и так называемых казылбашов, которые произошли от трухменцев и персиян и по большей части содержат дынные огороды. Все из оных народов, крестившиеся вообще, называются балдыри» (*Паллас П. С.* Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1809, ч. 1, с. 412—413).

[21] *Савичев Н.* Физиономия г. Уральска и его окрестностей за 100 лет и в настоящее время. — УВВ, 1874, № 31.

[22] Там же. Наименование народа по признаку головного убора — явление достаточно известное; ср., например, названия: черные клобуки и каракалпаки (черные шапки), казахские рода кызылбёрк (красные шапки) и копур-бёрк (коричневые шапки) и пр.

[23] Это соответствует утверждению историков и лингвистов, что первыми засельниками берегов Яика были выходцы из северных областей Руси, преимущественно из Новгородской земли. Об этом см.: *Карпов А. Б.* Уральцы: Исторический очерк. Уральск, 1911. Ч. 1; *Малеча Н. М.* Уральские казаки и их диалект. — Учен. зап. Урал. пед. ин-та, 1956, т. 3, вып. 11.

[24] *Савичев Н.* Увеселения в Уральском войске. — УВВ, 1868, № 31. О большой распространенности на Урале этого обычая в прошлом говорят и записи последних лет. В поселке Каленый (Чапаевский р-н, Уральская обл.) фольклорная экспедиция в июне 1979 г. записала такое воспоминание: «Мужчины придумали, возьмут это сани, впрягут тюяка (заимствовано из казахского туйе — верблюд. — *Н. Щ.*) положут будару (лодку) и два весла, три весла. Вот. Мужчины сядут в весла, женщины сядут которы на верблюдé, которы в санях тут сидят. Ну, и давай — поехали, хари ряженые, поехали. Мужчины нарочно возьмут да как-нибудь вполýгору поедут, а сани перекувыркнутся, будара перекувыркнется. Вот. Опять подымают, опять смешно» (Записано Н. М. Щербановым от Анны Корниловны Трифоновой, 80 лет).

[25] *Савичев Н.* Увеселения в Уральском войске. — УВВ, 1868, № 31. В другой современной записи вспоминается об участии в масленичной процессии в старину «саней с неводом, в которых казаки гребут веслами по снегу, невод разбрасывают» (записано Н. М. Щербановым в пос. Каленый Чапаевского р-на

Уральской области в 1979 г. от Павлины Андриановны Лакаевой, 79 лет).

[26] *Савичев Н.* Увеселения в Уральском войске. — УВВ, 1868, № 32.

[27] Там же.

[28] Там же.

[29] *Рабинович М. Г.* Очерки этнографии русского феодального города. М., 1978, с. 168.

[30] *Савичев Н.* Увеселения в Уральском войске. — УВВ, 1868, № 33.

[31] *Савичев Н.* Увеселения в Уральском войске. — УВВ, 1868, № 32; ср. очерк И. И. Железнова «Туча каменная» о тех же событиях (*Железнов И. И.* Очерки быта уральских казаков. — Собр. соч. 3-е изд. СПб., 1910, т. 1).

[32] Там же.

[33] *Савичев Н.* Нечто из времен катастроф. — УВВ, 1884, № 18.

[34] См.: Фольклор Крестьянской войны 1773—1775 годов: К 200-летию Пугачевского восстания. Л., 1973.

[35] *Савичев Н.* Нечто из времен катастроф. — УВВ, 1884, № 19.

[36] *Арсеньев А. В.* Женщины пугачевского восстания: Приключения и судьба женок, причастных к пугачевскому бунту. — ИВ, 1884, № 4, с. 617.

[37] Заметка о содержании документов Хозяйственного правления Уральского казачьего войска в г. Нижне-Уральске. — УВВ, 1883, № 13.

[38] УВВ, 1884, № 19.

[39] *Савичев Н.* Физиономия г. Уральска... — УВВ, 1874, № 31.

[40] *Савичев Н.* Физиономия г. Уральска... — УВВ, 1874, № 18.

[41] *Савичев Н.* Физиономия г. Уральска... — УВВ, 1874, № 31.

[42] *Короленко В. Г.* У казаков. — Полн. собр. соч.: В 6-ти т. СПб., 1914, т. 6, с. 161—162.

[43] *Савичев Н.* С почвы на почву. — УВВ, 1884, № 14.

[44] *Савичев Н.* О появлении холеры в Уральском казачьем войске в 1830 году. — УВВ, 1877, № 17.

[45] УВВ, 1881, № 42.

[46] *Савичев Н.* Воспоминания об экспедиции к Аральскому морю в 1840 г. — УВВ, 1873, № 18.

[47] *Савичев Н.* Яицкие казаки и киргизы прошлого века. — УВВ, 1881, № 36.

[48] *Савичев Н.* О способе разведения лошадей у уральских казаков. — УВВ, 1872, № 35.

[49] *Савичев Н.* Картины из быта уральских казаков. — Иллюстрированная газета, 1869, № 4, с. 53.

[50] *Савичев Н.* Картины из быта уральских казаков. — Иллюстрированная газета, 1869, № 7, с. 108.

[51] *Савичев Н.* Яицкие казаки и киргизы прошлого века. — УВВ, 1881, № 81.

[52] Там же.

[53] *Савичев Н.* Школьники на багренном рыболовстве. — УВВ, 1875, № 40.

[54] *Савичев Н.* От Кармановского форпоста до Глининского. — УВВ, 1868, № 44.

[55] *Савичев Н.* Путевые впечатления из поездок по земле Уральского казачьего войска. — УВВ, 1869, № 7.

[56] *Савичев Н.* Путевые впечатления из поездок... — УВВ, 1869, № 6.

[57] *Савичев Н.* От Кармановского форпоста до Глининского. — УВВ, 1868, № 44.

[58] *Савичев Н.* Увеселения в Уральском войске. — УВВ, 1868, № 32.

В. П. Аникин

ПРОБЛЕМЫ ФОЛЬКЛОРА В ТРУДАХ ОРЕСТА МИЛЛЕРА

Теоретические работы Ореста Федоровича Миллера (1833—1889) представляют сегодня особый интерес вследствие остроты непрекращающихся споров по вопросам специфики фольклора и метода его исследования. В свое время О. Ф. Миллер систематично осветил их. О замысле представить предмет науки о фольклоре «в строгой исторической системе» он писал в «предварительных замечаниях» к учебному курсу «Опыт исторического обозрения русской словесности» [1].

Знакомясь с «Опытом», мы убеждаемся в том, что О. Ф. Миллер, действительно, поставил почти все главные теоретические проблемы, связанные с пониманием специфики фольклора и учетом ее в конкретном исследовании. Что же касается существа предложенных решений, то едва ли найдется какое-нибудь принципиальное отличие теоретических взглядов ученого в этой области от воззрений других исследователей — приверженцев так называемого мифологического объяснения фольклора. По работам О. Ф. Миллера можно судить о состоянии академической мысли в фольклористике 60—70-х годов XIX в., а это необходимо для верной ориентации в том, по каким направлениям пошло развитие науки о фольклоре, какие достижения были подхвачены, какие моменты потерялись и что из положений старой мифологической школы повторяется сегодня в модернизированном виде.

1

Не без влияния немецкой схоластической науки О. Ф. Миллер о фольклоре и литературе судил в отвлеченных понятиях и категориях. В суждениях ученого дают о себе знать абстракции, которые неотделимы от схематизма, и этот схематизм почти всегда подсказывает ученому конкретные решения. Автор «Опыта исторического обозрения русской словесности» не исходит из исторических фактов, а подчиняет их предварительным установкам своих общих представлений и понятий. Исходным в рассуждениях О. Ф. Миллера стал тезис: «... к словесности относится все то, что выражается языком для удовлетворения высшим стремлениям человека: 1) *стремлению к истинному*, 2) *стремлению к прекрасному и к идеалу*» (с. 12). Словесность, как сложное явление общественного характера со множеством влияющих на нее исторических факторов, у О. Ф. Миллера оказывается истолкована в абсолютных понятиях. Ученый не усмотрел разницы между сложным социально-историческим составом словесности со всей совокупностью его общественных связей и явлением другого порядка — духовными запросами ребенка, с его, по словам О. Ф. Миллера, «жаждой знаний — ради самого знания без всякой дальнейшей цели», с потребностью наслаждаться вымыслом. «То же бывает с народами», — продолжал О. Ф. Миллер. В народной словесности, как в искусстве, им усматриваются стремление к истине,

чуждое насущных, житейских нужд, а равно желание уйти от действительности в «мир идеальный».

Вряд ли сегодня была бы необходимость говорить о несостоятельности этого отвлеченного понимания народного искусства, если бы оно не сделалось важнейшим пунктом современных концепций в фольклористике, претендующих на научную новизну. В фольклоре и ныне некоторые ученые видят искусство, значимое само по себе, безотносительно к жизненным, практическим и общественным целям, искусство, обладающее автономным от реальности и ее влияний идеальным миром, с особой познавательной «моделью» мира. С некоторых пор стали модными суждения о существовании замкнутого в себе идеального «мира сказки», «мира эпоса»; при этом конструируются его универсальные «инварианты» и механизмы формообразования[2]. Неоспоримо, что поэтическое отражение реальности в былинах, в сказках во многом проникнуто идеализирующим началом, но этот эстетический феномен, каким бы далеким от правдоподобия он ни был, нисколько не означает отхода самого искусства от отражения реальности. На место положения О. Ф. Миллера о самоценном «стремлении к истинному», а заодно и современных подновлений этого взгляда следовало бы ставить эстетическое отражение реальности, исходящее из общественных, практических целей. Это касается и сказки, и эпоса, и пословиц, и загадок — всех видов фольклорного творчества. А на место суждения о якобы выражаемом стремлении уйти от действительности в «мир идеалов» необходимо поставить другое: идеалы прекрасного — часть реальных стремлений людей.

Уяснение общего исходного понимания О. Ф. Миллером искусства заставляет вносить существенные поправки и в утверждения, непосредственно относящиеся к фольклору. По О. Ф. Миллеру, «идеальный мир, который называют *искусством* или *художеством*», с запечатленным в нем выражением «еще младенческого стремления к прекрасному» в «первоначальные» времена «нераздельно сливается» со стремлением к истине. В этом, по мнению ученого, проявляется «не столько желание в точности получить понятие о настоящем составе и значении явлений, сколько желание сразу узнать их причину». Ученый по-своему, отвлеченно, психологически истолковал причины, побуждавшие первобытного человека постигать свойства окружающего мира. Он характеризовал запросы первобытного ума словами: «... нетерпеливое любопытство поскорее узнать — отчего это?»; ответ на это «дается легко», «он дается тут *не умом*, а *фантазией*» и пр. (с. 13—14). Дело, конечно, не в «нетерпеливом любопытстве». Пытливость первобытного ума диктовалась желанием преодолеть силу жизненных обстоятельств, была вызвана борьбой за покорение внешних сил природы. Фантазия отнюдь не свидетельствовала от отсутствии умственных усилий у человека; фантастические объяснения отмечены напряженной работой ума. Ограниченный возможностями своего жизненного опыта, человек фантазировал совсем не потому, что, как дитя, был охвачен безотчетным желанием узнать все сразу, не беря истин с боя «продолжительной, упорной работою ума», а потому, что силился понять еще недоступное ему, непосредственно не данное в опыте. Кроме того, хотя избыток фантазии и был следствием незрелости мышления первобытного человека, но в этой фантазии обнаруживались потенциальные силы человеческого ума; в познании мира люди выходили за пределы своих ограниченных возможностей. О. Ф. Миллер явно недооценивал значение первобытной фантазии, усматривая в ней лишь «ребячески простодушные» ответы на первые вопросы ума и образы, удовлетворяющие чувству прекрасного: «... желая решить, *отчего* то или другое явление, воображение усматривает в них действия особых живых существ и совершенно удовлетворяется тем, что считает их виновниками этих явлений. Эти особые существа, эти различные образы, созданные воображением, и их сочетания составляют так называемые *мифы*, а из них составляется *мифология* того или другого народа» (с. 14).

Парадоксально, но остается фактом, что ученый-мифолог, склонный усматривать в продуктах творческого воображения мифическую подкладку, не понял истинной силы и значения мифологического вымысла. Недопонимание значения мифов у ученого коренится в отрыве фантазии от ее жизненной почвы.

Уместно вспомнить слова К. Маркса, написанные в тот же период, о значении фантазии в истории общественного прогресса. В конспекте книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество» К. Маркс писал о воображении, что это «великий дар, так много содействовавший развитию человечества, ... оказывая уже могущественное влияние на человеческий род» [3]. Он дал и определение самой мифологии, как «бессознательно-художественной переработки природы» и добавил: «... здесь под природой понимается все предметное, следовательно, включая и общество» [4]. К. Маркс и Ф. Энгельс стремились обратить в сторону разрешения чисто исторических проблем «мощное и плодотворное», по определению Ф. Энгельса [5], развитие науки о языке в трудах Франца Боппа, Якоба Гримма, Фридриха Дица (на этих трудах основывались и мифологи). Опираясь на этимологию Якоба Гримма, связавшего «названия благородных металлов с соотношениями цветов в различных индогерманских языках», К. Маркс в своем политико-экономическом труде писал о золоте и серебре как эстетической форме богатства: «Они представляются в известной степени самородным светом, добытым из подземного мира, причем серебро отражает все световые лучи в их первоначальном смешении, а золото лишь цвет наивысшего напряжения, красный. Чувство же цвета является популярнейшей формой эстетического чувства вообще» [6]. Ф. Энгельс при анализе отражения родового быта в поэзии древних германцев извлек этимологические справки из трудов Якоба Гримма и скорректировал их с собственными представлениями о возможном дальнейшем смысле слова fâra: у лангобардов и бургундцев так называлась родовая община. Ф. Энгельс связал ее название со значением «ездить», «кочевать», «возвращаться», тогда как Якоб Гримм выводил название общины из гипотетического корня fisan — рождать [7].

О. Ф. Миллер лишь в немногих частных моментах своих общих суждений коснулся бытовых жизненных основ человеческого воображения. Так, говоря об искусстве у народов «развитых», «способных сделаться историческими» (советская наука отвергает такое деление. — *В. А.*), он допускал возможность соединения в мифах фантазии и действительных происшествий: «Рассказ о действительных происшествиях немедленно дополнялся *вымыслом*, *история* становилась *поэзией*, подобно тому как поэзией была мифология» (с. 14). Это уже приближение к мысли о связи мифа с реальностью, хотя нетрудно усмотреть, что и тут фантазия принимается за дополнительное качество: она, по мнению О. Ф. Миллера, «примешивалась» к реальному рассказу о том, что было сочтено достойным передаваться из рода в род как память о действительно случившемся. Однако О. Ф. Миллер допускал, что соединение реального знания и фантазии было иногда исконным в искусстве народов: «Впрочем, уже и в первоначальные времена чувству истинного удовлетворяла не только одна фантазия: начинал уже отчасти работать и ум; начинал он внимательно наблюдать за происшествиями человеческой жизни и делать из них различные заключения, которые, как практические правила народной мудрости, сохранялись в продолжение целых веков и дошли до нас в виде пословиц» (с. 14—15). Так, обращение к конкретным фольклорным фактам не согласовывалось с представлениями О. Ф. Миллера об отсутствии в первоначальной «фантазии» реальных оснований.

2

Другой существенной проблемой, занимавшей О. Ф. Миллера, был древнейший синкретизм искусства и последующий его распад с соответствующим выделением разных видов и жанров. Он писал: «... заро-

дыши прозы, т. е. *слова умственного*, существуют в смешении не только со словом *художественным*, т. е. поэзией, но и с другим, даже не вполне *словесным* искусством. Наконец, все это смешивается по временам с искусствами, уже решительно не словесными — мимикой и орхестикой (пляской. — *В. А.*), между тем как прочих искусств: ваяния, зодчества, живописи — еще не существует». О. Ф. Миллер усматривал в первобытном творчестве «хаотическое смешение» всех начал; в последующем же у народов, которые двинулись далее этого состояния, возникают искусства, которых прежде не было, и одновременно выделяются искусства, ранее существовавшие в соединении. При этом «искусство слова» — поэзия отделяется от «слова умственного» — прозы: «стремление к прекрасному и стремление к истинному начинают идти каждое своим отдельным путем, не смешиваясь, а только соприкасаясь в том, что у них есть общего» (с. 15). Состояние первоначального синкретического искусства обрисовано здесь в целом верно, хотя в свете новейших археологических данных можно внести уточнения и поправки в состав компонентов и их характеристику. Но само определение синкретизма у О. Ф. Миллера опирается на абстрактно-психологическую предпосылку, и соответственно причина распада синкретизма усматривается в отделении чувства прекрасного от стремления к истине. Он даже не ставит вопроса о действии тех реальных социально-исторических факторов, которые сначала обусловили слитное состояние искусств, а позднее в связи с разделением труда в обществе в конечном счете вызвали их дифференциацию.

Из этой предпосылки О. Ф. Миллер сделал вывод о своеобразии фольклора. По его мнению, фольклор навсегда удержал свойства своего первоначального синкретического состояния, тогда как в остальных видах искусства произошли серьезные исторические видоизменения. При этом О. Ф. Миллер связал отделение поэзии от прозы с появлением письменности (с. 16). Согласно его представлениям, существовавшее до известной поры слитное состояние искусств требовало лишь устной формы творчества и фольклор в противоположность «слову умственному» не нуждался в иной форме закрепления своего поэтического содержания: «Для передачи из рода в род созданий фантазии устное слово еще достаточно; это создания более или менее вымышленные, т. е. более или менее произвольные, а потому их и можно более или менее изменять, и они мало терпят от тех изменений, которым подвержено устное слово». Другое дело — творческая работа ума: «Для точного охранения приобретений и заключений ума необходимо то, что дает слову, так сказать, застыть, принять неизменную форму, — необходима *письменность*». Письменность является единственным средством «обособления и самостоятельного развития словесности, по преимуществу умственной или прозаической». Поэтому в словесности после возникновения письма происходили изменения и постоянное развитие — «успехи»; а в устном творчестве продолжалось состояние «неподвижное, как бы стоячее». И если в фольклоре наблюдались изменения, то они были «незначительны»; в течение столетий народное творчество мало удалялось «от основного, неизменного содержания» (с. 17).

По существу О. Ф. Миллер обосновывал свое право мифолога изучать фольклор как архаическую поэзию, остававшуюся чуждой всему историческому развитию общества после возникновения письменности. Соответственно он настаивал на особом содержании фольклора как продукта чисто фантастического вымысла. Исконная фантазия будто бы не претерпела значительных изменений из-за устной формы творчества — могло варьироваться лишь немногое первоначальное содержание первобытного вымысла. Таким образом, устность была истолкована как важнейшее свойство фольклора, как его форма, соответствующая содержанию первобытной поэзии, и, наконец, как причина устойчивости в фольклоре древнейшего содержания, чуждого исторической новизне последующих веков.

В истории науки о фольклоре этот взгляд О. Ф. Миллера, вероятно, — одна из первых попыток уяснить специфику фольклора на основе уст-

ности как его определяющего качества. Этот взгляд претерпел ряд изменений, освободился от многих концептуальных связей, с которыми существовал в работах О. Ф. Миллера, но перешел в некоторые современные работы в виде тезиса о «консервирующих механизмах мифа»[8], о постоянном воспроизведении устно творившими сказителями «определенных поэтических структур (на всех уровнях)» при «строгом» удержании «пределов символической моделирующей системы»[9].

Устная форма творчества в фольклоре как искусстве слова действительно связана с его характером и изобразительными возможностями. Бесспорную связь содержания фольклора с его устной формой признают многие современные исследователи. Но устность нельзя считать фактором, только ограничивающим художественно-изобразительные возможности фольклора, и противополагать ее как форму творчества письменной фиксации художественного творчества. Разница между ними, конечно, есть, но устная форма творчества в фольклоре не безбрежная негативная сила. Устность сопряжена с особыми традиционными приемами закрепления результатов художественного творчества. Обычные приемы пения и рассказывания, так называемые «общие места», типизированность образов, формулировочный характер повторяющихся из произведения в произведение стилистических клише, повторяемость композиционно-структурных элементов словом, — поэтический строй фольклора в каждом его виде обладает своей устойчивой поэтикой, отвечающей столько же устности творчества, сколько и специфическому содержанию. В условиях передачи произведений из уст в уста народ как творец фольклора выработал приемы сохранения в произведении всех существенных художественных особенностей. Эти приемы способствовали достаточно точной передаче устного произведения из поколения в поколение, но они всегда оставляли открытой возможность исторических новаций.

В противоположность фольклору письменность определялась ученым как отражение интересов более культурной среды. Но между устностью и поэтико-фантастическим содержанием фольклора нет усмотренной О. Ф. Миллером связи. В позднее историческое время фольклор изменил свое содержание, удовлетворив новые запросы людей, а устный характер удерживался им не менее прочно, чем раньше. Письменность же, в свою очередь, не препятствовала устойчивости многих поэтико-фантастических элементов в литературе.

О. Ф. Миллер сознавал, однако, что его взгляд на устность как на свойство, всецело объясняющее архаику фольклора, может вызвать несогласие. Будь иначе, ученый не почувствовал бы необходимости дополнительных пояснений. О. Ф. Миллер указал на «странное» обстоятельство: хотя устное творчество и пребывает «в состоянии неподвижном», но сами фольклорные произведения «изменяются постоянно, безостановочно». Это противоречие он объяснял тем, что поэтическое предание в народе «передается только с частными изменениями, вполне сохраняя свой общий характер» (с. 17). Однако для объяснения такого свойства фольклора при его устном характере явно не доставало аргументации: отсутствие твердой письменной фиксации, наоборот, казалось бы, открывало возможность для безграничных и общих, а не только частных изменений в поэтическом предании.

3

С намерением подкрепить свой взгляд на устойчивость фольклора, якобы допускавшего лишь частные изменения, О. Ф. Миллер развернул свою аргументацию. Он изложил принятое и другими учеными его времени мнение о том, что устное творчество не знает индивидуального авторства.

Ф. И. Буслаев писал: «В ту (т. е. отдаленную, первобытную. — *В. А.*) эпоху важнейшим духовным деятелем был язык. В образовании и строении его оказывается не личное мышление одного человека, а творчество целого народа... Тою же силою, какою творился язык, образовались и

мифы народа, и его поэзия... Все шло своим чередом, как заведено было испокон веку... Отдельной личности не было исхода из такого сомкнутого круга». В другом месте того же труда он утверждал: «В период эпический исключительно никто не был творцом ни мифа, ни сказания, ни песни... Поэтом был целый народ; творил он поэтические предания в продолжение веков. Отдельные же лица были не поэты, а только певцы и рассказчики; они умели только вернее и ловчее рассказывать или петь, что известно было всякому... Предание, подобно языку, жило в сознании всех и каждого; веками оно возрастало и обрабатывалось... В эпическую эпоху рассказчик, или певец, довольствовался немногими прибавлениями только в подробностях, при описании лица или события, уже давно всем известных; он был свободен только в выборе того, что казалось ему важнейшим в народном сказании, что особенно могло тронуть сердце» [10].

«Народная песня, — писал О. Ф. Миллер, — первоначально слагается, конечно, каким-нибудь *одним* певцом; но имя его не сохраняется, — почему? Потому что немедленно, переходя в уста других певцов, она повторяется ими как их собственное произведение; каждый из них что-нибудь в ней изменит *по-своему*, но эти изменения совершенно незначительны в сравнении с тем, что в устах целого множества певцов и в продолжение целого множества лет поется *по-общему*». Возможность полного усвоения произведения многими лицами и незначительность производимых ими при этом изменений объяснялись О. Ф. Миллером тем, что в среде, в которой произведение бытовало, отсутствует личность. Весь фольклор объявлялся творчеством «*эпохи несуществования личности*»: «Дело в том, что в первобытные времена чувства и мысли народа сливаются в одни и те же общие и в продолжение целых веков неизменные тона... что тут еще мало заметны *особенности* отдельных лиц, т. е. *личности* еще *почти* что не существуют, *почти* не выдаются вперед из *общего* уровня; этот же общий уровень остается в продолжение целых веков почти неизменным, почти неподвижным». Следствие «застоявшейся ровности» О. Ф. Миллер усматривал в том, что никакое отличающееся от других произведений особое поэтическое создание в этих условиях невозможно. Ученый лишь теоретически допускал, как «чудо», появление «певца, которого мысли и чувства многим бы отличались от всеобщих и вековых чувств и мыслей народных песен». В этом случае, по словам О. Ф. Миллера, неизбежно произошло бы уничтожение «*личной* песни»: «она не нашла бы себе певцов-повторителей», а если бы и нашла, то они «стерли бы с нее все, что в ней есть собственно *личного*». И тут О. Ф. Миллер нашел необходимым особо указать, что отсутствие письменности соответствует именно этому состоянию поэтического творчества, что с появлением в обществе выдающихся личностей, по его мысли, потребовался и «новый способ сохранения их произведений» — письменность: «... *личная мысль* сберегается в совершенной неприкосновенности». Литература же в противоположность фольклору для своего возникновения требует появления «личностного» самосознания, которого нет в среде творцов фольклора (с. 18).

Мы видели, что О. Ф. Миллер допускал при объяснении неизменности фольклора оговорку, предполагавшую в фольклоре частные изменения. Это подкреплено утверждением, что устная поэзия — творение сплошной, одинаковой массы людей, среди которых было невозможным появление отличающейся от других людей личности. Как только в обществе появляются такие личности, возникает литературное творчество, письменные формы которого фиксируют индивидуальную творческую работу. Литературные произведения свойственны обществу, которое преодолело «застоявшуюся ровность» первобытности.

В этих рассуждениях следует отличать констатацию реальных фактов от их объяснения. Фактом следует признать нехарактерность для фольклора произведений с ярким «авторским» самосознанием, с индивидуальной неповторимостью содержания и формы и признать правоту в этом

отношении О. Ф. Миллера и других ученых его времени, столь же твердых в констатации этого факта. Другое дело — объяснение. Во все времена человеческой истории следует допустить возможность личного самосознания у творцов материальной и духовной культуры. Сплошное мышление, равное у всех людей чувствование, ощущение окружающего мира — изобретение кабинетных умов. Конечно, нельзя не допустить, что чем дальше в глубь истории переносится взгляд, тем вероятнее преобладание наиболее общих, «стадных» свойств у человека, преобладание их над индивидуальным сознанием. И тем не менее предполагать полное растворение личности в людской массе, полное отождествление одного лица с другим невозможно. Выражение в фольклоре «массового», «надличностного» начала объясняется другой причиной — особой идейно-художественной функцией фольклора. Фольклор не выявляет «личностного» начала не потому, что в народе не было выдающихся людей, отличающихся от прочих, а потому, что в фольклоре склонности и вкусы отдельного человека поглощены передачей общезначимого.

4

Изложенные в «Опыте исторического обозрения русской словесности» мысли были выношены О. Ф. Миллером. Это его кредо, которому он был верен всю жизнь, но в дальнейших трудах мысли ученого получили уточнения и дополнения, порой существенные. В этом отношении важно теоретическое введение в главный исследовательский труд ученого «Илья Муромец и богатырство Киевское» [11]. Он повторил здесь многие из своих положений, непосредственно касающиеся фольклора, но вследствие особого замысла этого труда развил и ряд новых.

О. Ф. Миллер счел нужным сделать оговорку, касающуюся различия между литературой и фольклором: присутствия личного начала в литературе и отсутствия его в фольклоре. По-прежнему отстаивая мысль о фольклоре как о безличном творчестве, он заметил, однако, что отсутствие личного начала «в продолжение долгого времени до известной степени продолжает проявляться и в самой письменности». О. Ф. Миллер усмотрел в древних литературах, еще близко стоявших к фольклору, те же свойства: «И помощию переписывания усваивая чужую мысль, с нею обращаются еще, так сказать, на основании общности умственного имущества. Тут кое-что убавить, там, напротив того, прибавить кое-что от себя, сокращать и распространять — одинаково обычно» (с. II). В древних литературах, действительно, все это наблюдается, но О. Ф. Миллер прибавил к прежним суждениям по сути лишь то, что «личностное» сознание творца сложилось в литературе исподволь, по мере ее исторического становления. Очевидно все же, что оговорка не сняла общего смысла его прежних соображений: «В устно-народной словесности общность умственного имущества была, так сказать, еще единственной формой владения, в древней же письменности уже заводится *личная собственность*, но все удерживается привычка пользоваться и не своим. Свое и чужое тут не то чтобы нераздельно в общинном смысле, а оно тут как бы *коммунистически* смешивается» (с. IV).

Соответствующую поправку О. Ф. Миллер внес и в свое понимание фольклора, в котором ученые его времени заметили присутствие «личностного» самосознания певца. Отклик на это движение научной мысли (с уточнением прежнего суждения об отсутствии в фольклоре личного авторства и индивидуальной неповторимой художнической манеры) он связал с тем, что́ следует считать вариантом фольклорного произведения.

О. Ф. Миллер провел аналогию между списком, сделанным переписчиком, в древней литературе и фольклорным вариантом: «Там *списки* со многими разноречиями, здесь — *пересказы* со множеством их; но и тут и там одинаковым образом то, что принято называть вариантами» (с. III). Аналогия отнюдь не вела к мысли о тождестве списка и пересказа. О. Ф. Миллер настаивал на их различии, которое коренится в принципи-

альной непохожести литературы на фольклор. Переписчики свободны: «...в *уголку, про себя* совершали свои труды... вписывай себе втихомолку, что хочешь — все терпит хартия!». Иное дело в фольклоре: при пересказе или повторном пении все делается иначе — «совершенно наоборот», так как «преобладала гласность»: «Попробуй певец народный дать слишком большой простор своим присочинениям — и они сразу прозвучали бы вопиющей разноголосицей для народного слуха». Произведения, передаваемые из уст в уста, постоянно проверялись «общим народным судом» (с. III). Поэтому фольклорное произведение, по словам ученого, «вернее» хранилось в народе: свобода изменений сдерживалась народной привычкой. И вновь в подкрепление этого положения О. Ф. Миллер выдвинул свой тезис о сплошном мышлении народа: «Да и откуда взять какому-нибудь певцу *личные* краски и отпечаток личного нрава и вкуса, когда все это возможно разве в самой незначительной степени — при том почти одинаковом умственном уровне, какой господствует у народа, не тронутого образованием?» (с. IV).

О. Ф. Миллер считал важным оспорить некоторые суждения П. Н. Рыбникова, у которого заметил противоположную установку: «По замечанию г. Рыбникова, даже между былинами, записанными им в одном и том же, правда весьма обширном, Олонецком крае, замечаются известные особенности в строе и складе, до известной степени зависящие даже от личного образа жизни, а отчасти и от личного нрава того или другого певца. Я полагаю, однако же, что многое представляющееся нашему многоуважаемому собирателю отпечатком *личности* знакомых ему певцов скорее может быть признано отпечатком того *учителя*, у которого тот или другой научился былинам» (с. V). О. Ф. Миллер далее предположил существование «в прежнее время чего-то вроде отдельных *школ*, из которых и выходили различные былевые *изводы*» (с. VI).

Эта точка зрения в сильнейшей степени ограничивала представление о личном творческом начале в эпосе, хотя О. Ф. Миллер и допускал возможность возникновения «некоторых незначительных различий, зависящих от *вкуса* певцов теперешних» Этот вкус, по словам ученого, проявлялся не в «произвольном сочинении нового, небывалого», так как «дело почти всегда ограничивается» лишь «выбором из готового эпического запаса известных любимых черт» (там же). К этой точке зрения позднее всецело присоединился А. Ф. Гильфердинг, которому, как и П. Н. Рыбникову, невозможно отказать в самом непосредственном знании эпоса. Да и П. Н. Рыбников мотивировал свои суждения об отражении «личности» певцов в былинах не столько стремлением к пересмотру общего воззрения на эпос как на безличное творчество, сколько практической целью доказать подлинность публикуемых текстов. П. Н. Рыбников, как известно, пошел навстречу пожеланию И. И. Срезневского подтвердить подлинность публикуемого материала сведениями о лицах, от которых была произведена запись.

Нельзя не признать, что О. Ф. Миллер обнаружил в суждениях о личных вкусах певцов, а равно о причинах разнообразия вариантов основательность, которая не всегда выдерживалась впоследствии собирателями при характеристике исполнителей.

Он указал на тот факт, что былины в середине XIX в. «уже вышли из общего употребления»: «...и это, — пояснял он свою мысль, — не в том только смысле, что они уже не всеми *поются*, но и в том, что не всеми они и *слушаются*» (с. IV). А с этим обстоятельством О. Ф. Миллер связывал ослабление «проверки» эпоса «*всенародным сознанием*» (с. V). Отсюда он вывел возможность «порчи и подновлений» эпоса, что, конечно, сопряжено с личным произволом сказителей.

Отстаивая тезис о безличном творчестве в фольклоре и отводя истолкования другими исследователями самого факта различия фольклорных вариантов, О. Ф. Миллер высказался в пользу обстоятельного сличения всех доступных науке вариантов, но с целью уяснить не отражение в них «личностного» начала, которое, по его мнению, чуждо фольклору, а на-

родную основу фольклорного творчества. И сегодня сохраняют свою ценность суждения О. Ф. Миллера о том, как следует изучать в фольклоре варианты, уже потревоженные поздними историческими подновлениями и порчей, а также новациями сказителей-певцов. При сличении «пересказов»-вариантов, по соображениям О. Ф. Миллера, однако, надо «отчасти» принимать во внимание личные вкусы певцов: это «особенно важно в том отношении, что сохранившееся у них помимо такого их вкуса или даже наперекор ему, тем самым уже прямо себя выдает за обязательное для всех певцов, всеми одинаково унаследованное» (с. VI). Иными словами, изучать личные вкусы певцов надо, чтобы подняться над ними к пониманию общего, «сверхличного» начала, содержащегося в их произведениях, того, что «обязательно проходит повсюду». Цель изучения вариантов — «установленье основы сказания».

Методика изучения вариантов получила у О. Ф. Миллера столь подробное развитие, что он смог сформулировать практические приемы анализа. По словам ученого, когда получена «основа», «могут быть проверяемы те черты, которые попадаются лишь кое-где: если они совершенно в духе общей основы служат вполне подходящими к ней подробностями, то они могут смело признаваться подлинными; в противном же случае следует относиться к ним недоверчиво». При оценке «одиноко стоящих черт» следует считаться и с общей «степенью умелости и, так сказать, *наслышанности*» певца (там же). Методика изучения вариантов, предложенная О. Ф. Миллером, и спустя десятилетия высоко ценилась исследователями фольклора. А. М. Лобода писал в труде «Русские былины о сватовстве»: «... О. Миллер представил первый опыт замечательной критики текста былин. Чуть не по стиху разбирает он каждую былину (т. е. варианты. — *В. А.*), выясняя личное влияние сказителя, черты случайные и основные, старые и более новые и т. д. Критика О. Миллера может иному показаться слишком кропотливой, мелочной; но уж лучше эти недостатки, чем почти полное отсутствие критики текста — как это так часто встречается в школах, сменивших мифологическую» [12].

Действительно, без детального анализа вариантов не может быть осуществлено и общее выяснение основ русского эпоса. Это касается в первую очередь современного типологического исследования былин — общего сопоставления их с эпосом других народов. Пренебрегая основательным сличением вариантов эпоса каждого народа, исследователи выбирают подходящие отдельные подробности, имена, композиционно-структурные элементы сюжета, особенности стиля. Между тем типологическое исследование предполагает прежде всего конкретность в производимых исторических сравнениях и установлении показателей, а анализ вариаций как раз и ведет к обоснованному выделению общего, сходного как в эпосе отдельного народа, так и в эпосе разных народов. Именно благодаря «строгой критике текста — основанию работы», как писал А. М. Лобода, «крайнее увлечение мифологией не помешало О. Миллеру раскрыть слоевой состав русского былевого эпоса так, как не сделал этого историк Л. Н. Майков, как не брался за это в целом никто и поныне» [13].

Современная О. Ф. Миллеру и более поздняя критика, отвергая «мифологическую» концепцию 60-х годов, вместе с тем не поколебала ряда предложенных ученым решений общих фольклористических проблем. По этой причине академическая наука в 70—90-х годах прошлого века еще держалась взглядов, изложенных О. Ф. Миллером, опиралась на его труды, равно как и на работы его современников (А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева и др.), хотя и вносила в них новые оттенки, существенные коррективы.

Некоторые из идей О. Ф. Миллера могут и сегодня оказаться продуктивными, но при условии их развития и критического освоения. Повторение же теоретико-методологических заблуждений О. Ф. Миллера, хотя бы и в подновленном, ином концептуальном виде, не сулит исследовательских удач. В этой части фольклористическое наследство О. Ф. Миллера важно преимущественно самой постановкой научных проблем, а не их

решением. Всеми этими обстоятельствами: и теми, которые демонстрируют сильные стороны ученого, и теми, которые выявляют его слабые стороны, — обусловливается важность точной оценки научной деятельности О. Ф. Миллера, ее значения в истории русской фольклористики.

[1] Опыт исторического обозрения русской словесности Ореста Миллера. 2-е изд. СПб., 1865, с. 5. Далее все ссылки на эту работу даны в тексте.

[2] См., например: Типологические исследования по фольклору: Сборник статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970). М.: Наука, 1975, с. 14, 44—76, 214—246 и др.

[3] *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Об искусстве: В 2-х т. М.: Искусство, 1976, т. 1, с. 248.

[4] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 12, с. 737.

[5] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20, с. 333—334.

[6] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 13, с. 136; ср. т. 23, с. 145.

[7] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 21, с. 135.

[8] *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах. — В кн.: Типологические исследования по фольклору, с. 49.

[9] *Мелетинский Е. М.* К вопросу о применении структурно-семиотического метода в фольклористике. — В кн.: Семиотика и художественное творчество. М.: Наука, 1977, с. 162.

[10] *Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861, т. I, с. 6—7, 52.

[11] Илья Муромец и богатырство Киевское: Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народного русского эпоса Ореста Миллера. СПб., 1869. Далее все ссылки на это исследование даны в самом тексте статьи.

[12] *Лобода А. М.* Русские былины о сватовстве. Киев, 1904, с. 7—8.

[13] Там же.

Г. В. Цулая

ИЗ ИСТОРИИ КАВКАЗОВЕДЕНИЯ

(Этнограф и педагог А. И. Стоянов)

Культурно-исторические проблемы решаются...
скромными научными тружениками.

В. В. Бартольд

1

Более чем четверть века тому назад М. О. Косвен указывал на давно назревшую необходимость обстоятельных исследований по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке. С сожалением, понятным не для одних кавказоведов, писал он тогда, что эта обширнейшая проблема, представляющая собой значительную главу в истории русской общественной мысли, по какому-то странному стечению обстоятельств «осталась не тронутой русской этнографической наукой» [1]. М. О. Косвен не смог указать ни на одно исследование по истории этнографического изучения какого-либо народа Кавказа; исключительную редкость представляли также работы, посвященные отдельным этнографам-кавказоведам.

Положение с тех пор несколько изменилось, но далеко не в той мере, чтобы работу в этом направлении считать удовлетворительной [2].

Своеобразие этой области кавказоведения заключается в том, что она более, чем это может показаться на первый взгляд, связана с особенностями развития русской общественной мысли в условиях многоликой периферии царской России, и в частности — сложной этнокультурной кавказской действительности.

Кавказоведение в России с первых же шагов своего существования вошло в разряд востоковедческих дисциплин. Русское же востоковедение по существу было детищем развернувшихся еще в петровскую эпоху общественных преобразований и было связано «с общими условиями культурной жизни в России» [3]. Поэтому вполне закономерно, что русские ученые всегда придерживались взгляда «на значение русского востоковедения (а следовательно, и кавказоведения также. — *Г. Ц.*) как фактора русской культуры» [4].

Попытка создания научного кавказоведения была предпринята в России уже с середины XVIII в. Исследования по Кавказу носили по сути комплексный характер: физическая география, классификация населения по племенным и языковым признакам, история, экономика, культура, общественный быт, внутриполитические взаимоотношения местных народов — вот те проблемы, изучение которых ставилось на академическую основу.

Присоединение Грузии к России в 1801 г. знаменовало собой новый этап распространения русского влияния на Кавказе; при этом для русской администрации выявилась настоятельная необходимость всестороннего изучения местных условий.

В течение первой половины XIX в. были предприняты довольно успешные попытки вникнуть в историческое прошлое Кавказа и тем самым способствовать облегчению решения практических задач. Труды Е. Болховитинова, П. Г. Буткова, С. А. Белокурова, А. М. Шегрена и других ознакомили общественность того времени не только в России, но и в Западной Европе с многочисленными материалами по истории, этнографии и природным условиям Кавказа.

С 50-х годов XIX в., особенно после окончания так называемой Кавказской войны, наступил новый этап в истории этнографического изучения Кавказа. С этого времени для представителей русской науки и широких кругов интеллигенции открылись неограниченные возможности непосредственного контакта с местным населением. В 1851 г. был образован Кавказский отдел Русского географического общества, перед которым были поставлены задачи всестороннего изучения Кавказа. В изданиях отдела появились работы не только по географии и естественным ресурсам края, но и по истории, этнографии, археологии.

Со временем непрерывный рост материала привел к необходимости осуществления серийных изданий. В 1868 г. при Кавказском Горском управлении стали регулярно выходить тома «Сборника сведений о кавказских горцах» [5], в котором было намечено публиковать результаты всестороннего исследования «быта населения... разнообычного и разноязычного» [6]. Организаторы этой серии, имевшей выдающееся значение в истории кавказоведения, заявляли, что при всем значении для науки открывшегося материала имелся «еще новый интерес, не столько научный, сколько гражданственный, практический» [7]. Характерной чертой прогрессивной части русских этнографов XIX в. было сознание необходимости сочетать цели экономического и политического освоения Кавказа с задачами чисто просветительского порядка. Поэтому во всей массе работ, посвященных отдельным «племенам и народностям Кавказа», трудно указать на такую работу, автор которой обходил бы молчанием эту проблему.

Приобщение народов Кавказа к передовой для того времени европейской цивилизации было сопряжено с известными трудностями, вызванными недостаточной на первых порах подготовленностью русских деятелей, общей экономической отсталостью царской России, опутанной пережитками феодально-крепостнического режима. Политический аспект деятельности царской администрации на Кавказе настораживал местную интеллигенцию также фактами «обрусительных тенденций» [8]. Но этой политике царизма противостояла деятельность прогрессивной местной русской интеллигенции, проходившая в лучших академических традициях и в значительной мере формировавшая взгляды представителей зарождавшейся интеллигенции кавказских народов.

Всестороннее изучение горцев Кавказа должно было облегчить их приобщение «к общему складу нашей жизни» [9], как определялось в «Сборнике», при этом основной упор делался на изучение языков местного населения, так как, по словам инициаторов издания, история и этнография должны опираться «в своих выводах главным образом на языкознание» [10]. Этой цели должна была служить и такая прогрессивная мера, как распространение среди местного горского населения «грамотности на туземных языках», на что возлагались большие надежды в развитии «умственной жизни горцев» [11].

«Сборник сведений о кавказских горцах» имел большое значение. Еще в предисловии к первому тому говорилось о скоплении в редакционном портфеле такого количества материалов, что стал возможным строгий подход к их отбору для печати. Это свидетельствовало прежде всего об активном процессе культурно-экономического развития народов Кавказа. Вскоре расширились и углубились связи русской общественности не только с «горцами Кавказа», под которыми подразумевалось население по преимуществу высокогорных областей Кавказа, но и с многочисленными «племенами и народностями» различных областей этого обширного

края. Поэтому возникла необходимость в новом издании, которое охватывало бы население Кавказа в целом. Именно в таких условиях в 1881 г. и было организовано новое многотомное издание, ставшее впоследствии знаменитым, — «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (СМОМПК).

С самого же начала этого грандиозного мероприятия был поставлен вопрос, насколько общественная жизнь и духовная деятельность «племен» Кавказа соответствует нормам более или менее изученных народов. Предпосланная первому тому СМОМПК обширная и образцово составленная «Программа» свидетельствовала не только о широте замысла, но и о ясности цели, поставленной основателями новой серии.

СМОМПК (всего вышло 46 выпусков) стал крупным событием в истории так называемого «русского провинциального ориентализма», представители которого, «не обладая необходимой подготовкой и работая вдали от научных центров, были вынуждены ограничиваться собиранием сырого материала» [12]. И тем не менее это издание в научных центрах России рассматривалось как «предприятие, опередившее широтой интереса и разносторонностью в подборе материалов выработку соответственного теоретического горизонта в кавказоведных науках» [13]. Возможности публиковаться на страницах СМОМПК практически были неограниченными. Состав авторов свидетельствовал о невиданном до того активном интересе к местной жизни со стороны самых широких слоев кавказского населения.

Подавляющее большинство корреспондентов СМОМПК составляли учителя, врачи, служащие канцелярий, а также учащиеся — представители различных национальностей.

Это издание стало на Кавказе подлинным очагом просветительства, охватившего широкие демократические слои населения, что привлекло особое внимание ученых. Так, глава русского востоковедения того времени В. Р. Розен писал: «Нельзя относиться иначе как с глубоким уважением и с искренней симпатией к этому неуклонному стремлению... привлекать и учащих и, в известной мере, также учащихся к научным занятиям, каждого именно в той сфере, которая ему особенно близка либо географически, либо по существу. Это стремление, принесшее уже обильные плоды, обещает еще более богатые результаты в будущем, и нам сдается, что эти результаты будут благотворны не только в смысле накопления полезного научного материала, но и в смысле педагогическом и вообще культурном и государственном» [14].

СМОМПК пользовался широкой известностью среди историков, археологов, этнографов, антропологов, фольклористов, языковедов, естественников в России и за рубежом. Особую известность в науке получили рецензии В. Ф. Миллера на ряд выпусков этого издания.

Интенсивная работа, с самого начала тесно увязываемая с общекультурными проблемами, развернулась в этот период и в области кавказской археологии. До середины XIX в. русские археологи относительно Кавказа практически не располагали почти никакими сведениями [15].

В 1868 г. среди членов Русского археологического общества стала зреть мысль об учреждении на Кавказе отдела Общества, «который занялся бы исследованием древностей, сохранившихся в этой стране, еще не довольно подробно изученной, но заключающей в себе богатые материалы для археологии». Сразу же после II археологического съезда его участники начали обсуждать планы будущих археологических изысканий на Кавказе. В январе 1872 г. известный кавказовед А. П. Берже, бывший в ту пору председателем Археографической комиссии при Главном управлении Кавказа, обратился к собранию Общества «с просьбой оказать содействие комиссии для расширения круга ее деятельности относительно археологических изысканий на Кавказе ассигнованием вновь учрежденному Археологическому комитету денежного пособия на производство раскопок». Однако Русское археологическое общество, само весьма бедное средствами, было вынуждено отказать в этом, но все же признало

весьма полезным «основать на Кавказе постоянное археологическое учреждение», так как исследования на Кавказе могли бы привести «к замечательным открытиям и через то обогатить археологическую науку новыми данными» [16].

Таким образом, нетрудно представить то важное значение, которое имела на Кавказе личная инициатива местных интеллигентов в проведении зачастую никем не субсидируемых культурных и научных мероприятий, обогативших не одни лишь теоретические знания о народах Кавказа, но имевших и практические последствия.

Многие представители русской интеллигенции хорошо осознавали культурные и материальные нужды нерусского населения Российской империи. Со второй половины XIX в. происходит массовый их приток в «инородческую» периферию, принимающий характер своеобразного хождения русского интеллигента в нерусский народ. К сожалению, даже при наличии многочисленных опубликованных материалов эта форма общественного движения в истории наших народов до сих пор не привлекла заслуживающего внимания. В свою очередь это движение оказало влияние и на нерусскую интеллигенцию Кавказа [17].

2

К числу таких интеллигентов принадлежал Александр Ильич Стоянов (1841—1914) — педагог, автор ценных этнографических работ и организатор прогрессивных начинаний в Грузии. Уроженец Киева, он окончил историко-филологический факультет Киевского университета, с 1862 г. был преподавателем и одновременно собирал материалы по фольклору [18]. Еще в молодые годы А. И. Стоянов переехал на Кавказ — сначала жил в Ставрополе, затем последовательно — в Пятигорске, Тифлисе, Кутаисе и Батуме. Наиболее плодотворной деятельность А. И. Стоянова была в период его службы инспектором, а затем — директором Кутаисской классической гимназии.

Это был один из наиболее сложных этапов в дореволюционной истории Кавказа, и в частности Грузии. Рост самосознания грузин в период складывания грузинской буржуазной нации вызвал со стороны царской администрации усиление реакционных мероприятий. В таких условиях на долю местной интеллигенции, в особенности русской ее части, выпадала большая ответственность за соблюдение необходимого такта. Ярким образцом в этом отношении была деятельность А. И. Стоянова.

Он оставил по себе теплую память среди тех, кто его знал. Известный грузинский ученый Е. С. Такайшвили, гимназический и университетский друг Н. Я. Марра, уже глубоким стариком тепло вспоминал о своем преподавателе. Как учитель истории А. И. Стоянов, невзирая на жесткие предписания программы, по свидетельству Такайшвили, нередко отвергал существовавшие установки и обучение вел по собственному методу [19]. Нетрудно представить положение русского преподавателя в глубинной Грузии в XIX в., в классе, где русским языком поначалу владели не более чем любым иностранным.

А. И. Стоянов был первым русским педагогом в Грузии, представившим властям доклад, в котором говорилось о необходимости введения преподавания грузинского языка и литературы по крайней мере в гимназиях Тифлиса и Кутаиса.

Непримиримый к бездушию своих сослуживцев, давших ему прозвище «Стоян-паша», он был обходителен с учащимися и заботлив по отношению к ним, содействовал развитию их склонностей и умел прощать провинности.

Именно этот самый «Стоян-паша», очевидно не очень-то надеясь, что власти разрешат в вверенной ему классической гимназии преподавание родной для его учеников речи, охотно согласился с просьбой учащихся выпускать в гимназии рукописный журнал на грузинском языке и даже

субсидировал его из собственных средств. Сохранилось несколько номеров этого рукописного органа гимназистов «Беди» («Судьба»), в программной статье которого говорилось, что на его страницах будут публиковаться «устные предания по истории и географии, народные суеверия, обычаи, празднества и сказки, переводы с разных языков, оригинальные произведения, стихи и проза» [20]. В журнале публиковались первые опыты гимназистов на различные темы, а этнографические очерки юных Н. Я. Марра («Рассвет каланды») и Е. С. Такайшвили («От Кутаиси до Уцеры») вполне могли бы заинтересовать даже современных этнографов-кавказоведов.

Сама направленность этих работ носила демократический, просветительский характер и во многом смыкалась, с одной стороны, с литературными традициями передовой прессы того времени, выходившей на грузинском языке (журналы «Дроеба», т. е. «Время», и «Иверпа»), а с другой — с такими изданиями на русском языке, как «Сборник сведений о кавказских горцах» и «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа».

Н. Я. Марр впоследствии вспоминал, что именно на страницах журнала дала «первые всходы» его деятельность по кавказоведению, здесь он освоился «с техникой грузинской речи» и т. д. Вслед за журнальными статьями и стихами, писал он о себе, он начал вскоре помещать свои первые опыты и в газетах: «В числе газетных статей поместил толкование [названия. — *Г. Ц.*] гор. Батума, т. е. смело разрабатывал вопрос из доисторической топонимики» [21].

Рукописный гимназический журнал сыграл известную роль в формировании взглядов учащейся молодежи далекой провинции: «Орган возник в период бурных внутренних переживаний, — вспоминал далее Н. Я. Марр, — антирелигиозного настроения и ряда нарушений дисциплины крайними выходками против пансионного режима и против гонений на грузинский язык. Общая установка — за грузинский язык и поднятие его престижа в своей общественной среде, за изучение его, говорящего на нем населения и им населенного края» [22]. В журнале появлялись даже откровенно прокламационные сочинения гимназистов, такие, как стихотворный отклик того же Марра на стихи грузинского поэта А. Церетели в связи с убийством Александра II (1 марта 1881 г.). Факты вольнодумства гимназистов в данном случае были не только отдаленным эхом всероссийского революционного брожения. Они находили сочувственное отношение со стороны директора гимназии, который, по словам Е. С. Такайшвили, «не обращал внимания» [23] на нелояльное поведение своих питомцев.

Процесс складывания грузинской буржуазной нации во второй половине XIX в. с новой силой возбудил в различных кругах проблему генетического соотношения отдельных картвельских этнических групп. В печати стали появляться различные научные сообщения, в которых высказывались, как правило, крайне противоречивые суждения о правомочности именовать «грузинами» отдельные картвельские племена, и в особенности мегрелов и сванов. В полемике по этому вопросу активное участие принял и А. И. Стоянов.

Научные интересы А. И. Стоянова сосредоточивались в основном на этнографии, фольклоре и археологии сванов. В период образования грузинской буржуазной нации вопросы происхождения отдельных грузинских племен, место их бесписьменных языков в системе языков Кавказа, степень и характер их взаимного родства в формировавшемся в тот период грузиноведении относились к числу наиболее дискуссионных. В решении этих проблем с самого начала наметились два аспекта: академический, который характеризовался демократическим подходом к вопросу (Г. Розен, П. К. Услар, Д. З. Бакрадзе, А. И. Стоянов и др.) и конъюнктурный (в основном царская чиновничья бюрократия). Первые ставили по преимуществу культурно-исторические проблемы, хотя отнюдь не игнорировали и чисто практические цели, так как русские исследователи

приступали к изучению Кавказа, «имея в виду интерес не только науки, но и практики» [24]. Вторые стремились не допустить консолидации различных картвельских племен, которая способствовала бы обострению революционного брожения в среде грузин в эпоху наиболее острых социальных конфликтов в царской России [25].

В 1870 г., будучи инспектором Кутаисской гимназии, А. И. Стоянов приступил к изучению сванского языка. В 1872 г. отправился в Сванетию и с помощью одного из сопровождавших — его ученика и «учителя в сванском языке» Константина Дадешкелиани — стал изучать сванский язык, записывать (в основном как диалектологический материал) сказки, песни и пр. В итоге этой экспедиции А. И. Стояновым был написан обширный труд «Путешествие по Сванетии» [26].

Ко времени составления А. И. Стояновым этого труда сваны представляли собой один из наиболее «таинственных народов» в представлении русской и западноевропейской науки. Даже сами грузинские ученые того времени, хорошо осведомленные в исторической общности картвельских племен не только по письменным источникам, но и по живой, веками из уст в уста передаваемой исторической традиции, признавали: «Сванеты представляются каким-то загадочным племенем. Об их происхождении и языке, об их политическом и религиозном быте мы не имеем еще ясного понятия» [27]. И далее: «Даже существенно важный вопрос о происхождении сванетов не разрешен: одни производят их от грузин, другие, отрицая это мнение, не говорят об этом ничего решительного» [28]. Еще в XVII—XVIII вв. иноземные миссионеры в Грузии и путешественники по Кавказу (митрополит Досифей, Шарден, Гюльденштедт, Клапрот, Дюбуа де-Монпере) склонялись к идее о «грузинском происхождении» сванов, но их заявления не были аргументированы. О противниках этого мнения, число которых в XIX в. заметно росло, А. И. Стоянов писал, что и они «говорят совершенно бездоказательно по той простой причине, что самого языка не знают». В результате мнения о происхождении сванов были основаны «на одних догадках» [29].

В XIX в. выработался метод этнографических исследований, для которых непременным условием было изучение в первую очередь языка изучаемого народа. Когда в 1858 г. П. К. Услару было поручено составление истории Кавказа, то он прежде всего предпринял планомерное и всестороннее изучение кавказских языков [30]. Этнографическое исследование сванов А. И. Стоянов начал с изучения сванского языка. Главной целью его путешествия было «узнать, насколько можно, сванетский язык» [31]. Однако — вразрез с первоначальным замыслом — не было, пожалуй, ни одного вопроса по этнографии сванов XIX в., который бы не затронул А. И. Стоянов.

Еще первые путешественники по Сванетии приходили в изумление от числа сохранившихся здесь памятников христианской архитектуры, иконографии, фресок, снабженных древнегрузинскими письменами, а также рукописей и т. п.; кроме того, эти памятники представляли особую ценность сами по себе. К рукописям, например, в течение длительного времени производились различного рода приписки, в которых отражались особенности местного быта, и потому они служат своеобразным источником не для одной лишь истории и этнографии сванов, но и для археологии. «Подробное изучение надписей на иконах и рукописях, — писал А. И. Стоянов, — может дать многое грузинской археологии... На многих сванетских рукописях... есть приписки позднейшего времени. В них заключаются договоры, обязательства, цены за кровь, расписки» [32]. Ценность этих материалов для истории Грузии была известна и прежде, но А. И. Стоянов сосредоточил внимание на бедственном состоянии древнегрузинских памятников: «Сванетские церкви вообще приходят в разрушение... Иконы и кресты в такой пыли и копоти (сванеты считают великим грехом их чистить), что иногда невозможно не только разобрать надписи, но даже разглядеть рисунок... Рукописи растрепаны, валяются на полу, сложены в грязных и пыльных ящиках. Многие носят следы

страшной сырости; другие источены червями»[33]. Предупреждение А. И. Стоянова было актуальным. Тогда же было решено создать специальную комиссию для спасения уникальных ценностей Сванетии, в связи с чем А. И. Стоянов сделал рекомендации (заслуживающие внимания, между прочим, и исследователей наших дней). По замыслу А. И. Стоянова одной из функций такой комиссии должно было быть выявление похищенных в Сванетии различными лицами и в разное время исторических реликвий.

Однако комиссия так и не была создана. Спустя много лет известный византинист и исследователь древнегрузинского художественного творчества Н. С. Кондаков засвидетельствовал по-прежнему бедственное состояние памятников средневекового грузинского искусства: «Грузинские древности частью разрушаются от сырости и холода в подвальных или чердачных помещениях... частью же расхищаются под предлогом обновления ветхих икон и крестов. Все эти условия сохранения вместе действуют разрушительнее, чем прежние нашествия персов и турок, и уничтожают драгоценные памятники, почти всегда датированные и нередко играющие роль единственных документов»[34]. Только с установлением Советской власти в Грузии были созданы надежные условия охраны памятников национальной культуры.

Число грузинских памятников в Сванети было столь велико, что это стали приводить как один из аргументов «грузинского происхождения» сванов. Так, Д. З. Бакрадзе писал: «Чрезвычайное множество храмов и икон с грузинскими надписями в Сванетии, равно как и чрезвычайное обилие грузинских церковных книг, нам кажется, служат не меньшим подтверждением мнения об одноплеменности сванетов с грузинами»[35]. Однако А. И. Стоянову нетрудно было охарактеризовать приведенное мнение Д. З. Бакрадзе как «шаткое»[36]. Он конкретно указал путь, которым произведения древнегрузинского изобразительного искусства и письменности могли попадать извне в Сванетию, — по ущелью Ингури — «единственный путь, проходимый и летом и зимою»[37]. Все же в своих высказываниях Д. З. Бакрадзе исходил из осознания общности грузинской народности, складывавшейся задолго до XIX в. и базировавшейся на единстве историко-культурного развития грузинских племен. Название «Грузия» (по-грузински «Сакартвело») — «термин национально-культурный, — писал позднее Н. Я. Марр, — буквально не переводимый на русский язык, но по смыслу означающий национально-культурную Грузию. С этой реальной культурно-исторической точки зрения, — пояснял он тут же, — грузинский литературный язык настолько же сванский и мингрельский, насколько грузинский или, что то же, насколько же гурийский или имеретинский»[38].

Это сознание было присуще и самим сванам, поэтому и «удивляли» они всех, кто появлялся в Сванети, своим на редкость благоговейным отношением к веками хранившимся здесь грузинским национальным реликвиям. Особо ярко зафиксировал это А. И. Стоянов: «Народ, входивший со мною в церковь, всегда с особенным благоговением смотрел на разорванные печатные листки, усердно поднимал их, если который-нибудь падал наземь, — и сдувал с него пыль»[39]. Покушаться на церковную утварь, в особенности на иконы и рукописи, считалось «смертным грехом». А. И. Стоянов записал легенду о том, что «какой-то сванет, по легенде, взял отсюда (из церкви. — *Г. Ц.*) какую-то икону: он чуть не умер и выздоровел только тогда, когда возвратил в церковь похищенное»[40].

Такое отношение к общегрузинским культурным памятникам нельзя объяснить религиозным фанатизмом сванов, которого у них, по свидетельству побывавших в Сванетии этнографов, в том числе и А. И. Стоянова, не было, а скорее — представлением сванов об их общности с картвельскими племенами. К XIX в. в народной памяти сванов сохранилось немало свидетельствующих об этом исторических преданий и легенд. Д. З. Бакрадзе сделал запись со слов своего «знакомца» — очевидно, это пересказ какого-то сванского исторического предания. «Сванеты смутно

сознают свою одноплеменность с грузинами, — писал Д. З. Бакрадзе. — В них есть убеждение, что они обращены в православие самим Иисусом Христом [41] и что они с тех пор не изменяли своей веры. О прежних своих эриставах и владетелях они ничего не помнят. Они были сакеисро, т. е. входили в состав владений Кесаря; под этим именем они знают царицу Тамару. В их народных сказаниях сохранился из числа грузинских царей лишь образ этой великой женщины. По их мнению, она жила в Грузии, но особенно любила Сванетию, где часто проводила время, строила церкви, снабжая их богатыми иконами. Она была женщиной поразительной красоты и многие искали ее руки. Она выбрала осетина, которому и отдала свое сердце. Царица Тамара бессмертна, и настоящее местопребывание ее — подземелье в Ушкули, под церковью божьей матери, где она сидит в кувшине, держа в руке свечу. Открыть ее нельзя, и если когда-нибудь она будет открыта, то Сванетии угрожают страшные бедствия» [42].

А. И. Стоянова, как профессионального педагога, естественно, занимала проблема приобщения сванов к знаниям, развития школьного образования в Сванети. Он был приверженцем первоначального образования на родном языке и следовал этому в собственной педагогической практике: «Для Грузии и Имеретии [sic!], — писал он, — я признаю грузинский язык языком родным и считаю его необходимым для первоначальной школы как средство для изучения языка русского. Но для Сванетии совсем другое дело. Таким средством в Сванетии грузинский язык служить не может» [43]. Однако обстоятельства в Грузии к этому времени уже сложились по-иному, хотя некоторые его современники стояли на другой точке зрения [44].

А. И. Стоянов находил целесообразным обучение в школах Сванети на грузинском языке, так как естественный ход исторического развития сванов вел к интеграции их с грузинским этносом. В заключение своих рассуждений автор писал: «Во всяком случае несравненно лучше выучиться читать и писать по-грузински, чем не учиться читать и писать по-русски. Если бы сванеты выучились читать и писать по-грузински... то и это было бы громадным шагом вперед для будущего влияния общерусской гражданственности на эту страну... Будущее все-таки возьмет свое в конце концов» [45].

Со второй половины XIX в. грузиноведение вступило в новую полосу развития. Это отразилось и на характере специальной терминологии, свидетельствующей о повышении уровня развития самой науки. Так, все более утверждается термин *иверские (картвельские) языки*, под которыми сразу же стали подразумевать вполне определенную группу близкородственных южнокавказских языков (грузинский литературный, мегрело-чанский и сванский). Эта эволюция отразилась и на взглядах А. И. Стоянова. В одном из писем к студенту Н. Я. Марру он говорит уже не о гипотетическом «грузинском происхождении» сванов, а о существования «языков иверийской группы» [46].

Впервые в грузиноведении А. И. Стояновым был поставлен также вопрос об историческом расселении сванов, в частности, о возможном присутствии их предков в восточном Причерноморье. Решение этого вопроса внесло бы коррективы в этническую карту черноморского побережья Кавказа в период образования здесь современных этнических общностей. Говоря о трудности доказательства пребывания предков сванов на юго-западе от нынешней их территории, А. И. Стоянов писал: «Тем не менее можно допустить его, если принять во внимание общий факт постепенного отхода сванетского народа в верхнее ущелье, огромные по пространству, необитаемые границы с Абхазиею и Мингрелиею и следы сванетских поселений по нижнему ущелью Ингура» [47]. Исходя из этого, хотя и основанного на «общем факте», но вполне убедительного предположения, А. И. Стоянов возражал Д. З. Бакрадзе [48]: «Хотя г. Бакрадзе и убежден, что римляне под именем соаны разумели не одних сванетов, но и соседственные им племена, тем не менее нет оснований усумняться

в свидетельство Страбона, указывающего слишком широкое распространение сванетского племени на Ю.-З. сравнительно с настоящим» [49].

Этот вопрос до сих пор занимает исследователей. Так, Г. А. Меликишвили, М. Калдани и другие с помощью топонимических материалов подтверждают достоверность сведений Страбона о пребывании сванов к юго-западу от их современного расселения вплоть до побережий Черного моря. Они считают, что название города Сухуми восходит к сванскому «цхкум» — «граб» [50] (окрестности Сухуми, как известно, еще в недалеком прошлом были богаты грабовыми лесами). Однако этого единственного топонима, казалось, было недостаточно для подтверждения сведений Страбона, писавшего не только о многочисленности сванов, но и значительной их роли в Восточном Причерноморье [51]. Но современный исследователь кавказских языков Г. А. Климов обратил наше внимание на еще один топоним — Гумуриши (Гальский район), объясняемый исключительно с помощью сванского языка (сван. «гумир» — «ель») [52]. Определенное значение необходимо придавать и упоминанию *морских святых* и морских сверхъестественных чудовищ в приводимых А. И. Стояновым материалах творчества сванов [53]. Таким образом, его идея оказалась плодотворной и его имя имеет все основания быть вписанным в историю данного вопроса.

А. И. Стоянов писал также и о чисто практических нуждах, например о необходимости развития огородничества, с которым сваны не были знакомы; надежду на это он возлагал на русских поселенцев: «Хорошо было бы, если бы и в самом деле русские что-нибудь дали сванетам, — не говорим уже о школах. Вот хоть бы разведение огородных овощей, о чем сванеты и понятия не имеют». Самое главное, на что А. И. Стоянов обращал внимание властей, это физическое состояние сванов, отсутствие не только элементарных норм гигиены, но и минимума средств борьбы с тяжелыми заболеваниями (пневмония, инфекционные, проказа и др.), постоянно уносившим множества жизней. Описывая трудные материальные условия сванов, А. И. Стоянов призывал бесплатно раздавать местному населению лекарства, которые, по его словам, «для сванет в настоящее время необходимее школ и всякого знакомства с культурою» [54]. И вообще приохотить народ «к школе, к желанию учиться», писал он, можно лишь «материальною помощью: лечением, советами, ознакомлением с обыденною культурою» [55].

«Путешествие по Сванетии» А. И. Стоянова было первым этнографическим описанием сванов и по полноте своей не имело прецедента. Исследования наиболее видных его предшественников (И. Бартоломей, Д. З. Бакрадзе и др.) носили преимущественно историко-археологический характер; этнография в них занимала сравнительно ограниченное место. Значение труда А. И. Стоянова заключается также в том, что в нем даны некоторые поправки к написанным до него исследованиям по Сванети. Правда, при этом он и сам не мог избежать порой даже фантастических выводов, например «о малороссийском происхождении» сванов мулахского общества. Но в тот период, как известно, делались иногда не менее немыслимые заключения, достаточно вспомнить популярный в одно время взгляд на происхождение хевсур от крестоносцев или пропагандируемую П. К. Усларом «основательность мнения Геродота о египетском происхождении колхов» [56] и т. д.

Во время своего путешествия по Сванети А. И. Стоянов записал также многочисленные тексты сванского фольклора, опубликованные лишь в 1890 г.[57], о чем уже упоминалось.

Осенью 1881 г. в Тифлисе был созван V археологический съезд, вызвавший живой интерес у местной общественности. Известный грузинский писатель и общественный деятель И. Г. Чавчавадзе писал, что на фоне общей экономической отсталости и культурного застоя «это первый случай в нашей истории, когда наша столица Тбилиси удостоилась ученого собрания. Особенно замечательно то, что ни в одном из других горо-

дов России, где проходили аналогичные собрания, не сходилось столько народу, сколько собралось здесь, в Тбилиси» [58].

В работе съезда важное место заняли проблемы грузинской археологии, этнографии, истории, эпиграфики и т. д. А. И. Стоянов принял активное участие в работе съезда. Еще на подготовительных заседаниях он выступил с рядом предложений и взял на себя различные практические обязательства. Так, ему было поручено «принять на себя распоряжение по очистке и планировке развалин древнего Кутаисского храма» (Гелати) [59]. Однако отпущенных на это средств оказалось недостаточно, ввиду чего А. И. Стоянов предложил «привлечь к участию в расходах духовное ведомство и городское общество». По настоянию А. И. Стоянова было постановлено «обратиться к кутаисскому городскому голове с просьбою принять участие в деле охранения храма от разрушения и выхлопотать от города пособие на производство по расчистке местности около храма, устройство ограды и учреждение надзора за развалинами» [60]. Одновременно он организовал и проведение небольших раскопок. Несмотря на ограниченные средства, раскопки под руководством А. И. Стоянова были произведены, и археологические находки («до 200 больших и малых фрагментов, капители, подоконники и проч.») впоследствии представлены съезду [61].

На съезде А. И. Стоянов сделал также сообщение о собранных им в Сванети фольклорных материалах и передал их в этнографическое отделение съезда.

Трудности сбора сванских фольклорных текстов заключались в том, подчеркивал Стоянов, что «нет возможности русским шрифтом передать звуки сванетского языка» [62]. «Транскрипция сванских текстов, — указывал он, — вещь весьма трудная для иностранца. Различие некоторых звуков так тонко, что для безошибочной транскрипции необходима неоднократная проверка. Я убежден, что если бы почтенные филологи наших русских и иностранных университетов посетили Сванетию и записали каждый отдельно одну и ту же сванетскую песню, разница вышла бы значительная. Весьма желательно было бы, чтобы отделение съезда... выработало и издало во всеобщее сведение точную программу для записывания кавказских текстов в фонетическом отношении» [63].

Самим А. И. Стояновым и его учеником К. Дадешкелиани эти трудности были в значительной мере преодолены. Записанные ими тексты, судя по отзыву о них Ал. Цагарели, отличались редкой для того времени достоверностью. Цагарели проконтролировал с «природными сванами» присланные ему Стояновым и Дадешкелиани тексты и в личном письме сообщал Стоянову, что тексты отличаются точностью, а имевшиеся в них фонетические расхождения были свидетельством фонетической разницы в различных говорах сванского языка [64].

Материалы, собранные Стояновым и Дадешкелиани, и грамматические к ним комментарии самого Стоянова вызвали живой интерес у специалистов. «Песни эти интересны не только в грамматическом отношении, — писал ему Ал. Цагарели, — но и как продукт так мало известной сванетской народной словесности... Чем больше такого материала, тем лучше. Передача сванетских звуков и грамматические комментарии Ваши значительно отступают от всего того, что было известно в печати до сих пор об упомянутом языке... Ваши этимологические замечания также значительно отступают от того, что до сих пор было известно в этом роде... Собранный Вами материал, помимо его будущего лингвистического значения, имеет большой этнографический интерес как продукт народной поэзии сванов» [65].

Участники V археологического съезда одобрили записанные им фольклорные материалы, но вынесенное ими решение издать эти записи в числе других материалов по недостатку средств осуществлено не было, а рукопись затерялась. Впоследствии, по настоянию П. С. Уваровой, эта рукопись была с трудом разыскана и отослана ей в Москву. П. С. Уварова писала А. И. Стоянову, что, несмотря на несомненную ценность

этих материалов, она не может рекомендовать их в таком виде в печать, так как они не снабжены переводом и пояснениями [66].

А. И. Стоянов выполнил «покорнейшую просьбу» П. С. Уваровой, перевел и пояснил сванские тексты для русского читателя, но нашел более целесообразным опубликовать их в Тифлисе в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа».

После археологического съезда в Тифлисе интерес к древностям и этнографии Кавказа еще более возрос. В марте 1886 г. на заседании Московского археологического общества, проходившем под председательством П. С. Уваровой, был прочитан доклад вице-президента Кавказского общества любителей археологии Н. В. Никитина [67] о «христианских памятниках на Кавказе». Несмотря на успехи кавказской археологии, говорил автор, «разрабатываемой с заметным успехом», в этом деле все еще имеются значительные недостатки, в частности в исследовании архитектуры культовых сооружений Армении и Грузии раннего средневековья. Н. В. Никитин сообщал, что «многие памятники никем еще не осмотрены и не описаны, а другие еще ждут своего открытия, что время и влияние стихий уносят каждый день часть их исторических ценностей, а в последнее время новые жители края начали обращаться слишком бесцеремонно с самыми дорогими памятниками, отчего гибнут и орнаменты их, и надписи, и фрески. Чтобы дать возможность науке воспользоваться теми из памятников, которые еще держатся, следует безотлагательно приступить к изучению их по строго определенной программе» [68]. Однако по общему признанию, составление такой программы при слабых в то время средствах коммуникации представляло серьезные трудности, хотя планы археологических разведок уже и разрабатывались. В частности, Д. З. Бакрадзе предлагал начать «с исследования бассейна Аракса и верхних областей Чороха, изучая не одни уцелевшие памятники, но и лежащие в развалинах, как более древние, и, следуя путем распространения христианства на Кавказе, подвергнуть сравнительному изучению наибольшее число дошедших до нас памятников, раскрыть самую раннюю его историю в наших пределах, проследить постепенный ход развития церковного стиля, а тем самым и ход истории христианства в стране» [69].

Что же касается общего плана начала археологических раскопок, установления археологических территорий, то мысль Д. З. Бакрадзе «начать с исследования бассейна Аракса и верхних областей Чороха» носила несколько расплывчатый характер и полностью не намечала перспективы исследований.

В это же время была составлена программа археологических исследований на Кавказе и А. И. Стояновым. Она выгодно дополняет предложения Д. З. Бакрадзе. В общих чертах ее можно свести к следующим пунктам. Были намечены семь главных ареалов.

1. Северо-западная часть по обеим сторонам Кубани и ее притоков, а также вдоль Главного Кавказского хребта, которые автор определял как «места, наименее исследованные и весьма богатые остатками христианских древностей византийских, преимущественно архитектурных».

2. Восточное Причерноморье от Анапы до устья Ингури — «древности византийские и византийско-грузинские (в архитектурных развалинах много остатков церковной утвари и икон), местность почти не исследованная», а также вглубь от берега, «в местах, покинутых абадзехами, джигетами и абхазцами, — до самого хребта».

3. Грузинские древности центральной части Главного Кавказского хребта и прилежащей к ней Пшавии и Хевсурии.

4. Сванетия, богатая рукописями и иконами («много чисто византийских древностей»).

5. «Древности грузинские и грузино-византийские в Имеретии, Мингрелии, Гурии и Аджарии, более или менее исследованные. Наибольшего внимания заслуживает Аджария, где среди мусульманского населения

сохранилось много христианских развалин, хотя г. Бакрадзе описал многие из них, но далеко не всё».

6. Древности грузино-армянского характера по долине Верхней Куры (Карталиния) и по долине Иори и Алазани (Кахетия) в достаточной степени исследованы.

7. Армянские древности долины Средней Куры и Аракса, наиболее исследованные. К ним необходимо присоединить армянские и грузинские древности Карского нагорья, которые изучены весьма мало.

Таковы этапы деятельности А. И. Стоянова в кавказоведении (этнография, фольклористика, историческая лингвистика, эпиграфика, археология) в период складывания его как особой отрасли знаний, а также в области просвещения и педагогики.

Письма А. И. Стоянова к Н. Я. Марру (1885—1889)

Архив АН СССР (ЛО), ф. 800, оп. 3, д. 885, л. 1—5

1

20 февраля 1885 г., Кутаис

С большим удовольствием узнал я из Вашего письма, что Вы здоровы и трудитесь над кавказской лингвистикой. С неменьшим удовольствием готов Вам служить своими материалами по Сванетии. К сожалению, песни и словарь к ним, представленные мною V археол(огическому) съезду, лежат в пыли в Тифлисе у г. Загурского, откуда я их не могу выручить. Пока Вы можете обратиться от моего имени к профессору Цагарели, которому я несколько лет тому назад послал пять или шесть сванетских песен, и так как они, по всей вероятности, ему не нужны, то Вы можете взять их для просмотра.

Летом я собираюсь в Сванетию для дальнейшей записи текстов.

Прошу от меня поклониться Вашим товарищам, моим бывшим ученикам.

Всегда Вам непременно преданный
А. И. Стоянов

2

18 февр[аля] (год?), Кутаис

Очень благодарен Вам за присылку Вашей интересной брошюры. В свою очередь хотелось бы мне прислать Вам свою брошюру «Образцы сванетской народной поэзии», но, к сожалению, мне до сих пор не прислали из Тифлиса ни одного экземпляра (она печатается в Конторе учебного округа, и мне обещали 100 оттисков).

Напишите, пожалуйста, Ваш адрес, Ваше отчество, и мне бы очень хотелось знать что-нибудь о Ваших теперешних занятиях.

Всегда Ваш непременно преданный А. И. Стоянов

3

Кутаис, 13 марта 89

Многоуважаемый Николай Яковлевич!

Очень благодарен Вам за Ваше письмо. Не знаю, кто Вам передал о моем скептицизме касательно семитического происхождения языков иверийской группы *. Я не ориенталист и поэтому в этом вопросе не могу иметь определенного мнения, хотя, право, склонен думать, что Ваши изыскания индуктивно подтвердят то, что многие думали дедуктивно. В своей брошюре я припоминаю гипотезу Услара о кушитском элементе

---

* Здесь некоторая неточность. Н. Я. Марр писал о семитическом происхождении не «языков иверийской группы» вообще, а конкретно — грузинского языка.

на восточном побережье Черного моря. Кроме того, я высказал мысль о будущей работе отвлечения неарийских корней от лингвистических идиомов западнокавказских языков. Я думаю, что такая работа могла бы с большим успехом быть исполнена Вами.

Очень счастлив, что вы пошли по настоящей дороге, и глубоко уверен, что Вы приложите богом данный Вам талант к неисследованным дебрям кавказской лингвистики. Всегда с большим удовольствием могу беседовать с Вами о вопросах, как меня, так и Вас живо интересующих. Желаю Вам здоровья, нужного для Ваших трудов. Советую Вам летом бросить все и освежиться на лоне природы. Благодетельность такого [отдыха] я испытывал на себе.

Брошюры моей я до сих пор из округа не получил. К сожалению, я разошелся с г. Завадским, который оказался совершенно не мастером порученных ему дел.

Всегда преданный Вам А. И. Стоянов

4

30 окт(ября) 89, Кутаис,

Многоуважаемый Николай Яковлевич!

Очень благодарен за всегдашнее Ваше ко мне внимание. На последнее полученное от Вас письмо я Вам отвечал. Брошюра моя о сванских песнях до сих пор лежит в Канцелярии попечителя. Как только получу ее, пришлю экземпляр Вам. Желаю Вам здоровья и всякого благополучия.

Всегда Ваш искренно преданный А. И. Стоянов

[1] *Косвен М. О.* Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке. — В кн.: КЭС. М.: Изд-во АН СССР, 1955, т. 1, с. 265.

[2] Можно назвать следующие работы: *Калоев Б. А.* Миллер как кавказовед. Орджоникидзе, 1963; *Лавров Л. И.* К 250-летию академического кавказоведения в России. — В кн.: КЭС. М.: Изд-во АН СССР, 1976, т. VI.

[3] *Бартольд В. В.* Восток и русская наука. — Соч. М.: Наука, 1977, т. IX, с. 537.

[4] *Бартольд В. В.* В. Р. Розен и русский провинциальный ориентализм. — Соч., т. IX, с. 589; *Лавров Л. И.* К 250-летию академического кавказоведения..., с. 3—10.

[5] Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1868—1881. Т. I—X.

[6] Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1868, т. I, с. 1.

[7] Там же.

[8] *Бартольд В. В.* История изучения Востока в Европе и России. — Соч., т. IX, с. 482.

[9] Сборник сведений о кавказских горцах, т. I, с. II.

[10] Там же, с. III. Однако, несмотря на такое заявление, проблемы изучения кавказских языков в этом издании не получили достаточного места.

[11] Там же, с. VI.

[12] *Бартольд В. В.* В. Р. Розен..., с. 590.

[13] *Марр Н. Я.* О «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа». — Зап. ВОРАО, СПб., 1917, т. XXIV, с. 271.

[14] *Розен В. Р.* Рецензия на выпуски XII—XIII—XIV «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа». — Зап. ВОРАО, 1893, т. VII, с. 350.

[15] См.: *Веселовский Н. И.* История Русского археологического общества за первое пятидесятилетие его существования (1846—1896). М., 1900, с. 6.

[16] Там же, с. 88—89.

[17] Такова педагогическая деятельность грузинского писателя и просветителя Д. Чонкадзе среди осетин; народных учителей и общественных деятелей К. Мачавариани и Н. С. Джанашиа — среди абхазцев; ученого-дагестанца Б. Далгата — среди вайнахов и др.

[18] В «Трудах» МАО (М., 1881, т. IX, вып. 1, с. 40) был напечатан протокол о записанной А. И. Стояновым «Южнорусской песне о событии XI века».

[19] *Такайшвили Е. С.* Избр. тр. Тбилиси: Мецниереба, 1968, т. I, с. 239. На груз. яз.

[20] Архив АН СССР (ЛО), ф. 800, оп. 4, д. 11, л. 1. Докладная записка А. И. Стоянова, к сожалению, до сих пор полностью не издана, имеются публикации отдельных ее фрагментов. В них, в частности, говорится: «С вопросом о первоначальном образовании тесно связан вопрос о положении в Кутаисской гимназии преподавания грузинского языка, родного для огромного большинства воспитываемых нами детей... Не подлежит сомнению, что первоначальное образование детям, ни слова не понимающим по-русски, должно идти сначала на родном языке, затем при помощи родного языка. Иная постановка вопроса будет педагогическим абсурдом». Далее автор продолжал: «Я иду еще дальше: изучению памятников древней грузинской

письменности и произведений возрождающейся грузинской литературы должно быть отведено место в старших классах гимназии и поручено лицу туземного происхождения и высшего образования, заведомо знакомого с грузинскою литературою и известного трудами в этой области» (Цит. по кн.: *Т. И. Хундадзе.* Очерки из истории народного просвещения в Грузии. Тбилиси, 1951, с. 30—31. На груз. яз.).

[21] *Миханкова В. А.* Николай Яковлевич Марр: Очерк его жизни и научной деятельности. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949, с. 11.

[22] Архив АН СССР (ЛО), А 663, л. 7.

[23] *Такайшвили Е. С.* Воспоминания. — Избр. тр., т. I, с. 239.

[24] *Услар П. К.* Этнография Кавказа. Языкознание. Тифлис, 1885, т. III. Аварский язык, с. V и др.

[25] *Джавахов А. И.* Политические движения в Грузии в XIX веке. — В кн.: Джавахишвили И. А. История грузинского народа. Тбилиси, 1953, т. V.

[26] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии. — Зап. КОРГО, Тифлис, т. X, ч. 1.

[27] *Бакрадзе Д. З.* Сванетия. —Зап. КОРГО, 1864, т. VI, с. 19.

[28] Там же, с. 28.

[29] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии, с. 239; *Бакрадзе Д. З.* Сванетия, с. 28.

[30] Все лингвистические работы П. К. Услара имеют общее название — «Этнография Кавказа».

[31] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии, с. 239.

[32] Там же, с. 290—291.

[33] Там же.

[34] *Кондаков Н. С.* Опись памятников древности в некоторых храмах и монастырях Грузии. СПб., 1890, с. 4.

[35] *Бакрадзе Д. З.* Сванетия, с. 29.

[36] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии, с. 351.

[37] Там же, с. 447.

[38] *Марр Н. Я.* История Грузии. СПб.: Амиран, 1906, с. 58.

[39] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии, с. 447.

[40] Там же, с. 312, 386, 394.

[41] Это место приводимого текста перекликается с легендарными сведениями древнегрузинских источников о проповеди христианства первыми «учениками» Христа — Андреем Первозванным и Симоном Кананнитом среди горских племен древней Грузии. По свидетельству армянской «Географии» VII в., они достигли близкой к Сванетии территории.

[42] *Бакрадзе Д. З.* Сванетия, с. 41.

[43] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии, с. 284.

[44] Там же, с. 283.

[45] Там же, с. 285.

[46] Архив АН СССР (ЛО), ф. 800, оп. 3, д. 885, л. 3.

[47] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии, с. 350.

[48] *Бакрадзе Д. З.* Сванетия, с. 30.

[49] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии, с. 350.

[50] *Меликишвили Г. А.* К вопросу о древнейшем населении Грузии, Кавказа и Ближнего Востока. Тбилиси: Мецниереба, 1962, с. 65—66. На груз. яз.

[51] *Дулая Г. В.* Два комментария к хронике Леонти Мровели. — СЭ, 1971, № 2.

[52] Инал-ипа Ш. Д. в книге «Вопросы этнокультурной истории абхазов» (Сухуми: Алашара, 1977, с. 379) приводит абхазскую форму этого топонима: Гумурипш, Гумр-ипш. Даже если это так, то в данном случае вопрос о его сванском происхождении не снимается. Наоборот, указанная абхазская форма, выраженная в суффиксации неизвестного в абхазском языке корня «гумур-» может указывать на усвоение абхазскими этническими элементами существовавшего или до них, или независимо от них (в основе своей, безусловно, сванского) топонима. К топонимам сванского происхождения в Абхазской АССР относится также название прибрежной местности Тамиш (от «там» — голод, голодный) с общекартвельским локативным суффиксом *-иш-*, т. е. голодная, неплодородная местность.

[53] *Стоянов А. И.* Путешествие по Сванетии, с. 432, 433.

[54] Там же, с. 298—300.

[55] Там же, с. 377.

[56] См.: *Услар П. К.* Древние сказания о Кавказе. — В кн.: Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1881, т. X, с. 414.

[57] *Стоянов А. И.* Образцы сванетской народной поэзии. — СМОМПК, Тифлис, 1890, вып. XI, отд. II, с. 9—68.

[58] *Чавчавадзе И.* Соч.: В 10-ти т. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1955, с. 113. На груз. яз.

[59] Пятый археологический съезд в Тифлисе. М., 1882, 1. Труды предварительных комитетов, с. 150.

[60] Там же.

[61] Кроме того, А. И. Стоянову было поручено разыскать исчезнувший из Сухума «небольшой археологический музей», существовавший при местной горской школе. В период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. он, «по слухам, был вывезен в Кутаис» (Пятый археологический съезд в Тифлисе, 1. Труды предварительных комитетов, с. 125—126). К сожалению, о судьбе экспонатов музея ничего не известно и до настоящего времени (Труды V археологического съезда в Тифлисе, 1881. М., 1887, с. XXXIII).

[62] Труды V археологического съезда в Тифлисе, с. XLIX и след.

[63] Там же.

[64] *Стоянов А. И.* Образцы сванетской народной поэзии, с. 12.

[65] СМОМПК, вып. 10, с. 11, 13.

[66] Там же, с. 14.

[67] Н. В. Никитин — русский архитектор и археолог, один из основателей Московского архитектурного общества, автор работ по истории архитектуры Руси и Абхазии.

[68] Протоколы заседаний. — Древности: Труды МАО. М., 1888, с. 24—25.

[69] Там же, с. 25 и след.

Л. С. Бурчинова

ИСТОКИ ДЖАНГАРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ

Открытие «Джангара» — героического эпоса калмыцкого народа — было не единовременным актом. Он раскрывался перед собирателями и исследователями не сразу, именно поэтому ценны даже самые краткие первые проявления интереса к нему в России еще с начала XIX в.

В современной литературе дореволюционное наследие в области джангароведения чаще рассматривается в плане кратких историографических отсылок, а оценка ему дается очень обобщенно [1]. Между тем, только основываясь на итогах изучения «Джангара» в дореволюционный период, можно по достоинству оценить успехи советских исследователей в этой области фольклористики.

В дореволюционной литературе о калмыках встречаются путевые заметки, авторы которых бывали в Калмыцкой степи. Находясь под впечатлением увиденного и услышанного, они тем не менее лишь поверхностно и скупо отражали отдельные моменты истории, языка, литературы, культуры, быта и нравов калмыков. Правда, они обращали внимание на наиболее характерные особенности калмыцкого фольклора. Н. Страхов писал об этом: «По вечерам охотники слушать сказки, из коих некоторые столь продолжительны, что должно рассказывать и слушать несколько недель, а при том сии сказки от наших тем отличаются, что по введенному в оные содержанию рассказчик часто принимается петь и играть на балалайке» [2]. Н. Нефедьев отзывался несколько иначе: «Люди, обладающие даром красноречия, прославляют древних богатырей. Калмыки, обожая героев своих и веря всему чудесному, сряду дня по три слушают предания об их подвигах. Герои сии едва ли имеют соперников в других повествованиях: они обыкновенно бывают ростом по нескольку верст, один удар меча сражает целые тысячи неприятелей, кони их перескакивают через моря и горы — одним словом, перед ними не значат ничего ни „Францы Венецианы“, ни „Еруслаиы Лазаревичи“. Описывая какую-нибудь сцену из их волшебной жизни, рассказчик часто прерывает слова свои пением или музыкою, а иногда, смотря по содержанию рассказа, в голосе и движениях подражает животным и довершает тем восторг и очарование слушателей» [3].

Начало научному собиранию сведений о «Джангаре» и его исполнителях — джангарчи — положил в начале XIX в. В. Г. Бергманн. Вениамин (или Бениамин) Густавович Бергманн, уроженец Лифляндии, был автором публикации на немецком языке историко-этнографического очерка о путешествии в Калмыцкую степь в 1802—1803 гг.[4] В нем было уделено внимание и калмыцкому эпосу, и сказкам. Этот очерк был переведен сразу же на голландский и французский языки, русский же читатель о нем узнал лишь через корреспонденцию, перепечатанную из польского журнала, где Бергманн характеризовался, как «великий охотник до чрезвычайностей», сумевший собрать «любопытные известия» о калмыках [5]. Маршрута своей поездки в калмыцкие кочевья Бергманн не указывал [6].

Приехав в степь, Бергманн смог непосредственно познакомиться с калмыками, наблюдать их жизнь, нравы, обычаи. Ожидая увидеть в кочевниках «варваров», он должен был разувериться в своем предположении. По его описаниям, это было уже классовое общество со строгим иерархическим делением, со своими законами и устоявшимися обычаями. Особенно его поразил высокий уровень духовной культуры калмыков, объяснение чему он искал в их природной одаренности, склонности к остроумию и красноречию. «В самом деле, — удивлялся он, — кто бы мог надеяться в необразованном тяжелом языке, в охриплом голосе... найти витийство?» [7] В устном народном творчестве калмыков его особенно заинтересовали широко распространенные в народе сказки «Сидди Кюр» [8] и песни, прославлявшие сказочного героя Джангара и его двенадцать богатырей — «великих князей земли, покорявших богачей ада и рая» [9].

Бергманн, по-видимому, был первым, кто описал свое впечатление от исполнительского искусства калмыцких джангарчи, которых ему посчастливилось услышать. К сожалению, он не упомянул их имен (что, впрочем, вообще тогда не было принято). Он отметил, что пение джангарчи непрерываемо: певец делает лишь небольшие паузы, во время которых позволяет себе сделать несколько затяжек из трубки или выпить глоток черного чая. Искусство певца, по мнению Бергманна, заключалось в том, чтобы «придать самым преувеличенным явлениям свет действительной естественности, верный калмыцкому образу жизни и традициям в поэтическом произведении» [10], и чтобы исполнение песни растянуть как можно дольше. Всего в репертуаре одного певца было, как правило, два десятка песен, и редко кто из исполнителей знал больше. «Джангару» же, как заметил Бергманн, посвящалось 360 песен. Разумеется, его заинтересовал вопрос, кто был первым исполнителем «Джангара», легенду о котором он слышал, и, не узнав имени, назвал его «калмыцким Орфеем»: «В точности... сведений о более позднем времени, в котором жил калмыцкий Орфей, не следует сомневаться, ибо я был бы первый, кто в услышанном сообщении усомнился» [11]. В подлинности легенды Бергманна, видимо, убеждало то, что там наряду с мифическими персонажами упоминались исторически реальные лица (например, наместник Калмыцкого ханства Убаши или один из отпрысков ханской фамилии Цебек-Дорджи, у которого якобы жил «калмыцкий Орфей»), отдельные географические названия (например, Черный Яр, Енотаевск) и исторические события.

Бергманн обратил внимание на большую популярность «Джангара» и его исполнителей в народе. По его сообщениям, калмыки прекрасно знали произведение, но при случае не могли отказать себе в удовольствии послушать выступление джангарчи и выразить восхищение высокими художественными достоинствами исполняемых ими «рапсодий». Бергманн запечатлел ту песнь «Джангара», мнения исследователей о которой расходятся: Э. Б. Овалов считает, что это один из наиболее ранних вариантов песни «О поражении свирепого хана шулмусов Шара Гюргю» [12], А. Ш. Кичиков находит, что этот список можно отнести как к циклу Шара Гюргю, так и к песне о Хара-Кинесе [13].

Бергманн, хотя и смог уловить высокую художественность и поэтическую древность «Джангара», вряд ли столь отчетливо представлял себе, что ему посчастливилось познакомиться с самым лучшим творением народа — его эпопеей, вот поэтому-то он оставил открытым вопрос, к какому жанру следует отнести это произведение. Современники то ли из-за отсутствия перевода сочинения Бергманна на русский язык, то ли по невниманию прошли мимо открытия им «Джангара». Во всяком случае более поздние исследователи «Джангара» или не упоминали о нем (А. А. Бобровников), или упоминали лишь вскользь (В. Л. Котвич, С. А. Козин).

Дальнейшее изучение «Джангара» было непосредственно связано с изысканиями специалистов в различных областях гуманитарных наук. Наиболее четко определилось участие членов Русского географического

общества. Накопление знаний о калмыцкой поэзии, в том числе о «Джангаре», было результатом собирательской работы этнографов и других специалистов. Но не все они знали калмыцкий язык, и в ряде случаев им приходилось ограничиваться краткими заметками и пересказами. Так, в частности, поступил Н. Нефедьев, у которого можно встретить лишь лаконичную запись о «Джангаре»: «Баснословная повесть *Джангир* (*о Джангире*), более других калмыками любимая, могла бы составить довольно большую и забавную книгу» [14].

П. И. Небольсин предпринял в 1850—1851 гг. по поручению Русского географического общества поездку в киргизскую степь и прикаспийские области для изучения «торгово-промышленных сношений» России со Средней Азией. Во время путешествия ему удалось познакомиться с калмыками, жившими на землях Уральского и Оренбургского казачьих войск и в Хошоутовском улусе Астраханской губернии [15]. О «Джангаре» он писал: «В бытность мою у калмыков мне не удалось удовлетворить необходимости записать эти джангеры, потому что в это время не было в том месте, где я жил, ни одного странствующего поэта, а незнание языка и без того лишало меня возможности хорошо усвоить себе калмыцкие поэмы, тем более что приглашенный мною переводчик не вполне соответствовал условиям, необходимым при занятиях такого рода» [16]. Под джангерами Небольсин подразумевал «целые поэмы... слагаемые из нескольких больших песен, из которых каждая представляет отдельное целое... Они бывают таких огромных размеров, что на пересказ их надо употребить несколько суток. Джангеры сохраняются не на письме, а передаются певцами из рода в род, в потомство, изустно. Их или распевают под аккомпанемент» музыкального инструмента, «или рассказывают просто как историю. В первом случае их исполнителей именуют „джангерчи“, а во втором — „туульчи“» [17]. Небольсин явно основывался в своих очерках на чужих свидетельствах, почему не все его сведения вполне достоверны: в одной из поэм будто бы рассказывалось о том, как Хо-Урлюк посылал своих людей для обозрения местностей по рекам Эмбе, Яику и Волге, куда калмыки впоследствии перекочевали из Джунгарии [18].

Хотя Небольсин и не смог послушать выступление какого-либо исполнителя «Джангара», а тем более записать его, ему было известно, что лучшие знатоки калмыцкого быта — профессора Казанского университета О. М. Ковалевский и А. В. Попов располагают писаными джангерами. Свидетельство Небольсина о записи «Джангара» известным ориенталистом А. В. Поповым единственное в литературе и ничем не подтверждено. Сам А. В. Попов, автор второй по счету «Грамматики калмыцкого языка» (Казань, 1847), в этнографических заметках, посвященных приволжским калмыкам, ни словом не обмолвился об этом. Он ограничился лишь общим замечанием, что духовная культура живущих в России калмыков находилась в состоянии упадка [19]. Вместе с тем не исключена возможность, что А. В. Попов был знаком с записью «Джангара», принадлежавшей его коллеге по Казанскому университету О. М. Ковалевскому.

Что касается списка Ковалевского, то он не был опубликован, и место хранения его остается неизвестным до настоящего времени. Однако его подробно описал и прокомментировал бывший ученик обоих ориенталистов, магистр Алексей Александрович Бобровников, преподававший монгольские языки в Казанской духовной академии. По отзыву последнего, список Ковалевского был крайне несовершенен. В частности, из-за краткости изложения в нем не все было понятно для неосведомленного читателя. Ковалевский, кстати, и не сам сделал запись. Кем она была сделана, осталось неизвестным, как и то, каким образом рукопись попала в руки Ковалевского. Но сам факт приобретения им рукописи свидетельствовал о появлении у ориенталистов интереса к «Джангару». Датировать рукопись можно не ранее чем 1833 г., когда была организована первая в России кафедра монгольского языка в Казанском уни-

верситете [20], первым руководителем которой был Ковалевский, и не позднее сообщения Небольсина о ней в 1851 г.

Примерно в это же время член-сотрудник Отделения этнографии Русского географического общества Н. И. Михайлов представил в Общество другую рукопись на калмыцком языке под заглавием «Песни и сказки калмыцкого народа Астраханской губернии Багацохуровского улуса». Если учесть, что Географическое общество было организовано в 1845 г., а предисловие к своему переводу этой рукописи на русский язык написано Бобровниковым в 1854 г.[21], то несколько уточнятся хронологические рамки представления рукописи Обществу [22]. Бобровников в 1846 г. два месяца находился в поездке по калмыцким кочевьям Астраханской губернии с целью изучения калмыцкого языка для составляемой им грамматики [23] (за этот труд он получил вторую Демидовскую премию). Одновременно он интересовался бытом и религиозными воззрениями калмыков. По всей вероятности, это было связано с деятельностью Казанской духовной академии, которая распространялась и на Калмыцкую степь. Поэтому, по-видимому, уже после смерти Бобровникова было сочтено необходимым опубликовать обнаруженную в его личном архиве рукопись сочинения, посвященного описанию религии и быта калмыков [24]. Известно, что к нему обращались по поводу перевода христианской литературы, распространяемой среди калмыков [25]. Однако в калмыковедении особенно важна его роль именно как автора первого перевода на русский язык рукописи «Джангар».

Свой перевод Бобровников оценивал весьма критически. Он писал, что строго его нельзя назвать точным и буквальным, так как «некоторые слова и выражения, или явно бессмысленные или непонятные» ему приходилось пропускать.

В предисловии Бобровников попытался проанализировать эпос «Джангар», причем, пожалуй, стоял ближе, чем его предшественники, к постановке научного исследования оригинального произведения устно-поэтического творчества калмыков. В его понимании «Джангар» — это не поэма, а сказка, причем ее особенность заключается в технике исполнения, а именно: «Джангар» не пересказывался, а его пели под аккомпанемент музыкального инструмента (впрочем, для того времени вообще было обычно наименование эпических произведений тюрко-монгольских народов термином «сказка» без различия со сказочным фольклором). Исполнением «Джангара» занимались большей частью «пожилые бездомные люди», странствовавшие из улуса в улус, т. е. это было профессиональным занятием определенной категории людей из трудового народа. Как и Бергманн, Бобровников считал, что от искусности джангарчи зависит и размер «сказки»: «Изобретательный джангарщик может растянуть эту сказку на несколько суток. Отсюда родилось понятие, что она имеет огромные размеры, состоя, по словам калмыков, будто бы из 52 песен» [26]. По его мнению, казавшиеся огромными размеры каждой песни объяснялись манерой медленного, протяжного пения.

Располагая двумя списками, Михайлова и Ковалевского, Бобровников первым попытался их сопоставить. Отдавая предпочтение первому списку как более совершенному и полному [27] (второй список содержал лишь вступление к одной из песен «Джангара»), он обратил внимание на расхождения в обоих списках и сделал заключение, что «Джангар» «еще не получил определенной литературной формы». По мнению Бобровникова, поэма появилась якобы в XVIII в., а возможно, и позднее, отсюда проистекало отрицание им историчности «Джангара». Вместе с тем он признавал оригинальность и редкостность этого произведения и подчеркивал глубокую народность «Джангара», где нашли отражение житейские «понятия и склонности» калмыков.

Как лингвист, Бобровников не мог не обратить внимание на язык «Джангара», который, по его мнению, был — правда, не строго — мерным, напоминавшим собой размер русских народных песен. По его отзыву, язык «Джангара» не отличался ни чистотою, ни красотою, он не

видел в нем тех высоких художественных достоинств, чем в свое время этот памятник обратил на себя внимание Бергманна. Несмотря на столь резкие суждения, Бобровников смог поставить ряд проблем перед будущими исследователями «Джангара». Он, во-первых, обратил внимание историков, этнографов, лингвистов, литературоведов и других ученых на изучение «Джангара» в сравнительно-типологическом, как сказали бы теперь, плане. По его словам, открывалась возможность «составить понятие о целом „Джангаре“, давно известном по имени, но остававшемся тайною по содержанию» [28].

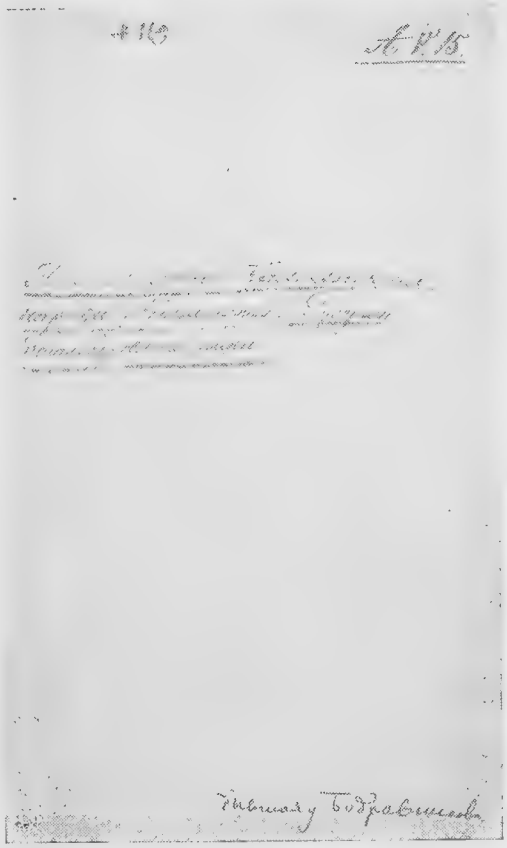


Рис. 1. Обложка рукописи, бывшей у Бобровникова

Перевод Бобровникова (рис. 1) вызвал интерес у другого ориенталиста — Федора (или Франца) Ивановича Эрдмана, знатока арабско-персидской словесности. Эрдман осуществил вторичный перевод «Джангара», с русского на немецкий язык, что практически не оставило заметных следов в отечественной историографии; о нем упомянуто лишь в библиографическом перечне текстов «Джангариады», известных науке в конце 1930-х годов [29].

Наиболее значительный резонанс в 60-х годах прошлого века вызвала деятельность в области калмыковедения Константина Федоровича Голстунского. Выпускник Казанского университета, ученик ранее упомянутого профессора А. В. Попова и лектора Галсана Гомбоева Голстунский посещал калмыцкие кочевья Астраханской и Ставропольской губерний. В один из своих приездов он занялся разысканиями «Джангара», о котором ему было известно по переводам Бергманна и Бобровникова и беседам, которые тогда велись в среде ученых. Они утверждали, что в Калмыцкой степи еще можно встретить немало песен, посвященных прославлению подвигов сказочного героя Джангара и его богатырей, которые пока не записаны. Это-то и побудило Голстунского совершить поездку к калмыкам. Позднее, уже будучи профессором Петербургского университета, по прошествии тридцати с лишним лет, Голстунский рассказал о своих поисках «Джангара» в Калмыцкой степи одному из своих студентов, будущему видному ученому Владиславу Людвиговичу Котвичу. К воспоминанию об этой беседе Котвич возвращался неоднократно. В 1937 г. в письме к С. А. Козину он сообщал: «Голстунский как-то рассказал мне, что одну из поездок в астраханские степи он посвятил на розыски Джангара. Местные нойоны без особого труда вызвали в свои ставки джангарчи, которые пропели две песни, а затем продиктовали их текст, который и был записан писарями (бичечи). Сам Голстунский только следил за правильностью записи. Какие это были нойоны, вспомнить не могу, кроме того, что запись была произведена в двух местах: среди торгутов и дербетов. Записанные песни Голстунский затем и издал» [30].

В статье «Джангариада и джангарчи Овла Эляев» (Ээлян Овла. — *Л. Б.*), которую предполагалось включить в сборник статей, посвященный 500-летию «Джангара» [31], подготовляемый в 1941 г. кафедрой тюрко-монгольской филологии Ленинградского государственного университета, Котвич снова писал об этом: «...в начале 60-х годов... всюду (в Калмыцкой степи Астраханской губернии. — *Л. Б.*) еще имелись хорошие сказители. По его (Голстунского. — *Л. Б.*) просьбе местные влиятельные лица из числа знакомых калмыков пригласили к себе лучших джангарчинов, оказав полное содействие к организации занятий с ними. Начало положило пение известных сказителям песен, и тут они с полной готовностью выказали в течение нескольких дней все свое искусство и знание в той несколько таинственной, но торжественной обстановке, в какой обычно исполнялся „Джангар“: вечером в присутствии многочисленных слушателей. Но дело осложнилось, когда им предложили повторить то, что они пели, днем в будничных условиях в форме рассказа для записи, с более или менее длительными остановками, приспособленными к темпу записи. Несмотря на обильное угощение, к которому джангарчины привыкли на своих нормальных сеансах, оказалось очень затруднительным добиться их согласия на новый, для них совершенно необычный, способ воспроизведения „Джангара“. Видно было, насколько этот способ для них был просто мучителен, и занятия то и дело прерывались. Этим и объясняется, что в то время, несмотря на благоприятные внешние условия, были записаны только две песни. Сама запись была произведена опытными грамотеями из калмыков обыкновенным калмыцким письмом, под бдительным контролем Голстунского, который и издал обе песни в 1864 г. литографическим способом в точности согласно этой записи» [32].

В сообщениях Котвича, в которых он высказал уверенность в записи и публикации двух песен Голстунским, остается неясным, какие песни конкретно и у какого джангарчи из торгутов и дербетов были выслушаны, а затем зафиксированы? В первый раз речь идет только о двух песнях, во второй раз то же самое, но создается впечатление, что джангарчи знали больше, чем удалось записать.

Молодой коллега Голстунского по факультету восточных языков Петербургского университета Алексей Матвеевич Позднеев в 80-х годах XIX в. задумал начать издание калмыцких сказок. Первыми он решил опубликовать четыре сказки, которые хранились в рукописи в университетской библиотеке. Ему удалось установить, что рукопись была вывезена Голстунским из Калмыцкой степи и что он имел прямое касательство к ее появлению. Запись сказок была осуществлена «через посредство калмыков, рассказчика и писца». Таким же образом и сам Позднеев собирал фольклорный материал. «Иного способа при записывании калмыцких сказок, — писал он позднее, — по-моему, невозможно и применять по той причине, что иноземец, как бы хорошо ни знал он калмыцкий язык, никогда не в состоянии уловить всех слов иногда произносимой очень быстро речи, — к повторениям же рассказчики решительно не способны, — это своего рода заведенные машины» [33]. Следовательно, фольклорный материал, в том числе и «Джангар», записывали для Голстунского именно таким способом, и зафиксированные им тексты песен джангарчи были наиболее близки оригиналам этих песен.

В 1864 г. в столичной литографии А. Иконникова была отпечатана на калмыцком языке без перевода на русский язык «Народная калмыцкая поэма Джангар» Голстунского вместе с двумя другими текстами — «Историей Убаши-хун-тайджи» и «Сидди Кюр» [34]. На обороте титульного листа указывалось, что к печатанию это издание допущено на основании университетского устава по постановлению («определению») факультета восточных языков.

Первая публикация в России оригинала «Джангара» не была снабжена ни комментариями, ни введением. Идя вслед за своими пред-

шественниками, Голстунский не видел необходимости указывать место записей, фамилии и имена сказителей [35]. Судя по заглавию сборника, он относил «Джангар» к жанру народных поэм. Впоследствии, сосредоточившись сам на изучении других национальных памятников, в частности законодательных актов, Голстунский не оставлял мысли о необходимости переиздания текста «Джангара», что он настоятельно советовал А. М. Позднееву [36]. Тот, действительно, последовал рекомендации Голстунского, и по его инициативе было выпущено издание «Джангара», которое перепечатывалось несколько раз.

А. М. Позднеев, будучи одним из активнейших членов Русского географического общества, считал излишним объяснять, как высоко научное значение памятников народного творчества в деле языковедения и этнографии. Особо он выделял народные песни, которые, по его мнению, как и сам народ, «имели свою историю» и в которых выражались «истинные и непритворные мысли и чаяния народа». Анализируя песни элетов, он в качестве примера приводил их «Чжангар»: «Поэма „Чжангар“ служит лучшим выражением духа ölötов» [37]. Он сетовал на недостаточное изучение калмыцкого фольклора: «...доселе у нас не было известно никаких сборников народной литературы калмыков, свыше 250 лет живущих уже в России» [38]. Сравнивая широко бытовавшие в народе сказки индийского происхождения «Сидди Кюр» с «Джангаром», он признавал последний «единственным, действительно оригинальным произведением народного творчества калмыков» и, как и Голстунский, называл поэмой. «Это прекрасное произведение, — писал он, — богатое поэтическими красотами и отличающееся неподдельною наивностью и оригинальностью, давно уже заслуживало бы нового и лучшего издания» [39]. Однако, учитывая, что поэма уже введена в научный оборот, он предпочёл в первую очередь опубликовать собранные им калмыцкие сказки, которые печатались в «Записках Восточного отделения Русского археологического общества» (в 1889, 1891, 1893, 1896, 1897 гг.). Это не помешало ему заявить, что в его время, т. е. в конце 80-х годов, «смысл „Джангара“ был понятен уже очень немногим калмыкам, хотя в сравнительно недалеком прошлом он распевался во множестве вариантов» [40], т. е. по сути говорить об угасании эпоса.

Позднеев не задавался целью осуществить перевод на русский язык изданных литографическим способом двух песен Голстунского, известных в историографии как первая и вторая. Инспектируя же состояние народного образования в Калмыцкой степи в 80-х годах XIX в., он пришел к убеждению, что необходимо «Джангар» (в числе других памятников устной и письменной национальной литературы) ввести в курс обучения калмыцких учащихся. Как составитель впервые издаваемой «Калмыцкой хрестоматии», выдержавшей до Октябрьской революции три издания, он позаботился включить в нее обе песни [41]. Следует заметить, что «Джангар» (по всей вероятности, именно эти песни) еще до издания хрестоматии Позднеева использовался в качестве учебного пособия в Астраханском калмыцком училище. Об этом в 1886 г. Управление калмыцким народом уведомляло Астраханский миссионерский комитет [42].

В последний раз до Октябрьской революции первая и вторая песни были вновь переизданы Обществом востоковедения Академии наук отдельной книжкой вместе с еще одной песней, обнаруженной А. М. Позднеевым уже после публикации первых двух (в литературе она известна под условным названием «третьей песни»), под общей редакцией того же Позднеева [43], но опять-таки без русского перевода.

Еще в 1894 г. Котвич, будучи студентом, в летней командировке вместе со своим товарищем И. И. Чешевым в ставке Хошоутовского улуса с помощью местных калмыков — знатоков народного творчества — «с немалым трудом» перевели песню о «Хара Кинесе» и составили к ней словарик, передав все это по возвращении в университет. Ни перевод, ни словарь не были опубликованы, но работа над ним заставила Котвича обратить серьезное внимание на «Джангар». «Эпопея, — вспоминал

Рис. 2. Джангарчи Ээлян Овла; фото Л. В. Котвича, 1910 г.

он впоследствии, — произвела на меня сильное впечатление, и я делал неоднократные попытки к розыску джангарчинов» [44].

В последней четверти XIX в. успехи в развитии калмыцкой фольклористики стали особенно заметны. Они проявлялись в собирании наряду со сведениями об образе жизни и быте калмыков всех жанров устного народного творчества. Часть фольклорных материалов публиковалась, часть осела в архивах и пока еще не введена в научный оборот, например материалы местных собирателей Иродиона Алексеевича Житецкого [45] и Ивана Ивановича Попова [46]. Житецким были записаны легенды, пословицы и поговорки астраханских калмыков. Попову же удалось собрать у донских калмыков (т. е. калмыков, причисленных к донскому казачеству), кроме того, эпические сказания, сказки, загадки и, наконец, поэму «Джангар». Все записи были сделаны им на старокалмыцкой письменности с переводом на русский язык.

«Песня об Улан-Хонгоре» и отдельные отрывки из «Джангара» были собраны и обработаны И. И. Поповым в 1892—1901 гг. По всей вероятности, он готовил их для издания и потому написал к ним предисловие, но до Октябрьской революции они не были напечатаны и вышли в свет только в связи с празднованием в 1940 г. 500-летия «Джангара» [47]. Эти записи, сделанные у донских калмыков, были единственными в своем роде (все остальные варианты «Джангара» были зафиксированы на территории Калмыцкой степи в Астраханской губернии). Стала ясной необходимость расширения территориальных границ исследования «Джангара». Однако эта задача в дореволюционный период не была осуществлена.

Самым значительным достижением в дореволюционном отечественном джангароведении оказалась запись эпического репертуара малодербетовского джангарчи Ээлян Овла (рис. 2). Это было заслугой студента Петербургского университета — калмыка Номто Очирова, впервые произведшего от него запись эпических текстов, и его профессора — В. Л. Котвича, удостоверившего их подлинность [48].

Запись репертуара Ээлян Овла (Овла Эляева, как тогда его называли) была организована в 1908 г. Русским географическим обществом, а точнее — его Восточной секцией; впоследствии были также привлечены средства из фонда Русского комитета, созданного для изучения Средней Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях.

Встреча с Ээлян Овла получила сразу же большой общественный и научный резонанс, следствием чего явилось литографическое издание десяти песен, записанных от него Номто Очировым [49]. Несмотря на то что составители данного издания — Очиров и другие студенты-калмыки допустили в нем ряд погрешностей при переложении фонетической записи на обычное калмыцкое письмо и местами сократили текст, а Котвич не успел устранить эти недостатки, оно было до Октябрьской революции единственно цельной и объемной публикацией репертуара одного джангарчи. В определенной степени это издание отражало процесс формиро-

вания калмыцкой интеллигенции и зарождения национально-просветительского движения в Калмыцкой степи.

О самой встрече собирателей с джангарчи Ээлян Овла до сравнительно недавнего времени ничего не было известно. Лишь с обнаружением воспоминаний Котвича, о чем уже упомянуто, и Очирова [50] выяснились подробности записи его песенного репертуара. Впервые был применен для записи мелодии фонограф, сделаны фотоснимки джангарчи, собраны относительно беглые, но достаточно конкретные биографические сведения о нем, о его социальном и имущественном положении, типичном для калмыка-бедняка того времени. Овла продемонстрировал собирателям фольклора не только знание целого цикла «Джангара», но и искусство его певческого исполнения, причем без какого-либо музыкального сопровождения. «Никаким музыкальным инструментом Эляев не пользовался и, кажется, не располагал им вовсе» [51], — вспоминал впоследствии Котвич.

Н. Очиров, будучи сам калмыком, смог уловить все нюансы родного разговорного языка. Его запись оказалась вполне удовлетворительной, и при проверке ее Котвичем в 1910 г., когда ученый специально ездил в Калмыцкую степь для встречи со знаменитым джангарчи, было внесено сравнительно немного поправок и даны новые заглавия песням. Подготовка литографического издания 1910 г. в это время была уже завершена, и в него не вошла песня, которую Ээлян Овла продиктовал Котвичу после сверки текста десяти песен, записанных Очировым. «По-видимому, — писал Котвич позже, — некоторые части песни он помнил не совсем твердо; при том она имела несколько иной вид (без общего для других песен начала). Но во всяком случае подтвердилось существование еще одной песни, по счету одиннадцатой» [52]. Однако, по мнению исследователей, эта песня является вариантом одной из ранее опубликованных песен Ээлян Овла [53].

Запись песен джангарчи Ээлян Овла явилась важным событием в истории дореволюционного джангароведения. С одной стороны, ею как бы подытоживалась вся предшествовавшая работа по выявлению и собиранию памятников калмыцкой народной поэзии, с другой — ее осуществление объективно способствовало более правильному пониманию культуры калмыков и вело к более четкому представлению о процессах в устном народном творчестве вообще.

Начало всестороннему научному исследованию «Джангара» было фактически положено трудами крупнейшего ученого-востоковеда Бориса Яковлевича Владимирцова, его многогранной научной деятельностью. Он вошел в науку в первое десятилетие XX в., но завершение его трудов и публикация их были осуществлены уже в советское время и находятся за хронологическими рамками данной статьи; значительность его вклада в науку так велика, что требует самостоятельного освещения. Однако несколько слов все же надо сказать об этом крупном ученом, открывшем, по сути, новую страницу в научных изысканиях по джангароведению — уже советской эпохи. Важным итогом работы Б. Я. Владимирцова в области эпосоведения стала книга «Монголо-ойратский героический эпос». Напечатана она была в 1923 г., но подготовлена раньше. Еще в 1919 г. на заседании Отделения исторических наук и филологии Российской Академии наук было решено ее опубликовать в академических «Известиях» [54].

Б. Я. Владимирцов наметил контуры эпосоведения, не только калмыцкого, но и других монголоязычных народов, а отчасти и мирового эпосоведения. Лингвист, филолог, этнограф и историк одновременно, Б. Я. Владимирцов сумел и изучение джангароведческих проблем увязать с данными смежных наук. В постановке этих проблем он исходил из тесной взаимосвязи «Джангара» со всем остальным народно-поэтическим творчеством монголоязычных и других народов и из тех исторических условий, в которых происходило формирование героического эпоса.

Б. Я. Владимирцова занимали такие проблемы, как время и эпоха формирования «Джангара», связь «Джангара» с общественной жизнью калмыков, его национальный колорит, взаимоотношение эпоса и религии, влияние эпических традиций других народов на калмыцкий эпос «Джангар», и наоборот, и, наконец, проблема личности его исполнителей — джангарчи, особенности их певческого мастерства. Все это стало основными аспектами советского джангароведения.

Хочется закончить статью прозорливыми словами этого ученого, писавшего еще в начале 20-х годов: «...появилась новая школа отечественных ориенталистов, начавшая более внимательно изучать жизнь народных масс Востока с разных точек зрения, когда нашлись исследователи жизни монголов, обратившие особое внимание на живой язык и народное творчество разных монгольских племен. Кроме того, к тому же времени народилась и монгольская интеллигенция из среды бурят и калмыков, которая с увлечением обратилась к изучению родной народной жизни, собиранию произведений монгольского народного творчества... Оказалось в действительности, что монголы не забыли своих богатырских песен, оказалось, что во многих местах, населенных монгольскими племенами, существует еще в полной силе героический эпос в разных стадиях своего развития; существуют еще монгольские племена, где героический эпос живет в устах своих профессиональных певцов настолько полной жизнью, что до сих пор продолжает развиваться эпическое творчество» [55].

[1] См., например: *Козин С. А.* Джангариада: Героическая поэма калмыков. М.; Л.: Ин-т востоковедения АН СССР, 1940, с. 59—60; *Кирпотин В.* Калмыцкий народный эпос «Джангар». — В кн.: О «Джангаре»: Сборник материалов, посвященный пятисотлетию калмыцкого народного эпоса. Элиста: Калмыцкий НИИЯЛИ, 1963, с. 72; *Кичиков А. Ш.* Джангароведение: Итоги изучения. — В кн.: Проблемы алтаистики и монголоведения: Материалы Всесоюзной конференции 17—19 мая 1972 г. Элиста: Калмыцкий НИИЯЛИ, 1974, вып. 1, с. 49 и др. (Сер. литературы, фольклора и истории).

[2] Нынешнее состояние калмыцкого народа/ Соч. и изд. Н. Страхов. СПб., 1810, с. 33—34. Речь здесь идет о домбре.

[3] *Нефедьев Н.* Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте. СПб., 1834, с. 220.

[4] *Bergmann B.* Nomadische Streifereien unter den Kalmücken in den Jahren 1802 und 1803. Riga, 1804—1805, Bd. I—IV.

[5] Любопытные известия о калмыках (из Бергманова путешествия). — ВЕ, 1805, ч. XXIV, с. 269—283.

[6] Некоторые данные об этой поездке см.: *Гурий.* Очерки по истории распространения христианства среди монгольских племен. Казань, 1915, т. I, ч. II, с. 394—409.

[7] Любопытные известия..., с. 276.

[8] Под этим названием был известен среди калмыков, а также монголов и бурят сборник древнеиндийских рассказов «Двадцать пять рассказов веталы». Впервые полный русский перевод их был сделан по калмыцкой рукописи и издан Б. Я. Владимирцовым в 1922 г. в серии «Всемирная литература» под названием «Волшебный мертвец». Издание было снабжено библиографией ранее вышедших неполных публикаций сказок.

[9] *Бергманн В. Г.* Легенда о джангарчи/ Пер. Т. Емельяненко. — Архив Калмыцкого научно-исследовательского института истории, филологии и экономики (НИИИФЭ), ф. 5, оп. 2, д. 1, л. 1.

[10] Там же, л. 2.

[11] Там же.

[12] *Овалов Э. Б.* К вопросу о ранних записях «Джангара». — Учен. зап. Калмыцкого НИИЯЛИ. Сер. филол., Элиста, 1969, вып. 7.

[13] *Кичиков А. Ш.* Исследование героического эпоса «Джангар»: (Вопросы исторической поэтики). Элиста: Калм. кн. изд-во, 1976, с. 110.

[14] *Нефедьев Н.* Подробные сведения..., с. 220.

[15] *Небольсин П.* Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса. СПб., 1852.

[16] Там же, с. 131—132.

[17] Там же.

[18] Там же.

[19] *Попов А.* Краткие замечания о приволжских калмыках. — ЖМНП, 1839, ч. XXII, № 4, с. 45.

[20] *Веселовский Н. И.* Сведения об официальном преподавании восточных языков в России. — Труды III международного съезда ориенталистов в С.-Петербурге, 1876. СПб., 1879—1880, с. 111.

[21] Джангар: (Народная калмыцкая сказка)/ Пер. А. Бобровникова. — ВРГО за 1854 г. СПб., 1854, ч. XII, кн. V, с. 104—128.

[22] До последнего времени судьба калмыцкого оригинала этой песни оставалась неизвестной, хотя учеными-монголоведами предпринимались неоднократные попытки найти его. В апреле 1979 г. он был обнаружен В. З. Цереновым в научном архиве Географического об-

щества СССР. См. об этом предварительные публикации: *Церенов В.* Жаңһрин нег һар бичмрин тускар. — Хальмг Үнн, 1979 ж. майин 8; *Он же.* Найдена рукопись «Джангара». — Советская Калмыкия, 1979, 8 мая.

В. З. Церенов, аспирант Института востоковедения АН СССР, работавший в архивах Ленинграда по изучению материалов калмыцкого фольклора и литературы, поставил перед собой также специальную задачу по совету Г. И. Михайлова — предпринять в архиве РГО поиски оригинала песни «Джангара», переведенной А. А. Бобровниковым. Оригинал был найден в смешанном фольклорном фонде народов СССР (Шифр: Р. 53, оп. 1, д. 15). Рукопись «Песни и сказки калмыцкого народа Астраханской губернии Багацохуровского улуса», содержащая, помимо «Джангара», еще тексты четырех лирических песен, выполнена на старокалмыцкой письменности (тодо үзүг). Значимость находки прокомментировал эпосовед А. Ш. Кичиков: «Большая поэма (около 1800 стихов), оригинальная по сюжету, исключительно высокохудожественная по своей поэтической форме, доносит до наших дней древние мотивы, отсутствующие в других главах эпоса... Рукопись окажет немаловажную услугу в воссоздании истории развития и становления „Джангара" в целом» (*Кичиков А.* Важное открытие в джангароведении. — Советская Калмыкия, 1979, 8 мая).

[23] *Бобровников А.* Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849.

[24] *Бобровников А. А.* Очерк религиозного состояния калмыков. — Православное обозрение, М., 1865, № 7, 8, с. 335—352, 495—510.

[25] *Гурий.* Очерки..., с. 550—553.

[26] Джангар: (Народная калмыцкая сказка), с. 100.

[27] Там же, с. 100—101.

[28] Там же, с. 101.

[29] *Козин С. А.* Джангариада, с. 59. Не установлено, с русского или с немецкого языка был сделан перевод.

[30] Котвич В. Л. — Козину С. А. 12 марта 1937. — Учен. зап. Калмыцкого НИИЯЛИ. Сер. филол., Элиста, 1967, вып. 5, с. 195. Козин сомневался в достоверности сообщения Котвича о том, что Голстунский встретился с дербетовскими джангарчи (см.: *Козин С. А.* Джангариада, с. 59). Впоследствии, однако, это подтвердилось (см.: *Кичиков А. Ш.* Исследования героического эпоса «Джангара». Элиста: Калмыцкий НИИЯЛИ, 1976, с. 29 и др.).

[31] Этот сборник статей в связи с началом Великой Отечественной войны не был издан. Копия воспоминаний Котвича сохранилась в семейном фонде А. В. и Т. А. Бурдуковых. Повторная машинописная копия была сделана в 1958 г. (см.: Архив Калмыцкого НИИИФЭ, ф. 5, оп. 2, д. 5, л. 1—7). Текст публикуемой копии отличается большей полнотой от публикации Котвича «Джангариада и джангарчи» (см.: Филология и история монгольских народов: Памяти академика Бориса Яковлевича Владимирцова. М.: Изд-во вост. лит., 1958, с. 196—198).

[32] Архив Калмыцкого НИИИФЭ, ф. 5, оп. 2, д. 5, л. 1—2.

[33] *Позднеев А. М.* Калмыцкие сказки. — Зап. ВОРАО, СПб., 1889, т. IV, вып. III—IV, с. 374, примеч.

[34] Убаши Хун-Тайджийн түджи, народная калмыцкая поэма Джангар и Сиддиту Кюрыйнъ-тули, изданные на калмыцком языке К. Голстунским. СПб., 1864. Литография.

[35] О рукописных записях Голстунского см.: *Козин С. А.* Джангариада, с. 59—61; Котвич В. Л. — Козину С. А..., с. 195—196; *Бадмаев А. В.* Калмыцкая дореволюционная литература. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1975, с. 129; *Кичиков А. Ш.* От составителя. — В кн.: Джангар: Калмыцкий героический эпос. (Тексты 25 песен). М.: Наука, 1978, т. 1, с. 26—28, 38, 40. На калм. яз.

[36] *Позднеев А.* Калмыцкие сказки, с. 373, примеч.

[37] Образцы народной литературы монгольских племен. СПб., 1880. Вып. 1. Народные песни монголов/ Собр. и изд. А. Позднеевым, с. 53—54, 144.

[38] *Позднеев А.* Калмыцкие сказки, с. 373, примеч.

[39] Там же.

[40] Там же.

[41] Калмыцкая хрестоматия для чтения в старших классах калмыцких народных школ/ Сост. А. М. Позднеевым. СПб., 1892.

[42] Отчет Астраханского миссионерского комитета за 1886 год. — Астраханские епархиальные ведомости, 1887, № 5.

[43] «Джангар» — героическая поэма калмыков с приложением вновь отысканной и впервые издаваемой третьей главы, в оригинальном калмыцком тексте/ Ред. А. Позднеев. СПб., 1911.

[44] Котвич В. Л. — Козину С. А..., с. 196; Архив Калмыцкого НИИИФЭ, ф. 5, оп. 2, д. 5, л. 2—3.

[45] ЦГИА СССР, ф. 385, оп. 16, д. 8636б.

[46] Государственный архив Ростовской области, ф. 55, оп. 1, д. 1387, 13805—13810.

[47] Калмыцкий эпос «Джангар»/ Ред., вступ. ст. и примеч. В. А. Закруткина. Ростов на/Д: Ростиздат, 1940.

[48] Архив АН СССР, ф. 761. Личный фонд Котвича, оп. 2, д. 8.

[49] Taki Zulā xāni üldül Tangsag Bumba xāni ači Üsün aldar xāni köbün üyeyin önčin Jangariyin arban bölög. Piter xotol balgasun, 1910.

[50] *Очиров Н. О.* Записи оригинала «Джангара». — Учен. зап. Калмыцкого НИИЯЛИ. Сер. филол., Элиста, 1967, вып. 5, с. 52—53. Подлинник хранится в Архиве Калмыцкого НИИИФЭ (ф. 5, оп. 2, д. 8).

[51] Архив Калмыцкого НИИИФЭ, ф. 5, оп. 2, д. 5, л. 7.

[52] Там же, л. 6.

[53] *Михайлов Г. И.* Предисловие. — В кн.: Джангар: Калмыцкий героический эпос, т. 1, с. 10. На калм. яз.

[54] См.: Изв. Российской Академии наук, сер. VI, 1919, № 8/11, с. 346.

[55] *Владимирцов Б. Я.* Предисловие к кн.: Монголо-ойратский героический эпос. Пг.; М., 1923, с. 11—12.

А. И. Михайловская

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПРИУРАЛЬЕ И ПОВОЛЖЬЕ В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ XX В.

(Научно-промышленные выставки)

Капитализм в России, быстро развивавшийся в последней трети XIX—начале XX в., нуждался в освоении природных богатств страны, в прогрессе науки и техники. В этот период естествознание, в том числе прикладное, заняло ведущее место в русской науке. Это отразилось и в создании научно-промышленных музеев в обеих столицах и провинции.

Возникновению таких музеев содействовало также «просветительство» 60—70-х годов, отвечавшее стремлению демократических элементов русского общества к распространению знаний среди широких масс народа.

Общий культурный подъем вызвал оживление общественной деятельности, стремление к популяризации научных достижений и через научные общества. Этнография, антропология и археология входили по тогдашней классификации в состав естественных наук. Расширились функции Русского географического общества и его филиалов на местах. Повысился интерес к изучению коренного населения и природных богатств Туркестана, Кавказа, Сибири и Севера европейской части России. Ученые архивные комиссии и губернские статистические комитеты собирали обширные материалы и коллекции. Земства занялись изучением экономики своего края, в частности кустарных промыслов, собирали музейные предметы.

После I съезда русских естествоиспытателей и врачей при многих университетах были созданы общества естествознания [1]. Наряду с этими учеными обществами, издававшими труды на иностранных языках, возникли и общества естествоиспытателей демократического направления, куда входили не только ученые, но и «любители» — в основном представители рядовой интеллигенции, а отчасти и крестьяне.

Общество любителей естествознания при Московском университете (впоследствии — Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии — ОЛЕАЭ) [2], в котором ведущая роль принадлежала передовым ученым университета, показало пример привлечения широкой общественности к работе, особенно к организации всероссийских выставок и музеев на базе их коллекций [3].

В 1867 г. ОЛЕАЭ организовало Всероссийскую этнографическую выставку, коллекции которой легли в основу Дашковского этнографического музея в Москве, в 1872 г. — Всероссийскую политехническую выставку, а затем на ее основе — Политехнический музей, в 1879 г. — Антропологическую выставку и Антропологический музей.

Особое значение для истории музейно-выставочного дела в России имели Всероссийская этнографическая выставка 1867 г. и Политехническая выставка 1872 г., целью которых была организация в будущем музеев нового типа.

Об Этнографической выставке опубликовано несколько исследований, а о Политехнической выставке работ такого рода нет, но документальные материалы в литературе имеются. Они содержатся в специальном томе

«Известий ОЛЕАЭ»[4]. Политехническая выставка, как явствует из этих документов, была задумана «ради народнообразовательной цели» по широкой программе, должна была иметь «музейское направление», отличаться «общедоступностью содержания» для масс народа. Все это было в то время новшеством и как бы отрицанием привычного показа по «фирменному признаку» на тех мануфактурных выставках, которые регулярно устраивало правительство еще до отмены крепостного права с целью поощрения предпринимательства, в особенности дворянского. В основу Политехнической выставки было решено положить другой принцип: «ознакомление с научными началами различных производств» и с самим процессом производства. На ней должны были быть экспонированы «по возможности систематические коллекции предметов, исчерпывающие те части в области специальных естественноисторических наук, которые имеют соприкосновение с обыденной жизнью и ее практическими требованиями», — словом, эта экспозиция должна была показать влияние науки на практику. Экспонаты выставки сопровождались обильным этикетажем, устными пояснениями и иллюстративным материалом.

Выставку приурочили к празднованию 200-летия со дня рождения Петра I, что помогло в привлечении пожертвований на постройку зданий и оборудование экспозиции. Выставка, устроенная «частным обществом», и сооружалась на пожертвования отдельных лиц; однако некоторые отделы были созданы на средства соответствующих министерств. Связь выставки с юбилеем вынуждала устроителей включить в ее состав исторический и военный отделы. Все это нарушило стройность программы, посвященной прикладному естествознанию и технике. Юбилейный характер выставки обусловил то, что почетным председателем выставки оказался наследник, покровителями Севастопольского и Морского отделов были великие князья, а в Комитет выставки вошли министры.

Однако членами Комитета выставки и председателями ее отделов были видные ученые, что обеспечивало солидное научное руководство. Круг учреждений и лиц, привлеченных к устройству выставки из разных слоев общества, был очень велик. Впервые Комитет выставки так широко привлекал общественность. Одновременно с выставочным комитетом работала комиссия по устройству будущего Политехнического музея (названного первоначально Московским музеем прикладных знаний).

Выставку разместили в павильонах, возведенных в Кремлевских садах и в экзерцирксгаузе (Манеж на Моховой ул.), а также на набережной Москвы-реки, между Каменным и Москворецким мостами. Впервые такая обширная территория предоставлялась выставке, и впервые выставка, устроенная научным обществом, имела такие большие масштабы.

Выставка была торжественно открыта в срок в нескольких десятках павильонов. Вход на нее был с Воскресенской площади (ныне площадь Революции). В первом Кремлевском саду наряду с естественнонаучными отделами находились туркестанский и кавказский отделы (эти два региональных отдела выпадали из общей структуры выставки). Фасад туркестанского отдела представлял собой копию с одного из старинных памятников архитектуры Самарканда и привлекал всеобщее внимание. В этом отделе были воспроизведены базарная площадь с группами манекенов, изображающих местное население, чайная, цирюльня, харчевня, лавка, а также комната узбекского жилого дома. Перед входом в отдел была поставлена киргизская кибитка с девятью манекенами в костюмах и с предметами быта. В почтовом отделе выделялись группы, изображавшие доставку сибирской почты на собаках и архангельской — на оленях. В кустарном и сельскохозяйственном отделах также экспонировались отдельные манекены и группы их.

По образцу Всероссийской этнографической выставки 1867 г. в этнографических экспозициях Политехнической выставки вообще широко экспонировались группы манекенов в национальных костюмах. Политехническая выставка имела громадный успех и большой резонанс в общественной и культурной жизни страны[5], хотя современники и отмечали в вы-

ставке ряд недостатков, а некоторые сторонники привычных мануфактурных выставок даже считали ее неудачной. Новый тип выставки, осуществленный передовыми учеными Московского университета и бывший как бы прообразом научно-просветительного музея, стал важным этапом в создании выставок и учреждений в обеих столицах [6] и провинции.

Из провинциальных ученых обществ наиболее значительным по научно-просветительной деятельности было Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) в Екатеринбурге (Свердловске), основанное в 1870 г., и Пермская комиссия при нем. Оно занялось сбором коллекций и выпуском «Трудов» (на русском и французском языках), составило довольно обширную библиотеку путем обмена изданиями; однако скудость средств не позволяла создать постоянный музей. Пример создания Московским обществом любителей естествознания новых музеев на основе выставок побудил Уральское общество любителей естествознания заняться устройством научной выставки с целью создания в дальнейшем местного музея (естественноисторического и этнографического). Предполагалось показать на выставке не только Приуральский край, но и Сибирь; однако проект чисто научной выставки не встретил достаточной поддержки. Поэтому решено было устроить «научно-промышленную выставку», которая дала бы более полное представление о крае и позволила бы привлечь больше средств от земства, города, правительственных учреждений и частных лиц. На этой выставке должны были получить отражение развитие промышленности в крае, его экономическое положение и уровень культуры.

Проект устройства Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге был обсужден на общем собрании УОЛЕ 21 апреля 1884 г., а 2 сентября того же года Общество обратилось с «циркуляром» к своим членам, сообщая о предполагаемой выставке и ее задачах. Выставка должна была «представить верную картину всего, что до сих пор сделано по части научного исследования природных богатств Урала и прилегающих сибирских губерний, а также и настоящего состояния заводской, фабричной и кустарной промышленности, земледелия и скотоводства в этом крае» [7].

Ссылаясь на примеры создания постоянных музеев на основе выставок в Москве, организаторы подчеркивали, что «устройство такого рода музеев прикладных знаний было бы как нельзя более своевременным и уместным в таком важном промышленном и торговом центре, как Екатеринбург» [8]. По окончании выставки главное здание ее предназначалось «для научного и промышленного музея, основанием которого послужили бы коллекции Уральского общества любителей естествознания, коллекции местного отделения Технического общества и предметы, которые пожертвуют экспоненты и другие лица» [9].

В примерной программе выставки намечались следующие отделы: а) естественноисторических коллекций и трудов, посвященных изучению природы Сибири и Урала; б) этнографический, антропологический и археологический отдел (предметы домашнего быта и жизни народов Сибири и Урала с участием их представителей); в) географический отдел; г) собственно горный отдел (предметы ископаемого царства, имеющие практическое значение, — минералы, руды, каменный уголь и пр.); д) металлургический отдел (предметы выплавки и обработки металлов); е) сельскохозяйственный; ж) кустарных промыслов; з) фабричной деятельности; и) «ввозный — произведений прочих частей России и заграницы, ввозимых в пределы Сибири и ею потребляемых». Каждый отдел разделялся на классы.

Средства для подготовки выставки поступали от разных лиц и учреждений, так как министерство финансов сообщило министерству народного просвещения, что устраиваемая частным Обществом выставка по примеру других выставок должна быть осуществлена без пособия от правительства [10].

После утверждения программы и положения о выставке в конце 1886 г. УОЛЕ и Комитет по устройству выставки опубликовали обращение к экспонентам с просьбой присылать на выставку коллекции, модели, рисунки, книги и т. п., «относящиеся до научного и торгово-промышленного исследования Сибири и Урала» [11].

Экспонентов выставки призывали к созданию постоянного научного промышленного музея, который дал бы верную картину промышленности и культуры Урала и смежных с ним районов Сибири.

Поощрялась присылка не только коллекций, но и отдельных предметов, так как эти предметы, «доставленные с разных сторон, могут быть так сгруппированы на выставке, что из них составятся любопытные коллекции, которые могут привлечь внимание местных жителей и направить их деятельность», причем «это особенно относится к предметам, находящимся в данной местности во всеобщем употреблении, поэтому считающимся у туземных жителей настолько обыденными, что на них не стоит обращать внимания, между тем как для посторонних они представляют большой интерес» [12]. Здесь мы видим попытку комплектования будущих этнографических и других коллекций не «раритетами», а рядовыми предметами современного быта.

Комитет выставки направил обращение к ученым обществам и учреждениям (в том числе к ряду музеев), земским управам, начальникам губерний, отдельным лицам с приглашением участвовать в выставке и предоставить коллекции по ее программе.

Земские управы и экспоненты кустарного отдела получили от Комитета УОЛЕ, кроме того, указания для составления коллекций кустарных изделий [13]. В эти коллекции предлагалось включать: 1) материалы (сырье); 2) орудия производства (в натуральную величину или в модели); 3) предметы, характеризующие процесс производства; 4) готовые изделия; 5) изображения (рисунки, модели) мастерских с их обстановкой; 6) карты распространения производства в уездах; 7) статистику промысла (количество селений, дворов, занятых промыслом; численность занятых лиц в каждом селении — мужчин, женщин, малолетних; круглогодичность или сезонность производства; виды изделий; доход от них и т. п.).

Специальный листок для сведений о крестьянских промыслах включал вопросы о заказчиках и условиях заказа, о продаже продукции и о ценах на нее, о доходности промысла, о времени существования промысла, о наличии наемных рабочих и мастерских и т. п.

Забегая вперед, отметим, что в обзоре выставки в журнале «Нива» [14] обращалось внимание на «не совсем удачное и несколько бестолковое устройство этого (кустарного. — *А. М.*) отдела», так как «кустарные произведения, служа первой ступенью к фабричному производству, не могут быть строго отделены от производства заводского». В каталоге выставки в кустарный отдел, действительно, включен ряд производств с десятками наемных рабочих.

В многочисленных откликах с мест содержалось описание быта отдельных народов Приуралья и предлагалось решение вопросов транспортировки на выставку жилищ с обстановкой и приглашения представителей этих народов. Откликнулись не только губернские учреждения, но и отдельные коллекционеры и другие частные лица. Так, известный в истории этнографической науки минусинский предприниматель Г. П. Сафьянов представил на выставку собранные им этнографические коллекции по урянхайцам (тувинцам) — юрту с бытовыми предметами и костюмами. По его же рекомендации основатель минусинского музея археолог Н. М. Мартьянов был привлечен УОЛЕ к сбору этнографического материала по Минусинскому краю. От действительного члена Казанского общества естествоиспытателей И. Я. Кривощекова поступила программа сбора этнографического материала по коми-пермякам.

В выставке активно участвовали ОЛЕАЭ, а также казанские ученые общества и университет, предоставившие археологические и этнографиче-

скпе коллекции для научного отдела выставки (будущего музея) [15].

Предполагалось, что Сибирь будет заинтересована участвовать в организации выставки в Екатеринбурге, находящемся на главном пути с Урала в Сибирь. УОЛЕ ожидало помощи также от музеев Русского географического общества в Иркутске и Томске путем обмена дублетными коллекциями. Однако сибиряки уклонились от широкого участия в выставке; даже сибирская пресса отнеслась холодно к «затее» Общества любителей естествознания устроить выставку не в сибирском городе. Кроме того, огромные сибирские расстояния и трудности в доставке экспонатов требовали значительного времени, а сроки были жесткие. Сибирский отдел на выставке оказался бедным: были представлены немногие образцы руд и горных пород, сукна двух фабрик, кожевенные изделия, меха, поместившиеся в одной витрине, образцы муки, водки, несколько археологических и этнографических предметов. Экспоненты из сибирских губерний составляли только 19% всего числа участников; посетили же выставку только 750 сибиряков. По мнению Д. Н. Анучина, «екатеринбургская выставка напрасно титуловалась именем «Сибирско-Уральской» [16].

Приуралье приняло живейшее участие в выставке (2955 экспонентов из приуральских губерний составляли 75% всего числа экспонентов). Существенную поддержку оказало Казанское общество естествоиспытателей, прислашее археологические и антропологические коллекции, а также Геологический комитет, предоставивший коллекцию уральских ископаемых. Академия художеств направила в Екатеринбург для выставки картины. Приняли также участие Академия наук, Русское географическое общество, статистические комитеты и др. Общество Тюменской железной дороги отвело в центре города обширную территорию (б. Монетного двора) с каменными зданиями. Горное ведомство, кроме того, предоставило для выставки и будущего музея каменный дом. Были также построены павильоны по обе стороны р. Исети, через которую был перекинут мост и устроен каскад. Территория выставки была озеленена [17]. Сибирско-Уральская выставка была открыта с 14 июня по 15 сентября 1887 г.

Бюджет выставки был ограничен — всего 77 179 рублей, причем перед открытием оказался дефицит в 15 тыс. рублей, покрытый позже входной платой на выставку [18]. Пермское земство, располагавшее большими средствами, оказало значительную материальную помощь в организации кустарного отдела и в получении этнографических коллекций и фотографий. Местные же капиталисты очень умеренно поддержали выставку денежными пожертвованиями.

Газета «Екатеринбургская неделя» систематически посвящала в 1886—1887 гг. специальные выпуски подготовке, а затем проведению Сибирско-Уральской выставки [19].

Общее архитектурное оформление выставки носило отпечаток влияния архитектуры всероссийских выставок конца XIX в., для которых сооружались павильоны в том же «ложнорусском стиле», какой сказывался в этот период и в архитектуре новых музейных зданий: Политехнического и Исторического музеев в Москве [20].

В экспозиции (за исключением научного отдела) был применен принятый ранее на мануфактурных выставках прием «фирменного» показа предметов — на громоздких стендах, с обязательным наименованием фирмы или завода; однако и тогда имелись попытки ввести данные о размерах продукции предприятия. Устроители стремились к наглядности в экспозиционных приемах (например, посредством «объемных» диаграмм — шаров, кубов, пирамид и т. п.).

Научный отдел выставки помещался в особом здании (предназначенном для будущего музея); его составляли разделы естественноисторический, географический, антрополого-этнографический и археологический.

В географическом отделе были выставлены книги по географии и истории Сибири и Урала, карты, составленные различными министерствами и

другими учреждениями, статистические издания, таблицы и диаграммы (демографические, метеорологические и др.).

Из антропологических материалов было выставлено лишь несколько скелетов и серий черепов, принадлежавших русским, а также представителям финских и монгольских народов. Этнография же края была представлена довольно широко. Имелась этнографическая карта края, составленная при содействии земских врачей и учителей, манекены в одежде остяков (хантов), костюмы пермяков (коми-пермяков), черемисов (марийцев), вогулов (манси), самоедов (ненцев), якутов, тунгусов (эвенков), бурят и др.; были помещены фотоснимки пермяков, вогулов, а также жанровых сцен из их быта, отдельных предметов. На особом дворе были размещены ненецкие и хантские чумы с предметами быта, кибитки башкир и киргизов (казахов). Здесь же находились несколько приехавших марийцев, хантов и коми-пермяков, сопровождавших экспонаты. Киргизы и башкиры приехали с семьями и занимались продажей кумыса. Такой «живой показ» привлекал большое внимание посетителей выставки и павильона, посвященного народам Урала и Сибири. Наименее полно было представлено русское население.

По археологии были выставлены поступившие от Общества естествоиспытателей при Казанском университете и отдельных казанских археологов коллекции по каменному веку, медные и бронзовые предметы из Пермской и Вятской губерний. Особенное внимание привлекала ценная коллекция «чудских древностей» Ф. А. Теплоухова, получившего за нее золотую медаль ОЛЕАЭ. Золотой медалью ОЛЕАЭ был награжден также Г. П. Сафьянов за коллекцию по этнографии сойотов (тувинцев). Золотые медали УОЛЕ получил ряд учреждений и лиц[21]. Многие экспоненты были удостоены больших и малых серебряных медалей ОЛЕАЭ и УОЛЕ за антропологические и археологические коллекции, а также за экспонаты кустарного отдела.

Д. Н. Анучин, посетивший Екатеринбург, в опубликованном им научном обзоре[22] назвал Сибирско-Уральскую выставку «выдающимся явлением нашей общественной и научной деятельности» и подчеркнул, что она состоялась по инициативе ученого Общества и была не просто промышленной, а научно-промышленной.

Д. Н. Анучин отмечал, что выставка была задумана при неблагоприятных условиях, с бедными средствами и силами и являлась первой попыткой подобного рода на Урале. Положительным результатом он считал образование из многочисленных ее коллекций нового музея. Основное значение выставки заключалось, по его мнению, в том, что она «открыла случай ознакомиться наглядно с произведениями Приуральского края и Сибири, с их природой и промышленностью, их успехами за последнее время и их темными сторонами, нуждающимися в свете и в разработке».

Выставка в течение трех месяцев представляла собой, писал Д. Н. Анучин, «главный умственный центр всего края, где можно было встретить большинство местных жителей». Самое идею устройства выставки он оценил как «смелый почин», а ее осуществление — как «удачный опыт». Выставка была, по его словам, «одним из первых общественных предприятий, внесших жизнь и движение в Приуралье... заставивших оглянуться на себя и оценить лучше свое хорошее и свое дурное, свои богатства и свою бедность».

Он высказал сожаление о том, что открытию выставки не сопутствовал какой-либо научный или промышленный съезд и не было сделано никакой попытки «совместного обсуждения каких-либо вопросов науки или промышленности по отношению к краю». Между тем Комитет выставки ставил своевременно вопрос о промышленном съезде, но безрезультатно.

Каталог выставки, изданный с некоторым запозданием, был, по мнению Анучина, слишком кратким: для многих посетителей без надлежащего объяснения коллекции оставались непонятными. Выставки устраиваются, писал он, «для массы публики, которой мало показать, а надобно рассказать и объяснить». Он считал, что УОЛЕ следовало бы перенять

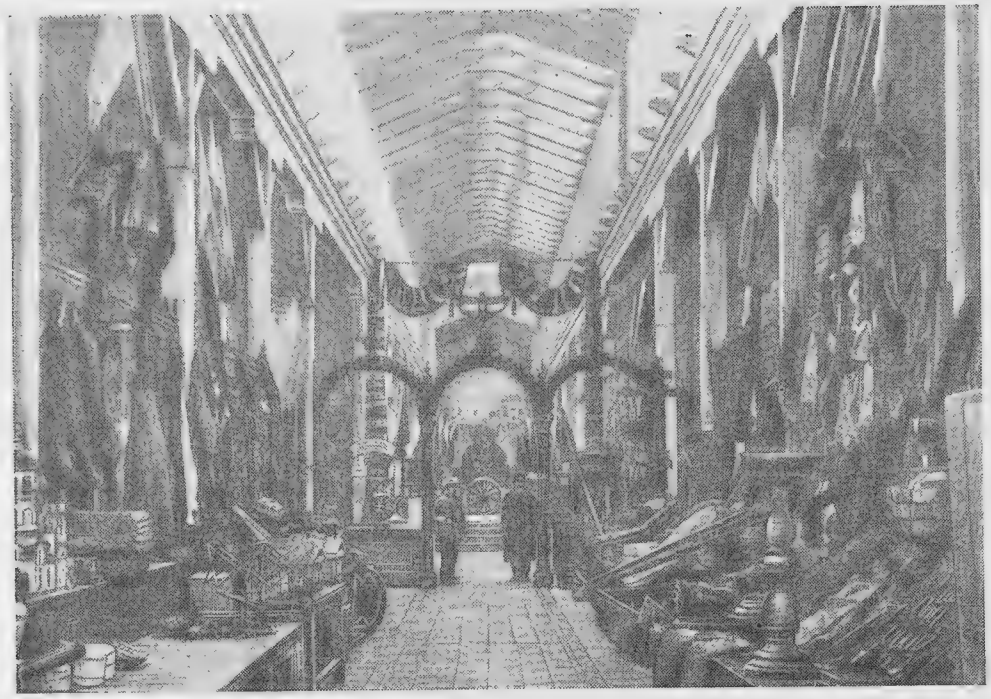


Рис. 1. Кустарный отдел Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в г. Екатеринбурге

удачный опыт Политехнической выставки 1872 г. в отношении «общедоступных» объяснений коллекций, пригласив для этого знающих лиц; отсутствие хороших устных объяснений было одним из главных недостатков Сибирско-Уральской выставки. Следовало бы также дать больше карт, таблиц, брошюр и прочих пояснительных материалов; особенно же «полезно было бы составить серии моделей, планов, чертежей, что придало бы выставке поучительный и образовательный характер», а впоследствии было бы уместным и в предполагаемом постоянном музее.

Посещение выставки Д. Н. Анучиным, консультации, полученные в Москве в ОЛЕАЭ при подготовке выставки членом УОЛЕ Н. А. Русских, служат лишним свидетельством прочной связи УОЛЕ с Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, а также с научными обществами в Казани и Петербурге. Членам УОЛЕ были хорошо знакомы программы и экспозиции выставок ОЛЕАЭ, которым они стремились следовать [23].

Устроители выставки в заключительной записке отчета отмечали большое значение Научного отдела выставки, который привлек внимание ученых страны, установил живую связь их с местным Обществом и дал толчок к сбору новых материалов для изучения Приуралья и к их обработке. Все имеющие научные интерес предметы и коллекции выставки должны были войти в число экспонатов будущего музея Общества, «который будет иметь немалое значение в ряду образовательных средств края». Устроители выставки считали, что Кустарный отдел выявил необходимость принятия мер для подъема местной кустарной промышленности. Высказывались пожелания о создании на Урале «школы рисования и лепления с прикладным при ней художественным музеем с целью образования вкуса местных ремесленников» [24], видимо, по примеру Кустарного музея, открытого Московским земством после Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 г. (рис. 1).

После закрытия Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в музей Уральского общества любителей естествознания поступили мно-

гие коллекции с выставки почти по всем отраслям естественных наук, включая отнесенные к ним же этнографию и археологию. Кроме того, музей получил собственное здание [25].

В музей также поступили предметы, «могущие в будущем служить основанием для составления коллекций промышленного музея или промышленного отдела выставки»; хотя предметы эти и были подобраны по группам, ни одна из них не была полной, «могущей составить коллекцию, почему в таком виде предметы эти пока не представляют особого интереса», сообщалось в отчете музея за 1888 г.[26]

В протоколе УОЛЕ от 14 июня 1888 г. содержится постановление о передаче кустарных изделий Пермскому земству. В дальнейшем они вошли в Пермский научно-промышленный музей, а музей УОЛЕ вплоть до 1917 г. оставался естественнонаучным (включая этнографический, антропологический и археологический отделы).

* * *

Вскоре после Сибирско-Уральской выставки 1887 г. в Перми была образована Пермская комиссия УОЛЕ, первое заседание которой состоялось 15 ноября 1890 г. Организация Сибирско-Уральской выставки 1887 г. и создание музея на ее основе оказали влияние и на просветительную деятельность Пермской комиссии УОЛЕ. 13 марта 1892 г. Пермская комиссия вынесла постановление о создании Пермского музея и начала сбор коллекций совместно с Пермской архивной комиссией, но только в 1897 г. она одобрила устав музея [27].

23 января 1900 г. состоялось учредительное собрание для утверждения проекта устава Пермского научного музея, направленного затем губернатору для дальнейшего утверждения министром земледелия и государственных имуществ; 27 марта 1901 г. был утвержден устав Пермского научно-промышленного музея (естественноисторического, сельскохозяйственного и прикладных знаний). Ему были переданы библиотека и коллекции Пермской комиссии УОЛЕ и Архивной комиссии. В первоначальном проекте устава музей предполагалось назвать только научным; слово «промышленный» было добавлено в титул музея при утверждении устава министерством, в ведомстве которого состоял музей [28].

Устав Пермского научного музея предусматривал собирание коллекций как материала «для всестороннего изучения природы, истории и жизни преимущественно Пермского края» и ознакомление посетителей «с работами по изучению коллекций и с выводами соответствующих им наук вообще» [29]. Музей получал право организовывать объяснения коллекций, чтение публичных лекций, научные заседания, научно-образовательные выставки и экскурсии, издавать свои «Труды».

По образцу филиалов и музеев РГО членами музея являлись лица, принявшие участие в его организации или в работе над коллекциями, в чтении лекций. Члены музея подразделялись на несколько категорий: члены-учредители, почетные члены, пожизненные и действительные члены и члены-соревнователи. Общие собрания членов музея созывались для слушания докладов и принятия решений по важнейшим и принципиальным вопросам, относящимся к организации и развитию музея и деятельности его Совета; для избрания членов музея и Совета; для рассмотрения и утверждения годовых отчетов и смет музея.

В организации музея большую роль сыграл первый председатель Пермской комиссии УОЛЕ Н. Н. Новокрещеных (с 1890 по 1898 г.), а также сменивший его врач П. Н. Серебренников (с 1899 по 1909 г.). Среди деятелей музея, особенно активно работавших по его устройству, выделялись также секретарь С. И. Сергеев и хранитель музея (с 1899 по 1905 г.) И. Г. Остроумов. Почетным председателем (по уставу музея) состоял пермский губернатор, но среди почетных членов Совета музея было несколько видных ученых. В 1913 г. насчитывалось 150 членов музея.

Музей получил от города трехэтажное здание (по пяти комнат в двух нижних этажах и три комнаты в верхнем) [30]. В музее были оборудованы

два больших экспозиционных зала (постепенно было создано 18 отделов), помещение для библиотеки (содержала около восьми тысяч томов, с отделом Пермского края), имелась портретная галерея выдающихся уроженцев и деятелей Пермского края. По составу отделов музей был по сути краеведческим. Наличие исторических и художественных коллекций нарушало его первоначальный профиль как музея прикладных знаний, местного хозяйства и природных ресурсов края.

В своих обращениях в печати музей усиленно призывал частных лиц к передаче научных, образовательных или промышленных коллекций если не в собственность музея, то хотя бы во временное пользование, чтобы ознакомить с ними всех интересующихся. Шесть отделов по естественной истории, четыре исторических, сельскохозяйственный совместно с лесным, кустарный, горнопромышленный, картографический, художественные — все вместе содержали 13 614 предметов. Шестнадцатым отделом считался Подвижной музей учебных пособий, под которым подразумевались передвижные выставки, и педагогическая библиотека при нем; это являлось новшеством, активной формой распространения знаний. Представляет интерес изданный краткий указатель собраний музея, раздававшийся бесплатно крестьянам-посетителям и снабженный обращением к ним с просьбой приносить все «чудное», необычное, чего нельзя встретить в обиходе нынешней жизни, что может быть найдено при распашке полей, рытье колодцев и пр. Работники музея систематически проводили собирание коллекций, выезжали в «экскурсии» вместе с активом «добровольных сотрудников». Участвовал музей и во всероссийских съездах (например, в X и XI съездах русских естествоиспытателей и врачей в Киеве и Петербурге в 1898 и 1901 г.).

В отчете о 25-летии музея П. Н. Серебренников указывал: в первые годы существования музея «пришлось преодолеть немало трудностей, и надо было иметь много веры в дело, употребить массу усилий, чтобы сделать его научным жизненным учреждением. Приходилось сталкиваться с гонением на музей и с равнодушием общества к его задачам. Но упорство и настойчивость работников первого призыва создали к нему более благожелательное отношение со стороны общественных учреждений — как городских, так и земских» [31].

Действительно, первоначально против музея и его устава местные газеты — «Пермские губернские ведомости» и «Пермский край» — подняли враждебную кампанию, возражая против связи музея с ученым Обществом, извращая его цели и т. п.[32] Высказывалось даже предположение, что Пермский музей будет создан за счет коллекций екатеринбургского. В газетах говорилось о «желании любителей естествознания сделаться любителями всех наук вообще», о «безбрежности программы музея», о широковещательных темах лекций, о желательности поставить во главе музея техников и инженеров разных специальностей; осуждалось то, что доклады собирают сотни слушателей, чего, дескать, не бывает в серьезных ученых обществах, и т. д.

Все же губернское и уездное земство, городское самоуправление, губернский комитет попечительства о народной трезвости, департамент земледелия оказывали музею небольшую материальную помощь, субсидируя его работу. Частные лица также поддерживали музей как материально, так и передачей коллекций. Бюджет музея был очень невелик: в 1914 г. он составлял лишь около 4 тыс. рублей в год. За 25 лет (с 1890 по 1915 г.) музей имел примерно 50 тыс. рублей денежных поступлений. Несмотря на недостаток материальных средств, научная общественность и «любители», объединенные музеем, проводили на его базе значительную научно-просветительную работу. Для учащихся по воскресеньям давались специальные «объяснения» экспозиции основного и Подвижного музеев, при этом демонстрировались и опыты. Вход в музей был бесплатным.

Посещаемость музея можно считать значительной для дореволюционных лет, особенно если учесть, что население г. Перми было невелико. Многие посетители музея были приезжими из уездов Пермской губернии

и даже из других губерний. Музей привлекал посетителей также докладами и лекциями, заседаниями различных обществ. В 1905 г. в музее были организованы публичные собрания и митинги. Члены съездов врачей, ветеринаров, слушатели учительских курсов также посещали музей.

В отдельные годы число посетителей доходило до 40 тыс. Среди них приезжих экскурсантов было в 1913 г. около 3,5 тыс. человек, объединенных в 156 групп; а с 1909 по 1915 г. — около 14 тыс., объединенных в 708 групп.

Научно-просветительная деятельность музея выражалась также в устройстве докладов и лекций. За 25 лет работы состоялось 419 публичных заседаний, на которых было сделано 537 сообщений, докладов и лекций. Музей соорудил специальную аудиторию для научно-популярных лекций и обращал большое внимание на создание общественного актива.

Большинство из 227 научных докладов (с 1890 по 1915 г.) было напечатано в «Записках» Пермской комиссии Уральского общества любителей естествознания. Четверть этих докладов была посвящена этнографии, географии, антропологии и археологии. Ф. А. Теплоухов докладывал о вещественных памятниках каменного и бронзового века, найденных в западной части Пермской губернии, о пермской «чуди» (с демонстрацией коллекций на выставке), о находках в пещерах Соликамского уезда, о «чудских костищах» и др.; П. А. Вологдин — о народных песнях Пермской губернии и об этнографии русского и коми-пермяцкого населения Пермской губернии (с демонстрацией предметов); В. В. Владимирский — о типичных формах киргизского хозяйства; Н. Н. Новокрещеных — о раскопках в Пермской губернии (с демонстрацией предметов); И. М. Воропай — о хантах и ненцах в низовьях Оби; И. Г. Остроумов — о музеях вообще и об истории создания Пермского музея и его коллекциях [33].

Большая посещаемость Пермского музея и сравнительно широкий разворот научно-просветительной деятельности и научных исследований в нем могут быть объяснены участием общественности в работе музея и тем, что он принадлежал научному обществу с демократическими тенденциями. Однако музей все время нуждался в средствах на расширение и содержание здания и на приобретение коллекций. Богатое пермское земство уделяло музею мало средств и даже противодействовало его созданию в первые годы его организации. Музей, хотя и продолжал носить название научно-промышленного, превращался постепенно в краеведческий, будучи занят преимущественно изучением Пермского края [34].

Устроители музея в отчетах утвердили свое кредо — каким должен быть музей. Они говорили о необходимости открытия и широкого распространения музеев и просветительных обществ при них: «Музей доступнее книги... музей должен дать максимум сведений в минимум времени!» [35].

В отчете за 1901 г. сообщалось, что «музей из коллекционера превратился в просветительное учреждение с постоянной аудиторией, где научные сообщения из случайных становятся более или менее постоянными» [36]. «Стремясь превратить музей из кунсткамеры в народный университет, где публика имела бы расположенные в научной системе не только пособия для своего самообразования, но также слышала бы научные доклады, рефераты по возможным отраслям знания, наше Общество все более и более превращает свой зал в общедоступную аудиторию» [37], — читаем мы в отчете музея за 1901 г.

Собирательская деятельность музея отставала от просветительной — фонды музея накапливались медленно, им уделялось меньше внимания, чем демонстрационным материалам Подвижного музея.

* * *

Под влиянием успехов московского Музея прикладных знаний и Музея Русского технического общества в Петербурге, Сибирско-Уральской выставки 1887 г., Музея УОЛЕ Казанское общество естествоиспытателей при Казанском университете, основанное в 1869 г., начало подготовку к организации в 1890 г. Научно-промышленной выставки в Казани [38].

Общество естествоиспытателей при Казанском университете в своих «Трудах» и докладах отводило место также антропологии, археологии и этнографии [39]. На протяжении двадцати лет (1869—1890) на его заседаниях делались сообщения по антропологии, основанные преимущественно на местном материале и тесно связанные с археологическими раскопками. Значительно меньше докладов посвящалось самой археологии. С сообщениями о поселениях и могилах каменного века около г. Казани и по р. Волге выступали профессора Н. Ф. Высоцкий и А. А. Штукенберг.

Обзор этнографических исследований в Казанской губернии сделал Л. Ф. Риттих; об экспедиции к манси и удмуртам сообщали И. В. Сорокин, Э. П. Островский, Н. М. Малиев. Часть докладов была опубликована в «Трудах» Общества.

В декабре 1887 г. президент Общества естествоиспытателей при Казанском университете проф. А. А. Штукенберг обратился к казанскому губернатору с просьбой ходатайствовать перед правительством о разрешении Обществу организовать в 1890 г. в Казани научно-промышленную выставку Волжско-Камского края «для ознакомления с естественными богатствами его и производительностью» [40]. На выставке предполагалось устроить отделы (геологический, почвенный, ботанический, зоологический, археологический, этнографический и антропологический, школьный, медико-санитарный, фабричный и заводской, кустарный, сельскохозяйственный и промышленный, среднеазиатский, сибирский и ввозный (из других губерний).

16 мая 1888 г. департамент полиции министерства внутренних дел сообщил казанскому губернатору, что к организации выставки «препятствий не встречается, но с тем, чтобы осуществление этой выставки обошлось без всякого правительственного пособия» [41].

После этого был образован Комитет по устройству выставки под председательством казанского городского головы С. В. Дьяченко. Почетным секретарем был назначен проф. Н. Ф. Высоцкий. В состав Комитета вошли представители Общества естествоиспытателей и других ученых обществ Казанской и других губерний, а также местного земства. Почетным членом Комитет избрал казанского губернатора Андреевского. Таким образом, к устройству выставки, видимо намеренно, были привлечены официальные лица. Тем не менее сама инициатива общественности не понравилась правительственным чиновникам столицы. Директор департамента полиции П. Н. Дурново запросил телеграммой, почему казанский губернатор не является председателем выставочного Комитета [42]. Губернатору пришлось самому разъяснять, что согласно положению о выставке, утвержденному министром внутренних дел, председатель Комитета избирался собранием Комитета, а на собрании был избран городской голова. Комитет тут же поспешил продемонстрировать свои верноподданнические чувства и возбудил ходатайство о том, чтобы выставка состоялась под покровительством наследника. Ходатайство было удовлетворено.

Казанский губернатор не бывал на заседаниях Комитета и не вмешивался в его дела, пока в конце 1889 г. не произошел инцидент, вызвавший секретное расследование. В Казани появился печатный циркуляр от Комитета по устройству Казанской научно-промышленной выставки о ее целях, адресованный председателям уездных земских собраний. Циркуляр был подписан председателем Комитета С. В. Дьяченко, председателем учебного отдела выставки проф. А. В. Васильевым и секретарем Н. Никифоровым. Напечатан циркуляр был в частной типографии Ильяшенко в Казани, как показало расследование, «без разрешения установленной цензуры», без даты и нумера. В секретном распоряжении чиновнику особых поручений о расследовании казанский губернатор писал: «... ныне оказалось, что означенного циркуляра от названного Комитета не исходило», — и взыскание направил против владельца типографии. Над А. В. Васильевым был установлен полицейский надзор. Нужно сказать, что проф. математики А. В. Васильев, один из организаторов выставки, был не только активным членом Общества естествоиспытателей, но и

прогрессивным земским деятелем в области устройства школ и воскресных курсов.

Губернатор предложил впредь все распоряжения Комитета выставки передавать специальному цензору [43] и его самого извещать о каждом из заседаний Комитета, чтобы он мог на них лично присутствовать.

Устроители выставки подчеркивали в своих программах несомненный научный и практический интерес будущей выставки для населения края, особенно «для торгово-промышленного класса, который получит возможность ознакомиться с наиболее усовершенствованной техникой и продуктами производства и рекламировать изделия наиболее прогрессивных фирм». Казанская выставка должна была «представить яркую картину восточной жизни в отношении направления развития ее производительных сил, осветив вместе с этим те своеобразные черты, которыми она отличается от европейской» [44].

Для выставки был составлен проспект, в котором была определена и структура выставки, в основном впоследствии осуществленная. Научно-образовательный и просветительный характер выставки подчеркивался тем, что на первое место был поставлен научный отдел с рядом отделений: почв, геологии, ботаники, зоологии, археологии, этнографии и антропологии. Затем следовали отделы фабрично-заводской с образцами мануфактур и торговли, сельскохозяйственный, промысловый, кустарный, медико-санитарный, школьный (народных училищ, ремесленных и земских школ), ввозный, среднеазиатский и сибирский.

В Положении о Казанской научно-промышленной выставке 1890 года произведений Волжско-Камского края и Востока России [45], утвержденном министром финансов 30 мая 1889 г., в состав отделов выставки входил не только среднеазиатский, но и казанский отдел, а также ремесленный и книго-типографский.

Однако на сохранившемся чертеже — генеральном плане выставки — и в каталоге нет среднеазиатского отдела, хотя имеются дополнительно появившиеся отделы: искусств (художественный), ремесленный, книготипографский и фотографический [46]. Каталог выставки называет все эти отделы, но, кроме того, выделяет как самостоятельное отделение астраханской промышленности и вятский кустарный отдел [47]. Таким образом, состав отделов выставки несколько видоизменился в процессе ее организации.

Выставка занимала территорию по улице Лядской, между 1-й и 2-й Театральной улицей (сохранился чертеж-план) [48]. Павильоны были расположены подковой, в центре которой помещался научный отдел. После осмотра девяти разделов посетители направлялись в примыкавший к основной территории сквер, в котором был размещен отдел сельского хозяйства (на открытом воздухе и в павильоне). Генеральный план выставки позволяет ознакомиться с распределением экспозиционных площадей (всего свыше 6 тыс. кв. м) между отделами; кроме того, территория сельскохозяйственного отдела — бульвар — занимала около 2 тыс. 700 кв. м.

На устройство выставки Комитет собрал около 20 тыс. руб. частью безвозвратно, частично заимообразно — от Казанской городской думы и земской управы; Общество естествоиспытателей смогло выделить только 500 рублей. Часть средств была возмещена продажей билетов.

В Положении о выставке (по примеру Политехнической и Сибирско-Уральской выставок) предусматривалось право Комитета на устройство на выставке научно-технических бесед, чтений, концертов и спектаклей и т. п., но «с разрешения казанского губернатора и с соблюдением существующих узаконений и правительственных распоряжений» [49]. Так же, как и на предшествующих выставках, устроенных обществами любителей естествознания, отвод места экспонентам и размещение предметов должны были производиться под наблюдением Комитета выставки на основании утвержденного им общего плана выставки. Устройство на выставке павильонов и витрин возлагалось на экспонентов и осуществлялось за их счет, но проекты павильонов и витрин подлежали одобрению Комитета.

В августе 1889 г. Комитет выставки обратился к казанскому губернатору с докладной запиской о желательности устроить на выставке «съезд сельских хозяев и представителей торгово-промышленного сословия, задачей которого служило бы выяснение причин существующего кризиса в Волжско-Камском крае и выработка мероприятий к устранению его» [50]. В записке говорилось, как о хорошо известном, что «Волжско-Камский и в особенности... Казанский край переживают тяжелый экономический кризис, следствием чего явились многие банкротства местных фирм, и вообще вся экономическая производительность губернии и всего Поволжья находится в состоянии полного застоя и упадка» [51], что ощущается всем населением края. Губернатор представил министру внутренних дел это ходатайство, была запрошена программа съезда, но разрешения на съезд не последовало. Не был разрешен министром просвещения и съезд по народному образованию, о чем просил Комитет выставки. Чтения для народных учителей и учительниц было «признано возможным допустить, но с тем, чтобы лекторы для этих чтений избирались директором народных училищ Казанской губернии из числа лиц, принадлежащих к составу официальных деятелей по начальному образованию, с утверждения Управления округом и с согласия казанского губернатора» [52]. Педагогические беседы на выставке допускались на тех же основаниях.

Таким образом, царское правительство всячески препятствовало тому, чтобы Казанская научно-промышленная выставка 1890 г. была использована для каких-либо мероприятий общественности Казани. Ведь прошло всего три года после известной сходки студентов Казанского университета! Выставка не получила и возможности превратиться в специальный музей, но ее коллекции влились частично в казанские музеи. Так, до сих пор в Естественнонаучном музее университета имеются чучела животных, демонстрировавшиеся на этой выставке. Сохранившиеся фотоснимки [53] позволяют судить о характере экспозиции. Выставка подготовила создание в Казани городского научно-промышленного музея, открытого в 1895 г. В нем были предусмотрены четыре отдела: естественноисторический, историко-этнографический, промышленный и учебный [54]. Кроме того, в музей входил как самостоятельная часть так называемый музей А. Ф. Лихачева (частное собрание, пожертвованное на условиях неделимости коллекции).

Промышленному отделу уделялось мало внимания, и он развивался слабо. В отчете за 1915 г. говорилось, что отдел находится в «зачаточном состоянии» [55] даже спустя двадцать лет после открытия музея. Другие же отделы продолжали расширяться.

* * *

Рассмотрение этнографической деятельности провинциальных естественнонаучных обществ на примере организации выставок и музеев УОЛЕ, его Пермской комиссии и казанского Общества естествоиспытателей приводит к выводу о демократизации научных обществ на местах, что выражалось и в расширении состава членов этих обществ. Рядовая интеллигенция активно участвовала в их деятельности (в том числе в этнографической, антропологической и археологической). В составе членов УОЛЕ и его Пермской комиссии значительное место занимали врачи, учителя, инженеры и т. п.[56] Свыше пятидесяти членов принадлежали к высшим чиновникам и капиталистам, которые участвовали только довольно крупными денежными взносами и другими пожертвованиями, так как были заинтересованы в промышленных выставках, объективно пропагандирующих капиталистическое развитие страны.

В составе экспонентов Сибирско-Уральской и Казанской научно-промышленных выставок, кроме ученых обществ и различных учреждений (земских управ, губернских статистических комитетов, архивных комиссий, музеев), особенно в кустарном отделе и отделе полеводства, было много крестьян, демонстрировавших свою продукцию, орудия производства и изобретения, представлявшие интерес для «промышленной этно-

графии». Широкое участие крестьян, «кустарей» и ремесленников на выставках и получение ими значительного числа различных «наград» также отражают демократический характер просветительной деятельности обществ естествознания на местах. Показательно, что все представители народов Приуралья и Сибири — участники выставки получили бронзовые медали УОЛЕ «За наглядное представление быта народности».

Установка на распространение естественноисторических знаний (включая этнографию, антропологию, археологию) в деятельности УОЛЕ, его Пермской комиссии и казанского университетского Общества естествоиспытателей проявлялась, как уже указывалось, в первую очередь в организации выставок, а затем и музеев на основе этих выставок.

Просветительное назначение выставок и музеев Приуралья и Поволжья соответствовало передовым тенденциям музейно-выставочного дела, проводившимся в жизнь ОЛЕАЭ в Москве на Всероссийской этнографической выставке и Политехнической, особенно в Политехническом музее, а также некоторыми музеями в Петербурге (Музей прикладных знаний, Сельскохозяйственный, Военно-педагогический). Новые выставки и музеи Приуралья и Поволжья помогали в изучении природных ресурсов края и его населения, причем для них была характерна комплексность изучения местного края в антропологическом, этнографическом и археологическом отношениях. Для распространения естественнонаучных знаний среди широких кругов населения в новых музеях организовывались лекции, воскресные чтения, объяснения коллекций.

Экспонаты по этнографии, антропологии и археологии, поступившие на Сибирско-Уральскую и Казанскую научно-промышленные выставки и в Пермский музей, состояли из специально подобранных коллекций и из отдельных предметов. Эти поступления составили впоследствии основу фондов музеев и систематически пополнялись посредством «экскурсий»-экспедиций.

Каталоги выставок являются источником для этнографического изучения Приуралья и Поволжья конца XIX в., несмотря на неполноту представленных экспонатов и их описаний. Они дают ценный материал по крестьянскому хозяйству русского населения, свидетельствуя о дифференциации деревни, об отходничестве, кустарных промыслах и выделении среди кустарей владельцев мастерских, где применялся наемный труд, о сбыте изделий через скупщиков, говорят о росте капиталистических отношений в приуральской и поволжской деревне.

Итак, этнографическая научно-просветительная деятельность естественнонаучных обществ Приуралья и Поволжья проводилась в духе прогрессивных, демократических просветительных установок, выработанных и осуществлявшихся ОЛЕАЭ в Москве.

Как и ОЛЕАЭ, вызывавшее первоначально недоверие части ученых-академистов и реакционной прессы,[57] общества естествознания на местах встречали недоброжелательное отношение со стороны реакционной части местной интеллигенции, официальной прессы и царской администрации. Участие передовых ученых-просветителей в этих научных обществах, новое направление их деятельности, порвавшее с академической замкнутостью и стремившееся к просвещению народа, не могло не вызвать противодействия со стороны царских властей, запрещавших съезды, лекции без цензуры на выставках и в музеях и опасавшихся объединения в научных обществах передовых элементов общественности.

Тем не менее комплектование коллекций и просветительная тенденция в музеях Екатеринбурга, Перми и Казани продолжались в течение всего дореволюционного периода их существования. Но только Октябрьская революция вдохнула новую жизнь в исследовательские и научно-просветительные начинания этих музеев.

В настоящее время Свердловский, Пермский музеи и музей Татарской АССР в Казани входят в число лучших музеев страны. Их деятельность, в которой видное место занимает этнографическая, получила широкие возможности развития.

[1] В 1863 г. — в Москве; в 1868 г. — в Петербурге; в 1869 г. — в Казани, Харькове, Киеве; в 1870 г. — в Новороссийском университете в Одессе; в 1882 г. — в Варшаве; в 1889 г. — в Томске, Юрьеве.

[2] *Липец Р. С., Макашина Т. С.* Роль Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в организации русской этнографической науки. — В кн.: ОИРЭФА. М.: Наука, 1965, вып. III. (ТИЭ. Нов. сер.; Т. 91), с. 39—60; *Иванова О. А.* Всероссийская этнографическая выставка 1867 года: (Ист. очерк). — В кн.: Материалы о работе и истории этнографических музеев и выставок. М.: НИИ культуры М-ва культуры РСФСР, 1972, с. 99—142.

[3] *Гладкова Т. Д.* Антропологический отдел Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. — В кн.: ОИРЭФА. М.: Изд-во АН СССР, 1963, вып. 2, с. 175—196. (ТИЭ. Нов. сер.; Т. 85); *Она же.* Антропологическая выставка 1879 г. и основание Музея антропологии. — САН, 1959, № 2, с. 127—137.

[4] Московский музей прикладных знаний. — Изв. ОЛЕАЭ, 1874, т. XV, с. 7—15.

[5] Изв. ОЛЕАЭ, 1874, т. XV; Вестник Европы, 1872, № 9; Отечественные записки, 1872, № 7, 8, 12; Московские ведомости, 1872, № 95, 129; Петербургские ведомости, 1872, № 130, 157, 173; Русские ведомости, 1872, № 7, 117—128; см. также: *Шагинян М.* Первая Всероссийская. М.: Мол. гвардия, 1966.

[6] Музей прикладных знаний был открыт также в Петербурге. См.: *Михайловская А. И.* Из истории промышленных музеев и выставок капиталистической России. — В кн.: Очерки истории музейного дела в СССР. М.: Сов. Россия, 1968, вып. 6, с. 312—379.

[7] ЦГИАЛ, ф. 733 — министерства народного просвещения, оп. 142, д. 889, 1884 г., л. 1.

[8] Там же, л. 1 об.

[9] Там же, л. 13 об. — Отношение департамента торговли от 23 мая 1885 г.

[10] Там же, л. 36.

[11] Там же.

[12] Там же.

[13] Там же, с. 66; Зап. УОЛЕ, Екатеринбург, 1887, т. X, вып. 1, с. 72.

[14] Нива, 1887, № 39, с. 966.

[15] Всего в устройстве выставки участвовали 3839 экспонентов; из них в создании кустарного отдела — 1675, учебного — 768, сельскохозяйственного — 364, археологического и этнографического — 323. Это соотношение отнюдь не отражало обширности и значения отделов; в устройстве горнозаводского отдела, например, участвовал всего 101 экспонент, тогда как этот отдел являлся на выставке главным.

[16] *Анучин Д. Н.* Научный обзор. Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка в Екатеринбурге и VII археологический съезд в Ярославле. — Русская мысль, 1887, № 11, с. 168.

[17] Нива, 1887. № 31, 36, 37, 39.

[18] ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 142, д. 889, л. 60.

[19] Зап. УОЛЕ, т. X.

[20] Выставку оформлял архитектор С. С. Козлов.

[21] Русское географическое общество и его Западносибирский филиал за коллекции по археологии и этнографии; Казанский университет и Казанское общество естествоиспытателей; Казанское общество археологии, истории и этнографии за археологические коллекции; Тобольский статистический комитет. Персонально были награждены профессор Казанского университета Н. Ф. Высоцкий за антропологические коллекции и В. И. Заусайлов за коллекции бронзового века, врач Ф. В. Поярков из г. Токмака Семиреченской области за дунганскую этнографическую коллекцию и за археологический материал.

[22] *Анучин Д. Н.* Научный обзор, с. 160—190. Обозрение научного и исторического отделов было напечатано также в «Историческом вестнике» (1887, № 10, с. 243—244). Между прочим, в нем упоминается рукопись Г. Панаева «Сборник пословиц, поговорок и песен, собранных в Пермском уезде».

[23] Зап. УОЛЕ, т. X, с. 200.

[24] ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 142, д. 889, л. 64 и об.

[25] Зап. УОЛЕ, 1889, т. XII, с. 74.

[26] Зап. УОЛЕ, т. X, вып. 1—4. Материалы о Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке. Екатеринбург, 1887, с. 275, 290.

[27] Краткая летопись Пермского научно-промышленного музея 15.XI 1890 г.—15.XI 1915 г. с отчетом за 1913—1914 гг. Пермь, 1916; Знаменательная страница в истории Пермского музея. — Пермская жизнь, 1915, № 25, прил.; Пермский научно-промышленный музей: Крат. указ. Пермь, 1907; Отчет Пермского научного музея за 1901 г. в связи с кратким очерком одиннадцатилетней (1890—1900 гг.) деятельности Пермской комиссии УОЛЕ. Пермь, 1902; *Вишневский Д. В.* Музей Пермского края и местное краеведение. — Казанский музейный вестник, 1922, № 2, с. 233—247.

[28] Отчет Пермского научно-промышленного музея за 1901 г., с. 3.

[29] Там же, с. 37.

[30] Первоначально коллекции Пермской комиссии УОЛЕ находились в помещении при театре.

[31] Знаменательная страница ...

[32] Пермские губернские ведомости, 1900, № 30, 197, 203, 204, 209, 221, 227, 232, 236 и др.; Пермский край, 1900, № 202, 203, 207, 217, 227, 229, 230, 235, 236, 246 (все статьи анонимные). Ссылки на газетные статьи взяты из Отчета Пермского научно-промышленного музея за 1901 г., с. 30.

[33] Краткая летопись..., с. 4.

[34] В музее сохранились вплоть до 1917 г. кустарный и горнопромышленный отделы. Имелся учебно-профессиональный отдел. Были созданы также отделы фотографии, медицины и гигиены.

[35] Краткая летопись..., с. 13.

[36] Отчет Пермского научно-промышленного музея за 1901 г., с. 26.

[37] Там же, с. 9.

[38] Первая сельскохозяйственная и

промышленная выставка в Казани была организована еще в 1879 г. В связи с открытием в 1886 г. в Казани ремесленной и сельскохозяйственной выставки на заседании Казанского отделения Русского технического общества обсуждался проект А. П. Орлова относительно устройства в Казани художественного промышленно-технического музея, в котором предполагался и историко-этнографический отдел. Проект не был осуществлен.

[39] Обзор деятельности Общества естествоиспытателей при Казанском университете за первое двадцатипятилетие его существования (1869—1894). Казань, 1894. В «Трудах» Общества напечатан каталог краниологических коллекций Казанского университета.

[40] Гос. архив Тат. АССР, ф. 1, оп. 3, д. 7607, л. 1.

[41] Там же, л. 4.

[42] Там же, л. 41.

[43] Там же, л. 48 об.

[44] Там же, с. 10.

[45] Там же, л. 31—35.

[46] Там же, л. 16.

[47] Каталог Казанской научно-промышленной выставки 1890 г. 2-е изд. Казань, 1890.

[48] Гос. архив Тат. АССР, д. 7607, л. 16.

[49] Там же, л. 33.

[50] Там же, л. 43.

[51] Там же.

[52] Там же, л. 68 об.

[53] Каталог Казанской научно-промышленной выставки 1890 г.

[54] Отчет Казанского городского научно-промышленного музея за 1895—1900 гг. Казань, 1901.

[55] Ежегодник Казанского музея. Казань, 1915; Казанский губернский музей за 25 лет: Юбил. сб. ст. Казань, 1923.

[56] Из 338 действительных членов и членов-корреспондентов УОЛЕ около половины составляла интеллигенция: 22 русских и иностранных ученых, 27 работников просвещения, 13 медиков, 10 юристов, 17 служащих (лесничих, статистиков, метеорологов и др.), 46 инженеров, 10 техников и механиков. Списки членов Пермской комиссии и казанского Общества естествоиспытателей не дают сведений об их социальной принадлежности.

[57] Один из организаторов Политехнической выставки 1872 г. А. П. Богданов излагал мнение противников выставки, что «временный систематический музей... есть дело чуть ли не вредное» и напоминал, что понадобилось почти два года упорных усилий, чтобы окончательно упрочить идею выставки (*Богданов А. П.* Московский музей прикладных знаний. — Изв. ОЛЕАЭ, 1874, т. XV, с. 14).

И. С. Гурвич

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1917—1919 гг. НА ЧУКОТКУ И КАМЧАТКУ

(Материалы Сакари Пяльси)

В конце XIX—начале XX в. в связи с промышленным освоением Сибири резко усилился интерес к этнографии коренных народностей этого обширного региона. Значительную роль в этот период стали играть крупные этнографические научные предприятия, комплексные экспедиции, такие, как Сибиряковская, организованная в целях изучения всех сторон жизни населения Якутии, Охотско-Камчатская, снаряженная Министерством финансов, Джезупова — русско-американская, предпринятая для исследования культурно-исторических связей между народами Северо-Восточной Азии и Северо-Западной Америки [1].

Научные экспедиции в отличие от большинства одиночек-любителей вели сбор материалов по определенной программе, публиковали не только фактические данные, но и солидные исследования.

Фундаментальные работы В. Л. Серошевского, В. Г. Богораза, В. И. Иохельсона, Л. Я. Штернберга раскрыли перед общественностью своеобразный мир северной жизни и быта народов Севера и Дальнего Востока, показали, что в Сибири сохраняется много чрезвычайно яркого архаического этнографического материала [2]. Эти труды не только способствовали углублению представлений о населении Северной Сибири, но и породили в свою очередь ряд проектов новых экспедиционных изысканий. Некоторые из них были осуществлены и обогатили науку ценным познавательным материалом. Среди таких экспедиционных исследований заслуживает внимания этнографическая экспедиция на Чукотку и Камчатку, осуществленная Сакари Пяльси в 1917—1919 гг.

Советский читатель знаком с его биографическими данными и направлением исследований по публикации известного финского этнографа академика К. Вилкуна [3]. Цель настоящей статьи заключается в более обстоятельном описании научного наследия С. Пяльси и некоторых обстоятельств его поездки и работы на Северо-Востоке Сибири.

Видимо, под влиянием ставших уже классическими работ В. Г. Богораза, В. И. Иохельсона Сакари Пяльси, молодой археолог, сотрудник Финно-Угорского краеведческого общества, зарекомендовавший себя солидными работами о неолитических орудиях Финляндии, предложил в 1916 г. Финскому обществу по изучению древностей смелый проект годичной экспедиции на побережье Ледовитого океана и Берингова моря к чукчам с тем, чтобы исследовать приемы примитивной техники. Изучение каменных и костяных орудий труда чукчей (он знал, что у них было уже и огнестрельное оружие), сопоставление их с археологическими материалами Финляндии, как он полагал, позволят реконструировать образ жизни древнего человека в приполярных областях и приблизят науку к пониманию генезиса всей человеческой культуры [4].

Проект Сакари Пяльси был одобрен как Финским обществом по изучению древностей, так и Российской Академией наук. В распоряжение исследователя были выделены значительные средства, собранные в Фин-

ляндии путем пожертвований, позволившие приобрести вполне удовлетворительное по тому времени оборудование, в том числе кинокамеру. В марте 1917 г. путешественник выехал во Владивосток, а затем на рыболовном судне — на Камчатку и Чукотку. На этом судне он посетил селения Олюторку, Провидение, Ыпдагай, Северный мыс (Мыс Дежнева), Наукан, Уэлен, а на обратном пути — ряд других поселков и Мариинский пост в устье Анадыря. Затем С. Пяльси выехал в Ном, опять вернулся на Чукотку, стационарно работал среди береговых чукчей и осенью возвратился во Владивосток. Так как курс денег, имевшихся в распоряжении С. Пяльси, в это время пал, то от плана зимовки на Чукотке ему пришлось отказаться. Однако, покинув Чукотку, оставшись без средств, исследователь все же не расстался с надеждой продолжить свою работу на Северо-Востоке. Поэтому он воспользовался представившейся возможностью вновь посетить Камчатку в качестве скупщика пушнины японской фирмы. Весной 1918 г. С. Пяльси выехал на Камчатку. Он зимовал в с. Ключевском, а в конце зимы—начале весны 1919 г. совершил длительную поездку к быстринским эвенам (ламутам). Затем он вернулся в Японию и морским путем, через Индию, Суэц, Лондон, возвратился в Финляндию.

Результаты экспедиции С. Пяльси изложил в ряде работ, рассчитанных на широкие круги читателей. В 1919 г. вышла из печати его книга «Из дневника путешественника на Север»[5], где он рассказал о своих странствиях; в 1920 г. появилась новая работа — «Арктические картины»[6], посвященная художественному творчеству народов Северо-Востока Сибири. Затем спустя девять лет вышла книга воспоминаний о поездке на Север[7].

Эти работы, основанные на полевых материалах, собранных автором (к сожалению, сами дневники не опубликованы и пока не разысканы), представляют значительный интерес для этнографов-сибиреведов.

Так как книги С. Пяльси были опубликованы только на финском языке и, кроме того, автор придал им популярный, беллетристический характер, они не привлекли к себе должного внимания исследователей Сибири[8]. К тому же после своей экспедиции и издания упомянутых работ автор не возвращался к сибирской тематике. С 1938 по 1946 г. он возглавлял доисторический отдел Национального музея Финляндии. С. Пяльси известен и как писатель. В 1962 г. он получил звание профессора. Умер исследователь в 1965 г.

Несмотря на то что этнографическая экспедиция С. Пяльси на Чукотку и Камчатку была связана со значительными трудностями и исследователю не удалось провести длительные стационарные наблюдения, как он первоначально намечал, поездка дала ценные результаты.

Реальная действительность разбила надежды исследователя изучить у чукчей примитивную технику каменного века. И береговые, оседлые чукчи, и оленные, кочевые, давно уже пользовались огнестрельным оружием. Ножи, топоры, скобели, сверла, напильники они приобретали у русских и американских торговцев. Даже наконечники гарпунов из моржового клыка, всевозможные поделки из рога изготовлялись самими чукчами с помощью железных орудий.

Закупка экспонатов, ознакомление с бытом береговых чукчей и азиатских эскимосов позволили пытливому, наблюдательному ученому поставить перед собой иную исследовательскую задачу. Заинтересовавшись чукотско-эскимосской резьбой по моржовой кости и гравировкой, С. Пяльси занялся изучением своеобразного художественного творчества коренных народностей Чукотки и Камчатки (рис. 1). Не ограничиваясь сбором соответствующего материала, он решил опытным путем исследовать художественные способности отдельных народностей Крайнего Северо-Востока Азии.

Своих информаторов, часть которых была уже известными резчиками, он просил сделать карандашные рисунки, затем расспрашивал их, записывал у них пояснения к изображенным сценам или предметам, в ряде

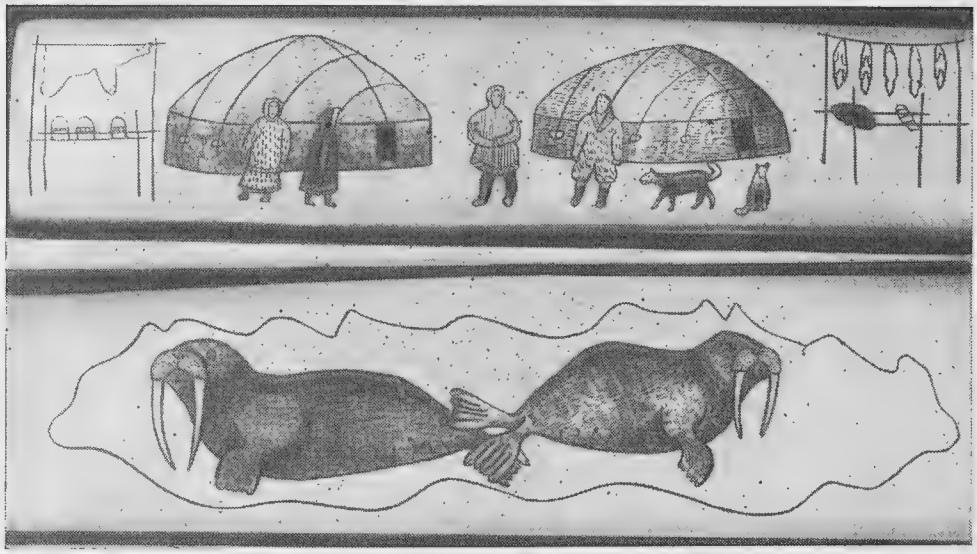


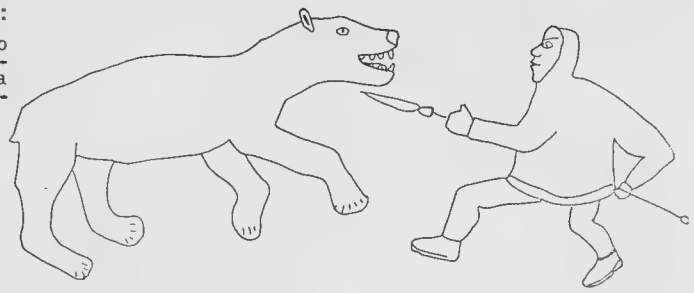
Рис. 1. Гравировка на клыке мастера Карлайрыгина

случаев наблюдал за художниками в процессе творчества, хронометрировал их работу. В результате было получено более тысячи изображений. Часть этой коллекции, состоящей из двухсот рисунков, сохранилась (Финский национальный музей — КК133). Из нее опубликовано и прокомментировано самим исследователем около пятидесяти рисунков (рис. 2, *а*, *б*).

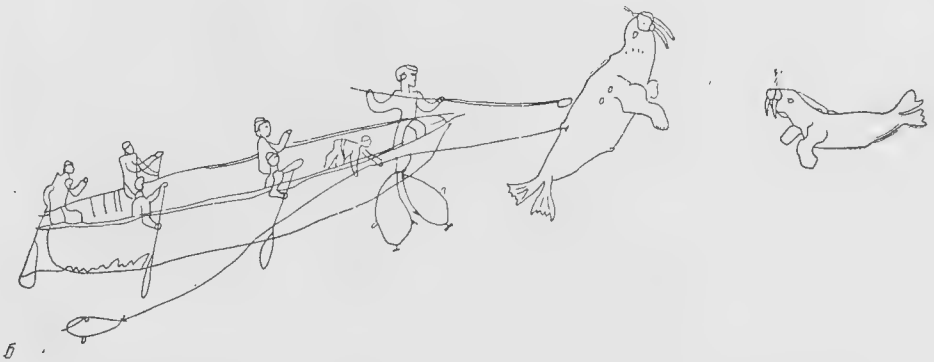
Следует сказать, что С. Пяльси не был пионером в области сбора чукотских карандашных рисунков. Еще в 1913 г. В. Г. Богораз опубликовал статью на эту тему с приложением 24 рисуночных таблиц. «Во время моих этнографических исследований, — писал он, — среди вышеупомянутых племен (имеются в виду чукчи, коряки и азиатские эскимосы. — *И. Г.*) в 1899—1900 годах я старался использовать их художественные наклонности для более наглядного уяснения их религиозных и других воззрений. Для этой цели я побуждал различных туземцев сделать для меня рисунки или, точнее говоря, графические иллюстрации к сказкам, легендам, описанию обрядов, также и житейским и бытовым сценам и случаям» [9]. По существу В. Г. Богораз подошел к рисункам чукчей не как к образцам художественных произведений (он отметил лишь значительные художественные способности народов, живущих на Крайнем Северо-Востоке Азии), а как к этнографическому материалу. Авторы опубликованных им рисунков, видимо, стремились лишь пояснить графическим путем свои объяснения (таблицы водных и полевых растений, ловля зайцев сетями, формы причесок, морские промыслы, охота на уток при помощи метательного снаряда, ловля тюленей сетями и др.). Из опубликованной им коллекции лишь рисунок «Кочевой поезд богатого оленевода» представляет, на наш взгляд, художественную ценность. Что касается крайне примитивных и беспомощных рисунков, изображающих духов, захват ими жертв, то весьма сомнительно, можно ли вообще их использовать для изучения религиозных верований, так как народы Северо-Востока Азии никогда не рисовали духов. Рисунки эти по существу отражают личные, во многом случайные, неустоявшиеся представления отдельных лиц. Мои попытки получить какую-либо информацию путем показа старикам-чукчам рисунков на религиозные темы, опубликованных В. Г. Богоразом, не увенчались успехом. Эти рисунки не были поняты.

По-иному подошел к сбору чукотских и корякских карандашных рисунков С. Пяльси. Его интересовала степень одаренности информатора и художественные достоинства их произведений. В отличие от В. Г. Богораза он не предлагал (за исключением нескольких случаев) своим ин-

Рис. 2. Сцены охоты:
а — охота с копьем на белого медведя; рисунок Хайтухина; *б* — охота на моржа с байдары; рисунок Рошилина



а



б

форматорам сюжета рисунков. Поэтому художники рисовали именно то, что знали и хотели.

Среди художественных произведений, собранных С. Пяльси, значительное место занимают рисунки и миниатюрная скульптура из моржового клыка, выполненные чукчей Рошилиным (мыс Дежнева). Он происходил из оленных чукчей и переселился на берег уже взрослым. В поселке он считался удачливым охотником, но, видимо, нуждался и брался за любую работу, позволявшую обеспечить семью. Рошилин говорил немного по-русски, носил куртку европейского покроя, очки. Он помог исследователю раздобыть некоторые экспонаты, сам изготовил для него прибор для возжигания огня и показал, как им пользоваться, охотно комментировал свои рисунки и, видимо, чувствуя невозможность выразить свои мысли по-русски, дополнял изложение жестами. Техника работ Рошилина, по словам С. Пяльси, уступала технике истинных приморских чукчей: вследствие оседлого образа жизни они были искуснее своих кочевых собратьев. Однако Рошилин был, несомненно, талантлив. С этим выдающимся художником исследователь работал около месяца. Рошилин по просьбе С. Пяльси делал карандашом рисунки, изображавшие быт чукчей, сцены охоты, фигуры зверей. Исследователя в его творчестве поразил динамизм, способность передавать позы двигающихся животных, наблюдательность и острота зрения. Это, впрочем, было характерно и для других художников — информаторов С. Пяльси. «Рисунки арктических художников, — писал он, — напоминают моментальные снимки бегущих лошадей, где запечатлены аналогичные странные позы, кажущиеся неестественными для наших глаз, хотя известно, что они получены при помощи аппарата, не допускающего ошибок. Можно думать, что рисунки северных охотников представляют собой такие же моментальные снимки, сделанные наметанным глазом, различающим такие кратковременные позы, которые не замечаются нашими вялыми глазами» [10] (с. 14). Рошилин изобразил на бумаге случай нападения медведя на женщин, охоту на моржа с байдары, сцены охоты на тюленя и сцену извлечения убитого тюленя из воды при помощи закидушки — «кошки», спортивные состязания и пр. Художник пытался зарисовать предметы и животных такими, как он их

видел, но рисовал всегда по памяти, не имея перед собой модели. Работал он с большим вдохновением.

«Кажется, что ему особенно нравится изображать резкие и быстрые движения, рисовать убегающих и дерущихся животных, танцующих, соревнующихся и охотящихся людей. Его притягивают большая скорость, вынужденные прыжки, отчаянное напряжение, быстрые приемы и необузданная радость. Однако он успешно рисует и более спокойные действия. Арктические художники часто изображают гарпунщиков, но лучше всего они удались Рокуэллу. Когда гарпунщик бросает свое оружие в далеко лежащего тюленя, он действует очень быстро, а близко спящего животного он бьет с большой силой, вонзая копье в грудь белого медведя энергично и с большим умением» (с. 23).

Рокуэлл, как установил С. Пяльси, не знал законов перспективы. В то же время он не отказывался от изображения сложных сцен, передавал события в целом, не забывая о мелочах (с. 22). «Рокуэлл использует в целях оживления и достоверности обстановки и неодушевленные предметы. Рядом с мужчиной, мечущим гарпун в убитого тюленя, стоят сани, на которых добычу доставляют домой. При помощи таких мелочей художнику удается придать своим рисункам особую жизненность. Он рисует за спиной охотника, подкрадывающегося к тюленю, футляр от ружья и палку, и зрителю ясно, что настал решающий момент, где все лишнее отбрасывается. Эти незначительные сами по себе вещи здесь изображены к месту, подчеркивая то напряжение, которое чувствуется в сгорбленной фигуре охотника и во встревоженной позе тюленя» (с. 23).

Несомненную ценность представляет моржовый клык, выгравированный Рокуэллом. Это одно из самых ранних его произведений, дошедших до нас. Талант Рокуэлла ярко проявился в советское время. Он создал в 1930-х годах много работ. Вот как характеризует его творческий почерк искусствовед Т. Б. Митлянская: «Для Рокуэлла характерен выбор оленеводческих сюжетов: бегущие олени, пасущиеся, лежащие, ловля оленей, возвращение оленеводов в поселок. Отличительная черта — узорная внутренняя графическая разработка. Она довольно разнообразна: параллельные и зигзагообразные штрихи, крупные темные пятна неправильной формы. Применяя в основном черный цвет, художник создает ощущение тонального разнообразия» [11].

Интересны и работы других мастеров. Видимо, очень одаренным художником был чукча Карлайрыгин, он также представил исследователю моржовый клык с гравировкой и ряд весьма реалистических эскизов, характеризующихся гармонией композиции. «Рисунки Карлайрыгина отличаются большой естественностью, — писал С. Пяльси. — Животные и люди изображены во весь рост и со всеми деталями, хотя в определенной степени и стилизованными. Иногда моржи нарисованы значительно более толстыми, чем они есть на самом деле, а ноги оленей и собак — слишком изящными. В манере стилизации форм и изображения движения улавливается стремление к декоративности. В рисунках Карлайрыгина отсутствует та непосредственная живость, которая присуща рисункам Рокуэлла. При изображении животных Карлайрыгин придает им гармоничность путем изменения их естественной позы. Ноги бегущих оленей на его картинах изображены на уровне корпуса и часто расположены друг за другом, что придает рисунку пластичность. Он может нарисовать ноги оленей в парной упряжке в совсем неестественном положении, вследствие чего возникает изображение какого-то совершенно нового, довольно стремительного и пропорционального тяглового животного» (с. 42—43).

«На других рисунках Карлайрыгина также учтены требования перспективы — предметы и существа, находящиеся на заднем плане, изображены за находящимися на переднем плане и часто имеют меньшие размеры, чем последние. Он рисует и пейзажи, показывая моржей и белых медведей лежащими на льдине или крадущимися между разными пред-

метами, в то время как погибающие животные изображены за или над ними. Подобные попытки у других чукотских художников оказываются менее удачными» (с. 43—44).

Карлайрыгин нарисовал по просьбе исследователя карту части Чукотского полуострова. Так же, как и Рошилин, он хорошо изображал то, что знал. Но воспоминания о мельком виденном были ему недостаточны для воспроизведения. Вот что получилось, когда эти мастера по просьбе С. Пяльси, рисовали европейских животных: «Они несколько раз видели лошадь, корову, свинью и кошку на кораблях и изобразили их на бумаге в почти неузнаваемом виде. Лошадь стала парнокопытной, корова лишилась хвоста и оказалась при восьми сосках. Когда художники не могли запомнить образы незнакомых им животных, они дополняли пропущенное знакомыми деталями. Части тела коровы и лошади смешались с оленьими, кошка стала горностаем и свинья получила тело моржа» (с. 17).

Материалы С. Пяльси позволяют видеть, что чукчи-гравировщики и резчики по кости, работавшие в его время, очень различались по своему творческому почерку и по интересам. Некоторые из них работали только для себя. Так, некий Чута, зарабатывавший плотничьими поделками, подарил исследователю фигурку из моржового клыка своего изготовления в виде сидящего мужчины, закрывшего руками лицо, с локтями на коленях. Автор назвал свое произведение, сказав по-английски: «Чукча плачет». Скульптура произвела на С. Пяльси сильное впечатление. Она, несомненно, волновала, передавала чувства художника, хотя и была выполнена на скорую руку. Как выяснилось, Чута занимался резьбой для собственного удовольствия и редко показывал кому-либо свои творения. Рисунки его, несколько схематичные, отличались уверенностью и мастерством (рис. 3, *а*, *б*).

Видимо, отличным художником был и гравер Хейтухин. Он изготовлял на продажу гравюры на моржовых клыках и имел много заказов от приезжих. Карандашные рисунки Хейтухина, собранные С. Пяльси, свидетельствуют о том, что мастер был талантливым художником. Клык, разрисованный Хейтухиным, показывает, что художник работал с учетом перспективы, использовал цвет. Как отметил собиратель, в произведениях Хейтухина чувствуется влияние критики. И она пошла ему на пользу.

Между тем С. Пяльси не был сторонником превращения искусства чукчей и эскимосов в товарное производство. Он с горечью писал о том, что на Аляске ручки зонтиков из моржовой кости, украшенные гравировкой, ценились по 15—25 долларов за штуку. «Вкус покупателей, — заметил он, — снизил художественную ценность рисунков, а их природная свежесть вытеснена пустой декоративностью». Отдельные рисунки получил собиратель и у эскимоса Аяка, у корякского шамана из Олюторки Нутеуна и у других лиц. Эти материалы позволили ему прийти к выводу, что добрая половина чукчей-мужчин — художники (рис. 4).

С. Пяльси пытался проверить и художественные способности детей. Привлеченные им к рисованию мальчики принимались за работу охотно и смело. «Они совсем не дивились на чуждые им вещи — шуршащую бумагу и тонкий карандаш, они сумели воспользоваться ими. Казалось, что у каждого из них был наготове мотив, который он хотел быстро нарисовать, за этим ждали свою очередь десять других мотивов». Мальчики рисовали знакомую им среду — собак, птиц, лодки, борющихся и танцующих людей. Любимыми мотивами были запряженные собаками нарты для перевозки льда и плавника, охота на птиц, т. е. то, чем им приходилось заниматься. Среди зарисовок обнаружилось несколько весьма удачных. По мнению экспериментатора, авторы их могли стать видными художниками.

Ценны и наблюдения, показывающие, как использовали сами чукчи и коряки изобразительное мастерство в воспитании детей, в подготовке

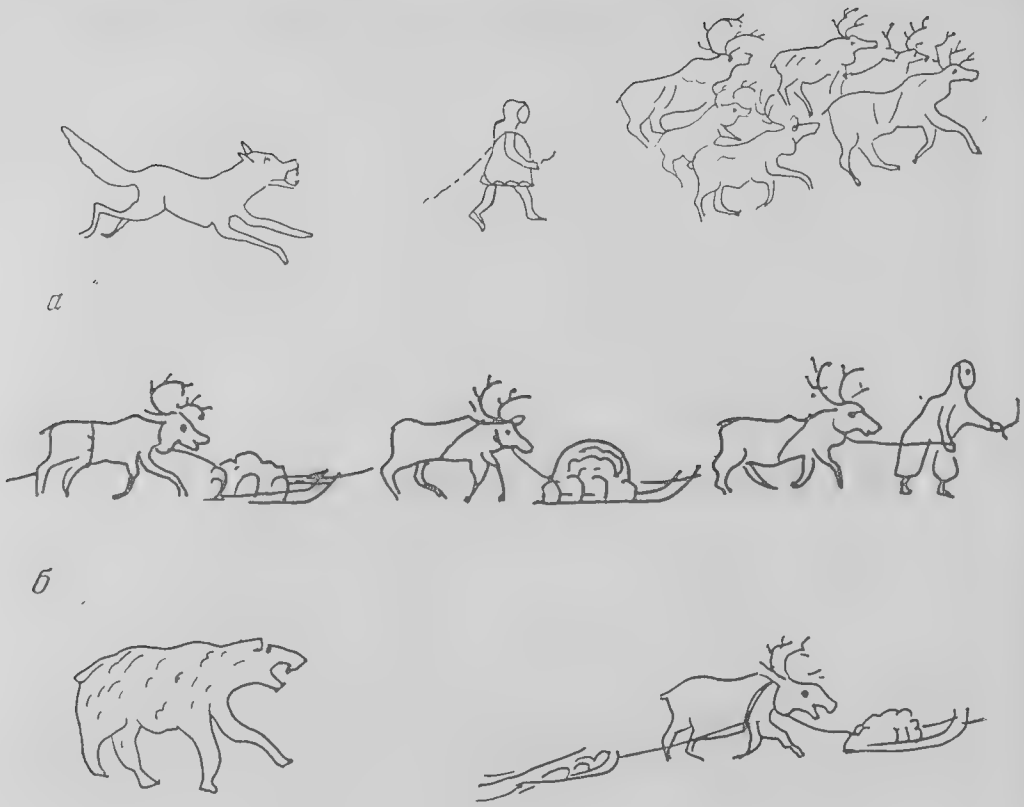


Рис. 3. Быт оленеводов:
а — перегон стада оленей; перекочевка; рисунки Чута

их к решению жизненно важных задач. Вырезая из кости или дерева зверей, птиц, нарты, упряжки, лодки, взрослые сопровождали свою работу рассказами, объяснениями, увлекались сами и увлекали детей.

Менее значительны были результаты исследования художественного творчества эвенов (ламутов). Среди них С. Пяльси также обнаружил одаренных лиц. Однако его информаторы не столько рисовали, сколько вырезали силуэтные изображения, и коллекция эвенских предметов искусства, собранных исследователем, невелика.

Несомненный интерес представляют собой образцы миниатюрной скульптуры чукчей, коряков, эскимосов, собранные С. Пяльси во время поездки. К сожалению, они очень лаконично прокомментированы собирателем. Однако в целом С. Пяльси удалось приобрести значительный документальный материал для характеристики чукотско-эскимосского изобразительного искусства.

Изучение искусства коренных народностей Северо-Востока Сибири позволило автору высказать много важных мыслей и положений. Так, основываясь на своих наблюдениях, он отверг предположение, высказывавшееся в литературе, о том, что в области искусства народы Севера являются какими-то последователями духа и культуры древних палеолитических племен. Он подчеркнул также, что раса не влияет на способности к искусству. По его мнению, благоприятное воздействие на развитие художественных навыков оказывают главным образом условия природной среды.

Исследования на Чукотке и Камчатке не подтвердили априорного предположения С. Пяльси, высказанного им еще до экспедиции, о том, что темами первобытного искусства были добыча и женщина. Чукотско-эскимосское искусство не укладывалось в эту схему.

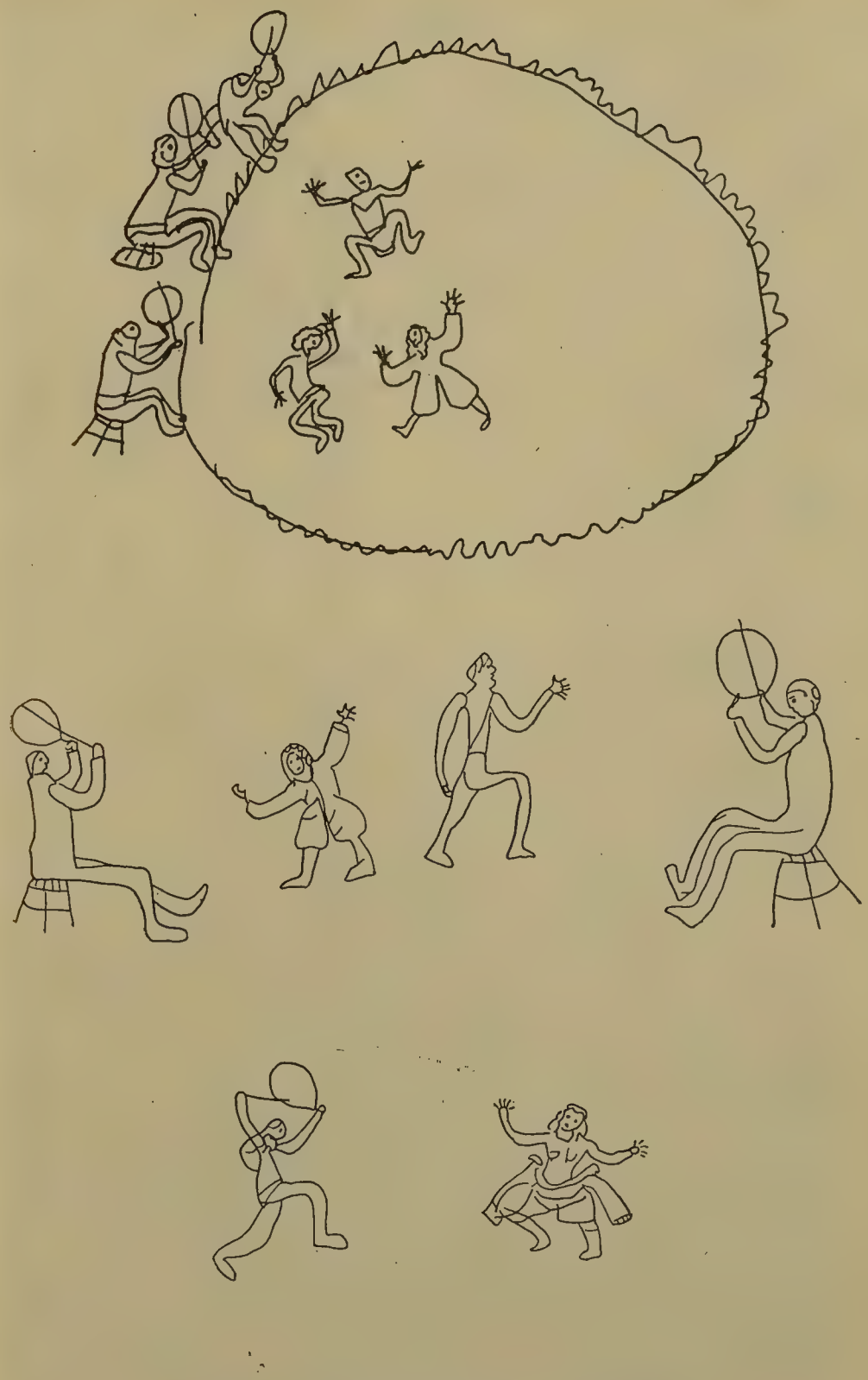


Рис. 4. Пляски под бубен; рисунок Рошилина

Нельзя не согласиться с выводом, сделанным С. Пяльси, что «религиозное и мирское искусство народов Северо-Востока Сибири сильно отличается друг от друга». Его удивило, что люди, вырезающие прекрасные фигурки, довольствовались грубыми амулетами из корней деревьев или кожи. «По внешнему виду предметы искусства и предметы культа отличаются друг от друга в такой степени, что кажется, что они изготовлены разными народами, живущими на большом расстоянии друг от друга» (с. 63). Однако, с точки зрения чукчей, коряков, использовавшиеся в качестве амулетов предметы или части их обладали какой-либо магической силой, и эстетика не принималась в расчет.

В то же время в книгах С. Пяльси имеется немало наивных утверждений, например о близости уровней развития взрослых и детей, о том, что любовь и терпеливое отношение северных людей к животным дали возможность приручить им таких упрямых и «несмышленых зверей», как, например, северный олень (с. 76).

Значительный интерес представляют непосредственные этнографические наблюдения С. Пяльси. В поселках береговых чукчей и эскимосов он вел расспросы об обычаях коренного населения, происшествиях, технике промыслов.

Заслуживает внимания материал, полученный им о добровольной смерти матери его информатора Карлайрыгина, задушенной по ее просьбе незадолго до приезда исследователя. По желанию С. Пяльси резчик Рошилин изобразил на бумаге такие сцены.

С. Пяльси удалось близко познакомиться с деятельностью и бытом торговцев — «поворотчиков» [12], чукчей и эскимосов. Один из них, Аяка Квари, жил в поселке «севернее Анадыря» (Уэлькаль?) и прирабатывал мелкой торговлей. «Лавочка Аяки Квари, — пишет он, — была сделана из досок, в углу ее стояла железная печь. Она походила на лавочки русских купцов. Аяка торговал тем же товаром, что и его сосед, русский, — патронами, табаком, чаем. Кроме того, на его складе были маленькие зеркала и душистое мыло. Оно очень нравилось Аяке. У него было много пшеничной муки, из которой в печке пекли лепешки. Их пекла жена Аяки, одетая в красивую русскую одежду. Сам Аяка расхаживал дома в американских рабочих штанах и надевал кожаные, только отправляясь на охоту. Торговля не мешала Аяке охотиться на тюленей и моржей. Он был хорошим стрелком, который при волнующемся море из качающейся лодки без промаха попадал в голову тюленя, на миг показавшегося из воды. В качестве доказательства этого он снял со стены ружье (принадлежавшее автору. — *И. Г.*) и выстрелил в деревяшку, плававшую по реке. Вернув винтовку, он сказал, что она пригодна для охоты на тюленя, особенно если ее немного подпилить». «В приморских селениях на берегу пролива Беринга, — заметил автор, — встречается большое количество туземцев-торговцев, подобных Аяке Квари». Указав, что торговля между кочевыми оленеводами и приморскими оседлыми зверобоями велась издавна, что в прошлом был своеобразный бесприбыльный товарообмен, С. Пяльси отметил значительные изменения, происходящие в области торговли на Чукотке. «Чукотские и эскимосские купцы района Берингова пролива обогащаются теперь по законам современного товарообмена. Их стремлениям противодействует старая общественная экономическая система, которая не допускает значительной частной собственности. Однако новая практика уже разрушила большую часть старых установлений» (с. 52—54).

Небезынтересны наблюдения С. Пяльси, свидетельствующие о том, что новоявленные предприниматели не знали должным образом арифметики, не умели делить, не умели писать, но держали в памяти всех своих должников и нередко округляли суммы долга, причем всегда в выгодном для себя направлении. Характерно и другое: торговцы-поворотчики стремились, как он показал, во всем подражать русским и американским купцам, приобретали европейскую одежду, всеми силами

старались выделиться из своей среды, завоевать авторитет у сородичей дружбой, близостью к приезжему начальству.

В качестве скупщика японской торговой фирмы С. Пяльси довелось побывать в стойбищах быстринских эвенов, близко познакомиться с семьей старосты Трифона Солдякова. Глава семьи два года учился в церковно-приходской школе в Тигиле, откуда затем сбежал. Все же он овладел русской грамотой. С. Пяльси записал его рассказ о подробностях бегства из школы. Трифон вместе с товарищами заблаговременно запаслись посудой, чаем, табаком и бежали весной, в распутицу, когда преследование было крайне затруднительно.

Быстринские эвены во время пребывания исследователя на Камчатке жили в чумах, ездили верхом на оленях, лишь иногда зимой использовали оленя в упряжке, некоторые имели и ездовых собак. Эвены сохраняли свою традиционную одежду и обувь, однако в торжественных случаях некоторые из них надевали приобретенную у торговцев матерчатую одежду городского покроя. «Современные предметы и удобства, — писал С. Пяльси, — проникают как к кочующим эвенам, так и к камчадалам, живущим в селениях. Автор видел, что Трифон Солдяков, отправляясь за покупками в Тигиль, переоделся в чистое белье» (с. 87).

Путешественник обратил внимание на теплые, уважительные патриархальные отношения, господствовавшие в эвенских семьях, на чувство собственного достоинства у своих собеседников.

Эвены охотно знакомили С. Пяльси с охотничьими приемами, рассказывали ему о повадках зверей, но умолкали, когда разговор заходил о верованиях. Попытки исследователя получить какие-либо данные о собственно религиозных представлениях эвенов не увенчались успехом.

В странствованиях по Камчатке путешественник познакомился с камчадалами (русскими старожилами, смешавшимися с ительменами). С. Пяльси справедливо отметил, что они по существу унаследовали хозяйство ительменов, основанное на добыче лососевых, но так изменили его, что несколько месяцев в году, проводимых в лесу и на рыбной ловле, означают для них работу, из-за которой они лишаются на время теплой избы. По его мнению, переход в избы отделил камчадалов от природы, приблизил к культуре и оторвал от традиционного искусства. Такая трактовка вопроса представляется спорной. Отсутствие у камчадалов изобразительного мастерства — следствие многих причин. Более справедливо замечание С. Пяльси о том, что камчадалы так же, как и эвены, поверхностно восприняли православие. Камчадалы искренне верили в колдовство и приписывали это искусство эвенам.

Коллекция экспонатов, приобретенных С. Пяльси, хранится в Финском национальном музее (Хельсинки, № 4991). Она состоит из 174 предметов. Когда автор настоящей статьи с ней ознакомился, оказалось, что в ней немало редких и весьма интересных экспонатов, отражающих культуру и быт чукчей, отчасти коряков и эвенов (ламутов). Значительную часть коллекции составляют предметы, так или иначе связанные с искусством (о них мы уже говорили выше), однако заслуживают внимания и экспонаты, характеризующие хозяйство, особенности домашней жизни. У чукчей С. Пяльси приобрел ременную сеть для ловли нерп у продухов, наконечники поворотных гарпунов, пращу для метания камней, болас — орудие для охоты на птиц, мотыги из кости с деревянной ручкой для копки кореньев, колчан со стрелами, багор с железным крюком местной работы, каменные молоты для дробления костей перед выварной жира, лучковые сверла, скобели, проколки, иглы из рога для развязывания узлов, тормоз для оленьих нарт, рогульку-подставку для ружья, жировую лампу, изготовленную из глины, смешанной с птичьим пухом, прибор для добывания огня сверлением, обрядовое блюдо для мяса, детские игрушки — волчки, модели лодок, курительные трубки и т. д.

Интересны скребки с привязанными к ним тюленьими когтями. Ими пользовались охотники: подкрадываясь к нерпам, чтобы усыпить бдительность зверей, они скребли ими лед.

В коллекцию вошел и подъемный материал с Чукотки: найденные на поверхности земли каменные проколки, наконечники гарпунов, клинья из моржового клыка для расщепления дерева и т. д. У эвенов (ламутов) С. Пяльси приобрел образцы их одежды. Некоторые вещи были куплены у коряков и камчадалов.

К сожалению, как уже отмечал К. Вилкуна, опись экспонатов, приобретенных С. Пяльси, крайне лаконична и скудна [13]. Отсутствуют данные о назначении отдельных предметов, не всегда указано, от кого они приобретены. При работе над коллекцией С. Пяльси мне удалось выделить экспонаты, ошибочно приписанные чукчам, но в действительности, как можно судить по их особенностям и месту приобретения, принадлежащие корякам. Удалось также отделить предметы, изготовленные камчатскими эвенами, от изделий русских старожилов Камчатки.

Несомненно, самым значительным предметом в коллекции С. Пяльси является железный пластинчатый панцирь с наспинным щитом, купленный у анадырских чукчей. Железные панцири такого типа, приобретенные на Чукотском полуострове, хранятся в этнографических музеях Ленинграда. Два комплекта таких панцирей от чукчей и три от коряков были доставлены Джезуповой экспедицией в Музей естественной истории в Нью-Йорке [14].

Железные панцири по конструкции тождественны костяным (костяные пластины заменены железными). Панцирь и шлем, доставленные О. Пяльси в Хельсинкский музей, близки к описанным в литературе [15]. Железные пластины — «куячные доски» — длиной от 9,5 до 13 см расположены в нем вертикально, образуя семь полос, соединенных также друг с другом горизонтально ровдужными ремешками. Для этой цели в каждой пластине просверлено 9—12 отверстий. Семь рядов пластин прикрывали нижнюю часть тела; спину и шею закрывал щит с одним боковым крылом. Общая длина панциря — 120 см.

Однако панцирь, приобретенный С. Пяльси, имеет и некоторые особенности, позволяющие прояснить происхождение этой формы защитной одежды народов Северо-Востока Сибири. Наружная часть щита, хранящегося в Национальном музее Хельсинки, расписана красной краской схематическими изображениями, значительно более детальными и подробными, чем другие известные нам экземпляры. Вместе с тем некоторые изображения и детали орнамента на щите этого панциря, а также на чукотском панцире, соединенном со щитом, хранящемся в Музее антропологии и этнографии АН СССР (Ленинград), и на корякском — в Музее естественной истории (Нью-Йорк) совпадают: зубчатые линии, схематические фигурки людей с луками. Это позволяет полагать, что железные панцири изготовлялись в каком-то едином центре [16].

Множество рисунков на щите, приобретенном С. Пяльси, позволяет именно здесь искать ключ к семантике этих изображений. С. Пяльси сделал, на наш взгляд, небезуспешную попытку расшифровать рисунки и знаки на щите. Он высказал предположение, что их характер и последовательность позволяют видеть в них рисуночное письмо. Действительно, рисуночное письмо было не чуждо народам Крайнего Северо-Востока Сибири. Следы его были обнаружены в искусстве юкагиров и коряков, целые сцены охоты вырезали с магическими целями азиатские эскимосы и береговые чукчи на веслах и на скамейках байдар. Таким образом, основная предпосылка С. Пяльси не лишена вероятности. Исходя из нее, исследователь предложил свое интересное толкование загадочных рисунков: «Та часть рисуночного письма, которая покрывает часть панциря, защищающую спину, поддается, по-видимому, расшифровке относительно легко. В верхнем ряду изображено сражение вооруженных луками и копьями людей, одетых в панцирь и держащих щит. Воинов, изображенных сверху, не следует считать убитыми, потому что

они еще участвуют в битве, а их неестественное положение происходит от недостатков изображения и особенностей выполнения рисунка, свойственных примитивным художникам. Исходя из схожести снаряжения воинов, можно полагать, что мы имеем дело с близкими соседями, по всей вероятности, в сражении участвуют „восточные люди“ (юкагиры) и коряки с чукчами, как рассказывали бывшие владельцы панциря.

В трех последующих рядах изображен ряд животных, которые трудно определяются из-за несовершенства рисунка. Они не похожи на оленей или собак, слишком велики для лисиц, и их слишком много для того, чтобы они могли быть волками. На поясе у мужчины, изображенного в конце среднего ряда животных, виден меч, и поэтому считают, что здесь изображен русский казак. Вышеупомянутые неизвестные животные могут тогда считаться лошадьми...

Ниже животных изображены два человека с мечом, окруженные чем-то напоминающим нимб, по сторонам их видны мужчины в панцирях со щитами. Предполагается, что художник изобразил на них коренных жителей. Свайные укрепления изображены наивно и как будто изнутри, но можно понять, что справа изображен русский воин с ружьем.

Ниже опять изображена битва людей в панцирях и вооруженных луками. Рисунок слева неясен, и распознать на нем что-либо трудно. Это только отчасти сохраненное изображение является, по всей вероятности, рисуночным письмом и знаками, которые были понятны людям в те давние времена, когда происходили эти события, но к которым теперь ключ потерян. На рисунке можно узнать воинов, оленей и прочих животных, некоторые линии напоминают свайные укрепления, и, может быть, там изображены и лодки.

Рисунки на панцире малохудожественны, и, возможно, произведения древних „восточных людей“ все были на таком уровне. Можно, однако, полагать, что художник, создавший рисунки, был в первую очередь воином, который изобразил на снаряжении войну и победу, возбуждая, таким образом, восхищение среди своих и пугая противников. Его задачей было записать историческое событие, и он не придал особого значения красоте этой записи» (с. 107—109).

С. Пяльси прав, что щиты изготовлялись какой-то аборигенной группой населения, сталкивавшейся с русскими.

В материалах С. Пяльси имеется и прямое указание на то, у кого чукчи отбили привезенный им панцирь. Как сообщили собирателю бывшие его владельцы, он достался их предкам от древнего народа, жившего на Анадыре, имевшего особый язык и называвшегося «восточные люди». Как известно, именно так чукчи именовали юкагиров. Из этого свидетельства можно заключить, что панцирь принадлежал юкагирам (чуванцам, ходынцам или анаулам). Они вошли в соприкосновение с русскими раньше, чем другие народности Крайнего Северо-Востока Сибири, часто общались с казаками, могли приобретать железо и, возможно, сами изготовляли железные панцири, так как имели частые столкновения с соседями. Однако в описи, составленной не самим собирателем, указано, что панцирь когда-то был отбит чукчами у ительменов. Автор описи приписал этот предмет ительменам, основываясь на словах С. Пяльси о том, что панцирь относится ко времени освоения Камчатки, считая жителей ее ительменами. Между тем чукчи имели столкновения на Камчатке не с ительменами, а с коряками. Как известно, именно на них совершали набеги так называемые «носовые» чукчи, жившие около побережья Чукотки. Не исключено, что железные панцири изготовляли коряки. Охотские коряки в XVII в. находились на сравнительно высоком уровне общественного развития. Достаточно вспомнить, что в начале XVIII в. у них уже появилось огнестрельное оружие. Из русского железа коряки сами ковали наконечники стрел [17]. Позднее Усть-Пареньское селение коряков превратилось в один из центров изготовления железных орудий, возможно и железных панцирей. Материалы С. Пяльси все же позволяют полагать, что первоначально

железные панцири начали изготовлять юкагиры, а от них уже это мастерство заимствовали коряки.

Встает также вопрос, почему железные панцири вообще дошли до собирателей XIX—XX вв. С. Пяльси по этому поводу пишет следующее: «В сохранении панциря определенную роль сыграло то, что он был украшен рисунками. Это пробуждало интерес в людях, его сохраняющих, и подкрепляло те предания, в которых говорилось об истории его. Надо полагать, что оленьи чукчи, которые после победы сняли с убитого „восточного человека“ его панцирь, головной убор и колчан, также обратили внимание на хорошую роспись. Так как мотивы росписи повествовали о важных событиях окружающей их жизни, они решили сберечь военную добычу и последующие поколения заботились о том, чтобы сохранить панцирь во время своих странствий. Разрисованное снаряжение воина „восточных людей“ стало, таким образом, оригинальным источником знаний о древнем народе, который, смешиваясь с другими народами и теряя свой язык, забывал и свои предания, и руны, и вместе с ними воспоминания о жизни в прошлом» (с. 112).

Наши полевые материалы позволяют несколько по-иному ответить на этот вопрос. Как выяснилось, чаунские чукчи в прошлом вместе со священной огневой доской и связкой семейных амулетов хранили все диковинные и памятные предметы, в том числе пояса убитых врагов, их оружие, иногда клоки от их одежды, так же, впрочем, как и лоскутки от одежды умерших родичей. Эти предметы на праздниках «кормили», смазывали костным жиром, и они рассматривались как магические защитники своих хозяев [18]. По этим причинам сохранили и древний панцирь, приобретенный С. Пяльси.

С. Пяльси не только собрал интересную и ценную коллекцию экспонатов, но и сделал фотоснимки, отображающие быт приморских поселков на Чукотке и Камчатке. В его собрании находится около 130 фотоснимков, хранящихся в Финском национальном музее. Среди них имеются и весьма редкие, как, например, переправа через реку на поплавках, изготовленных из нерпичьих шкур (так преодолевали водные преграды оленные чукчи, не имевшие лодок), сцены прибрежной торговли, портреты известных резчиков по кости, о которых до нашего времени дошли только рассказы, и т. д. Часть фотоснимков была опубликована автором в качестве иллюстраций в его книгах.

С. Пяльси удалось сделать и нечто большее. Он отснял первый этнографический фильм о Чукотке. История этой значительной киноленты (она идет около сорока минут), спасенной благодаря стараниям известного финского ученого К. Вилкуна и сотрудников Финского киноархива, весьма любопытна [19]. Привезенный С. Пяльси киноматериал был проявлен, но не смонтирован и демонстрировался в 1930 г. отдельными частями [20]. Киноматериалы, отснятые им, пролежали на складе частной акционерной фирмы много лет. Усилиями специалистов из Финского киноархива лента была спасена, реставрирована. Сличение ее с опубликованными фотоснимками, сделанными С. Пяльси, показало, что некоторые кадры и иллюстрации в книгах полностью совпадают. Таким образом, было доказано, что фильм отснят именно С. Пяльси. Первый кинофильм о Чукотке стал достоянием науки. Ожили панорамы приморских поселков, сцены игры в эскимосский мяч, переправы через реки, рыбалки и т. д. Благодаря любезности К. Вилкуна фильм был показан в Институте этнографии АН СССР во время его доклада.

Таким образом, материалы С. Пяльси представляют собой значительный интерес для сибиреведов, и не только для них. Собранные им данные об изобразительном искусстве чукчей и азиатских эскимосов дают возможность понять его состояние накануне глубоких перемен, связанных со становлением современного косторезного искусства на Чукотке. Несомненную ценность, конечно, имеют коллекция экспонатов, приобретенных на Чукотке и Камчатке, и первый этнографический фильм о жизни чукчей и эскимосов.

[1] *Токарев С. А.* История русской этнографии. М.: Наука, 1966, с. 365—377.

[2] *Серошевский В. Л.* Якуты: (Опыт этногр. исслед.). СПб., 1896; *Bogoras W.* The Chukchee. Material culture. — Memories of the Amer. Mus. of Nat. Hist. Leiden; New York, 1904, v. VII; *Iochelson W.* The Koryak. — Memories of the Amer. Mus. of Nat. Hist, 1905—1908, v. VI, p. 1—2. *Штернберг Л. Я.* Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора: Тексты с переводами и примечаниями. СПб., 1908. Т. 1. Ч. 1.

[3] *Вилкуна К.* Экспедиция Сакари Пяльси в Северо-Восточную Сибирь (1917—1919). — СЭ, 1978, № 3, с. 111—112.

[4] *Pälsi S.* Pohjankävijän päiväkirjasta. Otava, 1919; *Vilkuna K.* Sakari Pälsin tutkimus-matkasta Koillis-Siperiaan 1917—1919. — Tieteen matka miehiä Kalevala seuran vuosikirja, 1977, N 57, p. 247.

[5] *Pälsi S.* Pohjankävijän päiväkirjasta.

[6] *Pälsi S.* Arktisia Kuvia. Otava, 1920.

[7] *Pälsi S.* Merillä ja Erämaissa. Otava. 1929.

[8] Здесь и далее ссылки на книгу С. Пяльси (Pälsi S. Arktisia Kuvia) даны в тексте статьи по рукописи перевода этой книги, сделанного Х. А. Безносовой и хранящегося в архиве Института этнографии АН СССР.

[9] *Богораз В. Г.* Чукотские рисунки. — В кн.: Сборник в честь семидесятилетия профессора Д. Н. Анучина. М., 1913, с. 398—399.

[10] *Pälsi S.* Pohjankävijän päiväkirjasta, p. 112—119.

[11] *Митлянская Т. Б.* Художники Чукотки. Л.: Изобраз. искусство, 1976, с. 82—83.

[12] Так русские называли торговцев — чукчей и эскимосов, приобретавших товары на побережье, вывозивших их оленным транспортом и вновь возвращавшихся в свои селения с оленьим мясом и шкурами.

[13] *Вилкуна К.* Экспедиция Сакари Пяльси..., с. 116.

[14] *Антропова В. В.* Военная организация у народов Крайнего Северо-Востока Сибири. — ЭС. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957, II, с. 210—214. (ТИЭ. Нов. сер.; Т. 35).

[15] *Bogoras W.* The Chukchee, part 1, p. 162—168; *Jochelson W.* The Koryak, part 2, p. 563—564.

[16] Для решения этого вопроса было бы целесообразно провести химический анализ железа и краски на разных панцирях, а также детально сличить форму панцирных пластин, способы их крепления и пр.

[17] *Вдовин И. С.* Очерки этнической истории коряков. Л.: Наука, 1973, с. 187.

[18] Полевые материалы автора по Чаунскому району Чукотки, 1977 г. Архив Института этнографии АН СССР.

[19] *Вилкуна К.* Экспедиция Сакари Пяльси..., с. 116.

[20] *Uusitalo K.* Lavean tien Sankarit. — In: Suomalainen elokuva 1931—1939. Helsingi, 1975, p. 95, 145.

Е. И. Гневушева, В. Г. Трисман

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ А. С. ЭСТРИНА В МАЭ

В Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Академии наук СССР (МАЭ) хранятся среди других ценные этнографические коллекции, отражающие быт, искусство, верования народов Индонезии.

Периодические поступления индонезийских этнографических предметов начались с конца XIX в. Собирателями были ученые, работавшие в разных областях науки, дипломаты, путешественники, побывавшие в Индонезии в разное время.

Однако острова Индонезии в тот период редко посещались русскими учеными и путешественниками. Большой интерес для истории науки представляют наиболее фундаментальные коллекции, собранные А. С. Эстриным и его женой А. Я. Смотрицкой [1].

А. С. Эстрин (1889—1981) был квалифицированным рабочим-металлистом. В 1909 г. в поисках работы он уехал из царской России и побывал в ряде стран — во Франции, Америке, Японии. Свои коллекции он начал собирать, когда приехал в Юго-Восточную Азию [2].

На Яве — наиболее густо населенном и экономически развитом острове Индонезии — Эстрин направился в доки и устроился в порту Танджунг-Приоке, где очень нуждались в квалифицированных рабочих.

Живя и работая среди местных рабочих, Эстрин научился понимать их и говорить на малайском языке — самом распространенном из языков архипелага. У него уже был опыт усвоения иностранных языков: французского, английского, японского. На Яве для малайского языка в печати использовали латинский алфавит, знакомый Эстрину, поэтому он мог знакомиться и с прессой.

Коллекция, собранная Эстриным и Смотрицкой на Яве, отражала экономику Индонезии; в ней были образцы производства каучука, сахарного тростника, кофе, корицы, ванили, мускатного ореха, какао, чая, хинина, табака, копры. Большое количество фотоснимков иллюстрировало процессы производства всех этих экспортных товаров. Яванская коллекция состояла почти из пятисот предметов. Смотрицкая основное внимание уделяла собиранию образцов сельскохозяйственных культур. Эстрин же заинтересовался преимущественно традиционными художественными ремеслами, в частности производством всемирно известных яванских батиков. Все стадии этого процесса, а также инструменты для батикования отражены в образцах, которые Эстрин заказал у яванского мастера.

Коллекция содержит плетеные корзиночки и вазы, сосуды из скорлупы кокосового ореха, покрытые резьбой, медную тарелку с гравированным изображением двух фигур яванского теневого театра, фигуры театра марионеток (ваянг-голек), художественные металлические пряжки, глиняную посуду, веера для раздувания огня, а также музыкальные инструменты яванцев, украшения.

Эстрина больше всего привлекали предметы быта и культуры: «У меня было странное ощущение, когда я попал на Яву, — вспоминал он. — Мне казалось, что я нахожусь в музее, но в музее особом, живом.

Я уже побывал во многих странах и видел, как по-разному живут люди, но никогда у меня такого ощущения не было, даже в Японии» [3]. Ему страстно хотелось показать весь этот особый мир на далекой северной родине.

Эстрин смотрел на каждую вещь не как на предмет экзотики, а с учетом ее места в культуре и быту населения; его интересовали орудия, при помощи которых вещь изготовляли, и сам процесс производства. Многолетний опыт работы по разным специальностям помог Эстрину, хотя он и не получил систематического образования, найти правильный этнографический подход к составлению коллекции. Он заказал яванскому мастеру модели сельскохозяйственных орудий (плуг с запряженным в него буйволом, серпы, мотыги), домашнюю утварь, орудия кустарного производства (мялку и пресс для обработки кожи и т. д.). Эстрин собирал не только готовые отдельные предметы, но и образцы на всех стадиях их изготовления (или способы добывания некоторых из них). Получение каучука, например, до настоящего времени демонстрируется в экспозиции музея по собранию Эстрина, начиная с зерна и цветка каучукового дерева; надрезы на стволе дерева показаны на фотоснимке; имеются образцы жидкого каучука (латекса) и готовые прессованные образцы каучука. Таким же образом представлено и получение хлопчатобумажных нитей.

У Эстрина было желание приобрести вещи не только с Явы, но и с других островов Индонезии с менее развитым в экономическом отношении населением. Осуществить это ему помог случай. В 1921 г. он узнал, что снаряжается голландская зоологическая экспедиция на далекие восточные острова Индонезии, и добился у ее руководителя зоолога Токсопеуса, чтобы его и А. Я. Смотрицкую включили в ее состав.

Экспедиция направилась к малоизученным островам Буру, Сераму и Амбону. На Буру было множество птиц разных видов. Эстрин вспоминает о своих попытках предотвратить истребление редкого вида — красивых диких кур (из семейства большеногих — megapodiidae). Эти куры откладывали яйца прямо на землю, нагребали на них холм из листьев, и от тепла, выделяемого при их гниении, цыплята выводились без наседки. «Но невозможно было убедить население, — вспоминал он, — разыскивающее яйца этих кур, оставить хотя бы несколько яиц, чтобы не переводился редкий вид полезных, обреченных на вымирание птиц — украшение острова» [4].

Центром экспедиции на о-ве Буру было селение, откуда делались походы в леса. Эстрины устраивались в палатке, возле которой всю ночь горел костер, отгоняя москитов и змей, водившихся там в большом количестве.

В. Г. Богораз в своих рукописных заметках так характеризует этнографическую деятельность Эстрина: «И вот, собирая редчайших насекомых и неизвестные породы птиц для голландских нанимателей, Эстрин сам на собственные средства собрал предметы, освещающие жизнь людей, не менее интересные, чем жуки и бабочки, и, будучи на службе, собирал одновременно этнографическую и зоологическую коллекцию для России, затратив на нее все свои заработанные средства и сбережения» [5]. Собранная Эстриным на о-ве Буру этнографическая коллекция из 648 предметов дает яркое представление о жизни населения этого острова. Здесь он приобрел модель типичного для о-ва Буру дома с двускатной крышей из листьев пандана и дал подробное описание его внутреннего устройства. Описал он и деревню в целом.

С огромным интересом Эстрин наблюдал разнообразный быт народов Индонезии. Его многочисленные пояснения к коллекциям очень содержательны. Он приобретал преимущественно предметы, бывшие в употреблении, выясняя у владельцев, откуда взята вещь, из какого материала сделана, каково ее назначение и способ изготовления. Отмечал он, и каким путем была она приобретена: выменена, куплена или просто найдена.

Населению о-ва Буру было известно и ткачество, для чего использовался простейший горизонтальный ткацкий станок. Такой станок был приобретен Эстриным вместе со всеми деталями и образцами тканей на разной стадии их выработки. В коллекцию вошли сумки, кушаки, штаны, платки, в которых женщины носили за спиной детей, пояса, окрашенные свиной кровью. Приобрел он даже коробочку плода хлопчатника и клубок готовых для тканья ниток, привез циновку из листьев пандана, на которой сидела ткачиха за станком; он отметил, что «станок и циновки делают мужчины, а тканьем заняты женщины».

Эстрин видел, как охотились на кабанов: мужчины нескольких селений сообща огораживали определенный участок бамбуковыми шестами, утыкали бамбуковыми колышками остриями вверх, животное загоняли в эту ловушку и добивали.

Среди приобретенных на о-ве Буру орудий охоты имеется много предметов из железа, изготовленных самими буруанцами (например, кузнечные меха, состоящие из бамбуковой трубки с поршнем, гарпуны, специальные орудия для охоты на мелких животных). Для охоты на птиц употребляли духовое бамбуковое ружье длиной 75 см, ртом выдували из него стрелы из тонкого расщепленного бамбука.

В коллекции с о-ва Буру много ножей, деревянных и железных, разного назначения. Среди них большой железный нож (паранг) для рубки деревьев, которым также прорубали дорогу в быстро зарастающем лесу, а остро отточив этот нож, его употребляли для бритья. Рукоятку ножа украшал резной, преимущественно геометрический орнамент.

Эстрин тщательно собрал предметы, относящиеся к рыболовству — основному занятию жителей побережья: круглую закидную сеть из района Лексула, имеющую в окружности около 8,5 м, с оловянными кольцами, и принадлежности к ней — пластинки для вязания таких сетей и мерку для измерения ее ячеек. Кроме того, в коллекции по рыболовству он включил плетеные верши, острогу для ночной ловли рыбы с факелами, модель лодки, выдолбленной из дерева, с балансирами и черпаком из отрезка колена бамбука.

Коллекция с о-ва Буру содержит также большое количество разных ложек, лопаток, вилок, палочек и другой утвари для приготовления пищи, изготовленных из бамбука, скорлупы кокосового ореха, высушенной тыквы, дерева и кости. Все эти вещи украшены резным растительным орнаментом, различны по форме. Есть также ступка и пестик из очень плотного дерева для толчения специй.

В этой коллекции есть деревянные и бамбуковые гребни с тонким геометрическим узором, а некоторые — со спиральным рисунком, полученным особым способом раскраски. Эти гребни состоят из двух параллельных бамбуковых трубочек и вставленных перпендикулярно к ним отдельных тонких зубьев. Собиратель и в данном случае не ограничился приобретением готовых гребней, а включил в коллекцию связку бамбуковых зубьев, заостренных с обоих концов, и бирку для точного измерения их среза.

Ассортимент плетеных изделий на о-ве Буру расширился со времени основания на острове миссионерских школ. Эстрин приобрел недавно изготовленные буруанцами школьные принадлежности: плоскую плетеную коробочку и кисет для хранения счетных палочек, употребляемых учениками первого класса; пенал; бамбуковые трубочки-вставочки для грифелей и перьев с колпачком, покрытые тонкой резьбой (на некоторых из них вырезаны имена школьников); несколько корзинок — школьных сумок, плетенных из пальмовых листьев, и метровую линейку с резной ручкой, разделенную на сантиметры.

Эстрин приобрел также 15 культовых предметов из центральной части о-ва Буру. Назначение их, выясненное собирателем, различно: так, бамбуковую палочку изготовляли как предмет вредоносной магии, вызывающий болезнь живота; другую — «чтобы врага пронзила стрела». Своеобразны «пояса голода», сделанные из хлопчатобумажной ткани с узел-

ками: «в каждом узелке завязан злой дух, заставляющий человека голодать». Описан собирателем «божок деревянный», найденный на о-ве Буру, в Лексула; это фигура человека, сидящего на корточках, опирающегося сложенными руками на поднятые колени. В правой руке — нож. Эстрин подчеркивает: «Подобные фигуры нельзя было получить ни покупкой, ни путем обмена. Ее нашел яванец — рабочий экспедиции». Есть в коллекции и клыки кабанов — амулеты.

Эстрин старался разобраться в некоторых особенностях семейно-брачных отношений на о-ве Буру: «Невеста покупается иногда еще грудным ребенком, от четырех лет и старше жених берет ее к себе и растит до 10—12 лет. Приготовленное местное лекарство способствует раннему созреванию девушки». Он привез обрядовый барабан, употреблявшийся во время брачной церемонии, и бирки, служащие «для пометок о принесенных женихом вещах в счет выкупа за невесту ее родителям» [6].

С о-ва Буру Эстрин привез также своеобразные музыкальные инструменты. Особо интересна трехструнная скрипка из цельного куска дерева, у которой дека прибита к резонатору деревянными гвоздиками, а струны сделаны из жил и кишок кускуса (phalanger — род млекопитающих семейства лазающих сумчатых). У другой скрипки дека вставлена в резонатор, а три деревянных колка вставлены перпендикулярно к грифу. «Туземец, житель Лексула, — вспоминает Эстрин, — продавая эту скрипку, соскоблил ее, думая, что так больше выручит. Со слов туземцев, эти скрипки издают особый звук, на который отзывается кускус, выдавая тем самым свое местонахождение» [7].

В начале 1922 г. кончился десятимесячный срок работы экспедиции. Токсопеус был вполне доволен своими русскими помощниками: в отчете от 1 апреля 1921 г. он писал, что только благодаря Анне Яковлевне Смотрицкой, взявшей на себя заботу о личинках насекомых, интересовавших ученого, ему удалось собрать и сохранить все их виды, существующие на Буру. Впоследствии Токсопеус неоднократно отмечал в отчетах [8] большую помощь супругов Эстриных в деле коллекционирования предметов зоологии, хотя это не входило в их обязанности, — они были наняты для технической и административной работы и справились с ней также превосходно. Члены экспедиции были сильно загружены работой, часто совершали большие пешие переходы к новым местам исследования в глубь острова. Между тем Эстрин успевал всюду знакомиться с буруанцами, с их образом жизни и приобретать этнографические предметы для своей коллекции. Это было непростым делом, ибо Эстрин приобретал их у населения главным образом путем обмена (на иголки, нитки, бусы, зеркальца, ножи, спички). «Пищу мы никогда не использовали для обмена, — говорил он, — табак, соль шли у нас только на подарки. Но обмен пищей мы допускали, — например, галеты меняли на яйца» [9].

Местное население относилось к Эстриным исключительно дружелюбно, что было связано и с интересом, который проявлял Эстрин к образу жизни островитян, и с медицинской помощью А. Я. Смотрицкой, конечно совершенно безвозмездной (в отличие от миссионеров, которые за лечение брали яйца, мясо, рыбу).

Буруанская коллекция — единственное в нашей стране этнографическое собрание с этого острова; она имеет поэтому особое значение для музееведения. Эстрин привез оттуда в Россию и большую зоологическую коллекцию, переданную им в Естественнонаучный институт Академии педагогических наук имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде.

В. Г. Богораз писал об этой коллекции: «У них богатые и причудливые сборы: летучие собаки калонги с острыми зубами, с перепончатыми крыльями, бабочки в пядь шириной, бабируса, малайский кабан с затейливыми клыками, изогнутыми в кольца». Дальше он писал о самих собирателях: «Пышная природа экватора опалила им душу, играла

на воображение. Как же не схватить жадными руками все это великолепие и не перенести его в далекую холодную Россию?» [10].

По окончании экспедиции Эстрины отправили приобретенные на Буру этнографические и зоологические коллекции пароходом прямо в Батавию, а сами решили свой путь удлинить, делая остановки на островах.

Первым на их пути они посетили о-в Амбон. На этом острове, богатом пряностями, раньше, чем на других островах Молуккского архипелага, появились европейцы; они и назвали их Островами Пряностей. Население о-ва Амбона было христианизировано еще португальцами, что отразилось на образе жизни, одежде, обычаях и развлечениях наряду с сохранявшейся традиционной культурой. Здесь Эстрин продолжил свою собирательскую деятельность и приобрел некоторые бытовые предметы, в частности изделия из скорлупы кокосового ореха (сосуд для воды и черпак, шумовку и воронку для варки и разлива сахара), а также плетеные изделия из бамбука, ротанга и пальмового листа (рис. 1). Некоторые предметы были сделаны уже в подражание европейским: столик, сплетенный из бамбука, шляпы, футбольный мяч из полосок бамбука.

Особое внимание Эстрина привлек процесс добывания и приготовления саговой муки, что является основным и специфическим занятием населения Молуккских островов, так как там саговая пальма росла в изобилии. Составленная коллекция дает полное представление обо всех стадиях добывания и обработки саго. Кроме того, Эстрин заказал модели орудий труда, употреблявшихся при этом: сооружения для промывки саговой сердцевины; мотыгу, которой вырубают сердцевину расколотого вдоль надвое ствола пальмы. Им были взяты образцы муки́ всех стадий очищения от почти не промытой, серой до чистой, белой, а также лепешки из саго. Не забыл он привезти и форму из красной глины, с шестью отделениями для выпечки таких лепешек и даже щетку из жестких волокон кокосовой пальмы для чистки таких формочек.

Кроме этнографических (всего 70) предметов, Эстрин собрал зоологическую коллекцию из 500 единиц.

С о-ва Амбон Эстрины перебрались на один из самых крупных островов Молуккского архипелага — Серам, где пробыли около недели. Здесь ими были собраны 14 предметов, в основном образцы праздничной и рабочей одежды. Из хозяйственных вещей они приобрели только очень красивый короб, сшитый из листьев пандана, окрашенных в красный цвет, с аппликацией растительного характера, расшитый по краю ракушками каури; привезли и совок, сплетенный из бамбуковых полосок и ротанга, для сцеживания масла после прожаривания в нем пищи. Этнографические коллекции по народам Южных Молуккских островов дают возможность составить представление о материальной и духовной культуре их населения.

По дороге с о-ва Серама на о-в Бали Эстрины ненадолго остановились на о-ве Ломбок, где также приобрели несколько предметов, которые показывают высокое мастерство их изготовления и оригинальное использование в быту. Таковы корзина-бутыль для выловленной рыбы, которую носили привязанной к удилищу; дверная деревянная ручка, вырезанная в форме ящерицы; очень нарядный кинжал в ножнах; сплетенная из полосок расщепленного бамбука шапочка. Головной платок, привлекший собирателя причудливым растительным орнаментом и сказочными птицами, был куплен им прямо на улице, у прохожего, который не заставил себя долго упрашивать и снял его с головы.

На о-ве Бали супруги пробыли дольше, чем предполагали. Бали — единственный в архипелаге остров, где, как известно, сохранилась индуистская религия, хотя и в своеобразном виде. Но и древние народные верования — поклонение природе, культ предков, пышные церемонии, красочное богослужение — продолжали оказывать влияние на быт и искусство балийцев. Своей исключительностью, неповторимостью Бали до сих пор привлекает внимание исследователей.

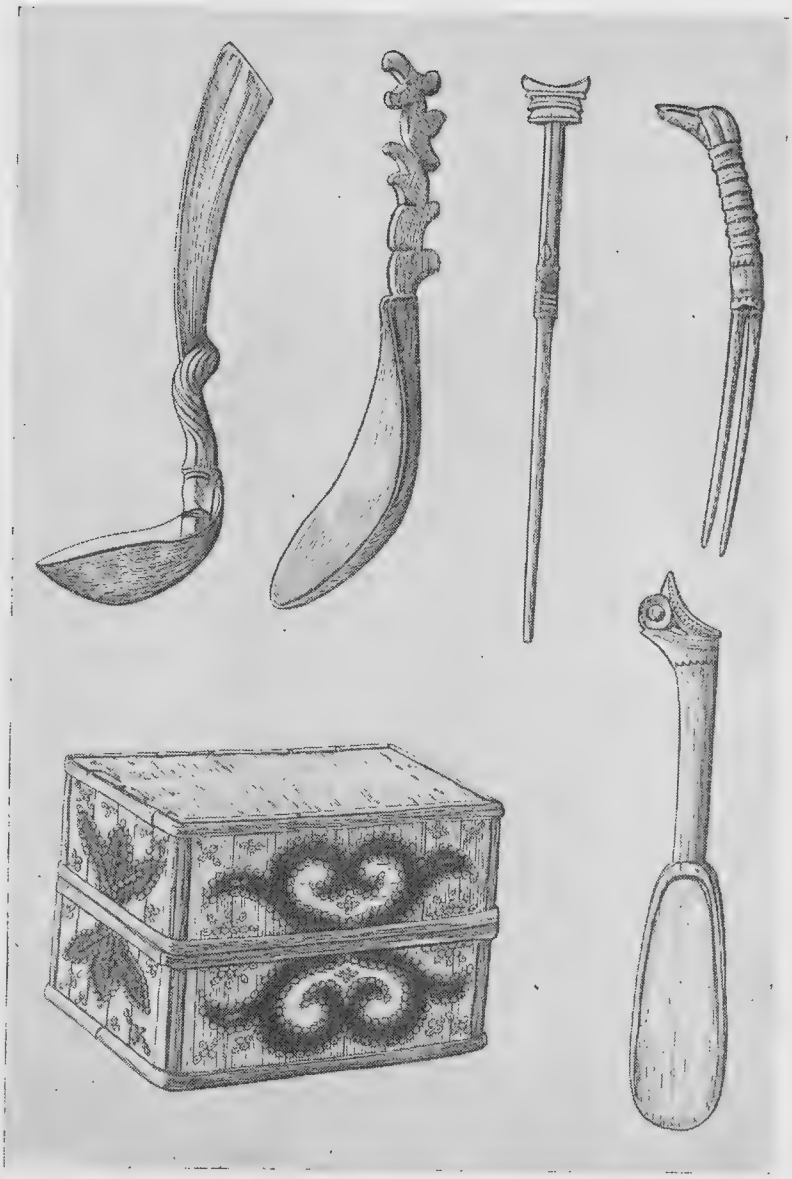


Рис. 1. Изделия жителей Молуккских островов

Привезенные Эстриными с о-ва Бали 75 предметов говорят о высоком развитии и своеобразии ремесла балийцев. Эстрин приобрел здесь несколько плетеных корзин, в которых женщины переносят на голове тяжести, топорик для обработки дерева, серп, сосуды из скорлупы кокосового ореха с резным, ажурным орнаментом, скульптуру из черного дерева, изображающую бога Кришну на быке.

Хотя Эстрины и не собирались приобретать вещи из драгоценных металлов и камней, даже если бы они и обладали высокими художественными достоинствами, для Бали было сделано исключение. «Я купил крис (кинжал), но уж очень хороша была золотая рукоятка — фигурка божества! Приобрел я еще один крис с серебряной рукояткой, изображающей птичью голову. Крисы на Бали изумительные!» [11] (балийцы достигли высокого мастерства в изготовлении кинжалов: клинки они, как известно, делали пламевидными, рукоятки изготовляли из резного дерева, слоновой кости, металла, иногда инкрустировали драгоцен-

Рис. 2. «Мать риса». Рисовая соломка; о-в Бали

ными камнями). Кроме того, в балийской коллекции находятся золотое кольцо и серебряные серьги в виде раскрытой корзиночки очень тонкой, филигранной работы.

На Бали были собраны также предметы, характеризующие народные развлечения: фигура теневого театра ваянга, музыкальные инструменты. В коллекции есть род варгана — пластинка из бамбука с вырезанным язычком: играющий прижимает ее к полуоткрытому рту, полость которого и служит резонатором. Играют на этом инструменте, ударяя пальцем по острому концу.

В Вакатане были куплены выдолбленный из дерева барабан цилиндрической формы, с ударной частью, обтянутой тонкой кожей, и дудочка, состоящая из двух бамбуковых трубок, вставленных одна в другую.

Народные развлечения представлены своеобразным предметом: металлическими шпорами, которые надевали петухам во время петушиных боев.

Среди многочисленных украшений есть деревянный браслет, инкрустированный двумя рядами треугольных перламутровых пластинок.

Не забыты были собирателями и народные верования. В частности, Эстрин привез изображение богини Прародительницы риса, или Матери риса — Девы Сри (Нини Пантун), искусно сплетенное из рисовой соломки с вырезанным из листа и разрисованным лицом. Каждый год его ставили на поле во время уборки урожая, после чего торжественно уносили к деревенскому храму. Эта церемония называется Мендок Нини (унести мать обратно). Затем каждая семья брала свою Мать риса и помещала в семейном амбаре на деревянном троне, на подушке (рис. 2).

«Когда мы ехали от острова к острову, — вспоминает А. С. Эстрин, — я знакомился с пассажирами судна, и, если меня интересовала какая-нибудь вещь, принадлежащая им, я просил ее продать» [12]. Так были приобретены вещи с островов Тернате, Бутон, Сулавеси, Танинбаре, хотя наши путешественники там и не были. Эстрин никогда не забывал прикрепить к предмету ярлычок, на котором указывал, откуда происходит предмет, его назначение, способ приобретения. Среди выставленных ныне в Музее антропологии и этнографии предметов из собраний Эстрина в шкафу «Суматра» красуется изумительная бронзовая модель двухколесной повозки; в повозку впряжен буйвол (рис. 3).

Эстриным была собрана также коллекция из 20 предметов, принадлежавших папуасам Западной Новой Гвинеи (Ириана), хотя сам он там и не был. Среди них следует особо отметить орнаментированные стрелы длиной 160 см, нагрудный панцирь из бамбуковых полосок и деревянных обручей, различные украшения (в том числе браслет из хвоста свиньи), календарь в виде семигранной палки из пробкового дерева, деревянные фигурки божеств, каменные топоры, фаллокрипт — мужское украшение из узкого калебаса, барабан в форме песочных часов и др.

Эта коллекция была первой в музее по этнографии Западной Новой Гвинеи и удачно сочеталась с имевшейся уже коллекцией с Восточной Новой Гвинеи.

По возвращении на Яву Эстрины сразу стали собираться на родину, в Россию. Более 1500 коллекционных предметов (80 пудов) были тщательно упакованы в 25 больших ящиках и подготовлены к отправке. Эстрины вместе с грузом отплыли в Голландию, чтобы оттуда перебраться в Россию. По дороге их коллекция пополнялась одиночными вещами. Во время остановки корабля на о-ве Цейлоне (Шри-Ланка) были приобретены модель лодки и браслет-запястье, в Порт-Саиде — три каменные египетские скульптуры.

Рис. 3. Модель повозки. Бронза; о-в Суматра

В Голландию Эстрины прибыли в начале 1923 г. и в ожидании визы на въезд в СССР работали в Амстердамском зоологическом музее, помогая бывшему начальнику экспедиции Токсопеусу разбирать зоологические материалы с о-ва Буру. Для получения визы они поехали в Берлин, где встретились с А. М. Горьким.

В архиве Ленинградского отделения Академии наук хранится копия письма А. М. Горького секретарю Академии наук академику С. Ф. Ольденбургу: «Дорогой Сергей Федорович, знакомые мои, Эстрин и Смотрицкая, за время четырехлетнего пребывания на Востоке в голландских колониях собрали 25 ящиков различных предметов, имеющих, как мне кажется, серьезное этнографическое значение.

Они хотят передать все эти вещи в один из музеев, например в Музей Академии наук. Будьте любезны, Сергей Федорович, облегчить, с присущей Вам добротой и вниманием к людям, задачу Смотрицкой и Эстрина. Желаю Вам всего доброго, А. Пешков. 3. V 1923 г.» [13].

В письме к К. А. Федину А. М. Горький писал об Эстриных, ссылаясь на оценку их деятельности С. Ф. Ольденбургом: «В отчете Академии наук [14] Вы найдете хвалу и благодарность Элкину [15] и Смотрицкой. Они собрали 79 ящиков различных предметов культа и быта островов Меланезии. Я знаю этих людей: он — рабочий-металлист, она — учительница. Бежали от Колчака и четыре года путешествовали, живя — она уроками языков, он — сваривал металлы, а попутно собрали изумительно полную, по словам Академии, коллекцию. Вот люди наших дней... А. Пешков. 28. VII 1924 г. Сорренто» [16].

Ученый-хранитель Музея антропологии и этнографии Академии наук, проф. В. Г. Богораз в своих заметках рассказывает: «Помимо письма М. Горького и секретаря Академии наук, они получили письмо от полномочного представителя РСФСР в Германии также к Академии наук с просьбой, чтобы коллекции Эстрина и Смотрицкой, как предназначенные в дар Академии, были освобождены от таможенных пошлин» [17].

И вот наконец Эстрины в Советском Союзе. Все коллекции удалось довезти без потерь. В музее их принял В. Г. Богораз. Он выслушал историю собирателей коллекции и характеризовал их позднее, как «живое ходячее чудо». В рабочем-металлурге Эстрине Богораз угадал призвание этнографа. В неопубликованном очерке об Эстрине он передает свои впечатления от первых бесед с ним и А. Я. Смотрицкой: «Россий-

ские землепроходцы в подлинных лицах, маленькие, нервные, с явными следами малайской малярии в расширенных глазах. Всякое дело в их руках кипит: сварка металлов, и починка сапог, и реставрация тонких музейных изделий, переломанных в дороге... И вот жест поразительно широкий и красивый: „Нате, берите все, нам ничего не надо. У нас есть руки, мы можем работать". Чета удивительная. Она слышать не хочет ни о чем, подавай ей школу трудовую: „В деревню уеду, — говорит, — там есть кого учить"... А у него десять специальностей. Он говорит на шести языках, ни на одном не пишет как следует. Бредит со сна по-малайски. Что же ему делать? Поступить на завод и работать по железу или пойти в институт и учиться, учиться этнографии, чтобы года через два отправиться на Яву же с другими глазами, широко открытыми?.. Мне жалко того крупного „полевого" ученого, который несомненно запрятан в этом беспокойном человеке, и хочется его вызвать наружу и пристроить к делу. Было бы очень желательно, чтобы, когда русские музеи... получат возможность возобновить свои тропические экспедиции, были подготовлены такие ученые и практические способные работники, как Эстрин и Смотрицкая» [18].

Еще в 1923 г. В. Г. Богораз писал: «А. С. Эстрин имеет природные способности к этнографии и большое желание посвятить себя этой трудной работе» [19].

Энтузиазм и способности Эстрина к собирательской работе вскоре вновь нашли применение. Летом 1929 г. Институту народов Севера понадобилось собрать коллекцию предметов, относящихся к промыслам, ремеслам и верованиям гольдов (нанайцев). Это дело предложили Эстрину, который с радостью согласился и уехал на Дальний Восток, не дожидаясь получения командировочных (это могло бы его задержать). За три месяца ему удалось собрать коллекцию, содержавшую около 500 предметов, которая в 1931 г. была передана в отдел Сибири МАЭ. Характеристика, данная собирательскому труду Эстрина В. Г. Богоразом в связи с выставкой гольдской (нанайской) коллекции в 1930 г., пожалуй, наиболее точно отражает особенности методики этого человека, ставшего этнографом: «Трудовая психология и опыт заводского рабочего дали возможность собирателю освоить трудовой опыт далекого амурского мастера серьезнее, полнее и с более точным анализом» [20]. К этому можно добавить слова научного сотрудника отдела Сибири Института этнографии АН СССР В. В. Антроповой: «Пожалуй, это единственная коллекция музея, которая с такой полнотой представляет процесс изготовления изделий и все разнообразие предметов».

Археологические находки говорят о том, что нанайцы с глубокой древности населяли низовья Амура. Собранные Эстриным материалы давали картину их жизни спустя десять лет после Октябрьской революции. Надо было торопиться, так как жизнь и быт этого народа быстро менялись. Гольды уже употребляли в обиходе утварь фабричного изготовления; из их самодельной посуды в быту оставалась только глиняная. Исчезали и суеверия. Молодой нанаец равнодушно расставался с деревянными фигурками медведя, тигра, барса, служившими якобы вместилищами священных духов.

В коллекции, собранной Эстриным, представлен процесс ковки металлов нанайцами, кирпичи, на которых устанавливались и закреплялись меха, сами меха и наковальня. «Из камня делается что-то вроде треножника, — пояснял собиратель, — посреди которого разводится огонь для накалки металла» [21]. Тут же необходимые при ковке орудия: тиски, клещи, молоток, зубило, пробойник, долото, а также куски стали; один — отрубленный холодным способом, другой — горячим.

Из изделий больше всего орудий труда, в основном ножей, среди которых мужские и женские ножи. Женщины плели циновки, употребляя при этом только большой кривой нож с узким лезвием; при помощи подобных ножей обрабатывали и рыбьи шкуры, которые очень ценились; этими же ножами чистили и разделывали рыбу. Мужские ножи — охот-

ничьи и для поделок из дерева. Ножи, различаясь по функциям, соответственно имели особые названия (гясо, сиясо, харпонг), зафиксированные собирателем. Были ножи только для того, чтобы намечать узоры на коре: при работе конец такого ножа нагревали. Были ножи для вырезания углублений на деревянных чашках и ложках. Эти ножи уже в конце 20-х годов стали редкостью, так как деревянную посуду перестали делать. Такой нож, представленный в коллекции, был найден у нанайца среди ненужных вещей. Хозяин охотно с ним расстался, сказав: «Больше не надо, в кооперации миски и ложки есть». «По всему району, где проехал, — пишет Эстрин, — не видел больше таких ножей». Помета: «Больше не употребляется» — часто встречается в сделанной им описи [22].

Футляры к охотничьим ножам были разнообразны по форме и орнаментам, иногда это было настоящее произведение искусства. Однако приобрести футляры было трудно: отдельно они не продавались, только вместе с ножом, а сами ножи очень ценились: «Удобный для охоты», — говорили нанайцы.

Рукоятки старых ножей, вырезанные из кости или дерева, зачастую также были покрыты орнаментом и инкрустированы, причем иногда даже трудно было понять, какой материал применялся для инкрустации: для змеевидного узора, например, использовались кусочки граммофонной пластинки, которые вкладывали в вырезанные желобки узора и проводили по ним горячим металлом. Когда рукоятка остывала, ее очищали, и получался черный узор. Это лишь один из примеров изобретательности нанайцев.

В нанайскую коллекцию входит множество стрел, к тому времени ставших уже ненужными охотникам. Отдавая их Эстрину, нанайцы поясняли: «Дедушка стрелял этим, сейчас не нужна, есть берданка». Нанайцы даже забыли название некоторых видов стрел. В коллекции имеется и старинная стрела с расщепленным на четыре зубца наконечником, о ней в описи указано: «Гольды когда-то меж собой воевали этим. Из самострела охотились на барсука, соболя, хорька. Теперь лук и стрелы стали детскими игрушками».

Часто это были находки: один наконечник был обнаружен, когда раскапывали землю, расширяя огород. Нанаец, нашедший наконечник, 74-летний старик, хотел сделать из него нож, но напильник не брал металла; он сообщил: «Отец рассказывал, что это старое шибко время».

Редкой находкой собирателя было очень стертое кольцо. Оно надевалось на большой палец правой руки, когда натягивали тетиву лука. О глубокой древности говорил каменный топор, случайно найденный в лесу лет 15 тому назад. Был получен Эстриным и второй такой топор, вытащенный одной женщиной из расколотого дерева. «Этим камнем гром раскалывает дерево», — сказала она. Известно, что каменные орудия раньше считались повсюду «громовыми стрелами».

В один из разделов коллекции были выделены инструменты: несколько сверлильных ручных станков (один для сверления отверстий в дереве, другой — в кости и металле), рубанок, пила, шило (им развязывали узлы на неводе и сшивали кожу). Рукоятки и различные детали инструментов также украшены резьбой.

Очень большое внимание было уделено собирателем рыболовству. В его коллекции имеются сети для разных пород рыбы; челноки для плетения сетей; грузила; изделия из рыбьей кожи; образцы выделанной кожи кеты, сома, щуки, сазана; веревки, мешок, рукавицы, мяч. Им были подобраны также образцы всех видов трав, которые использовали при выделке кожи.

И на Дальнем Востоке, как и в Индонезии, Эстрин интересовался реалиями культа. Им были приобретены фигурка человека, вырезанная из коры (подвешивали над детской люлькой); деревянная фигурка одноногого человека (носили, «когда болели ноги»); вырезанная из дерева рука, у которой кисть, плечо и предплечье соединены металлическими

кольцами (носили, когда «болела вся рука»). Один из самых редких амулетов в коллекции Эстрина — изображение медведя из свинца. Этот амулет был сделан для себя шаманом, у которого «все болело: живот, голова, руки, ноги», больной носил его на шее. По мере распространения медицинской помощи амулетами пользовались все реже. И этнографу становилось труднее их обнаружить.

Эстрин не только собирал предметы, но и описывал способ их употребления, ибо многие обычаи быстро уходили в прошлое. Так было и с музыкальными инструментами, в частности с костяной флейтой (собиратель видел их только две) и с металлическим варганом. Редко уже встречались и нанайцы, умевшие на них играть.

Эстрину без всякого сожаления уступали старую утварь, всегда с одним объяснением, что «в кооперативе можно купить предметы фабричного производства, и к тому же недорого». Так в коллекции появилась деревянная миска, вырезанная обоюдоострым ножом. Владелец охотно продал и нож, и миску: «Не надо больше, кооперация продает хорошие». А как раньше дорожили деревянной посудой, видно по другой миске из коллекции Эстрина: она была с заплатой из жести и свинцовой пробкой на донышке. Хозяин не помнил, когда сделал ее, но помнил, что перестал ею пользоваться пять лет назад, когда в районе открылась кооперативная лавка.

Деревянные ложки разной формы и назначения были прежде в большом ходу у нанайцев. Их вырезали из одного куска дерева вместе с кольцом, при помощи которого ложку можно было повесить на стену или прикрепить к поясу. И о ложках собирателю сообщали, что «теперь покупают алюминиевые».

К тому времени у нанайцев редкостью становились изделия из коры, тростника, оленьего рога, металлические пряжки, серьги, подвески. Все они перешли в коллекцию.

Выставленная в музее в 1930 г. «гольдская коллекция» А. С. Эстрина вызвала в Ленинграде огромный интерес. Около нее посетители толпились более, чем в других залах. Предметы быта, изделия из кожи, циновки и прочее давали живое представление о занятиях нанайцев: Эстрин оставался верен своему принципу — показать не только сам предмет, но и способ его изготовления.

В. Г. Богораз, находивший собранный А. С. Эстриным материал «обильным и поучительным для этнографа», так писал в наброске одной из своих статей [23]: «Гольдская техника представляет любопытное сочетание приемов и навыков, унаследованных... от неолита и даже палеолита, еще совершенно живых и действующих, с приемами работы по металлу, т. е. по меди, железу и стали, тоже усвоенными местными мастерами довольно широко и разнообразно. Если сравнить, например, с малыми народностями далекого Севера, Приамурская область представляет вообще смешение таких элементов: северных и южных, первобытных и высококультурных». Он сумел оценить подход собирателя к составлению коллекции: «Эстрин, как рабочий-специалист, подошел к выявлению гольдской техники несколько иначе, чем обычные полевые собиратели. Рядом с анализом гольдской техники я желал бы подчеркнуть полевые подходы Эстрина, достойные внимания, а также более широкого применения в других отраслях производства...

Прежде всего приходится отметить точное разграничение отделов техники: 1. Работа по металлу, холодная и горячая ковка; 2. Работа по дереву; 3. Работа по выделке кости и рога; 4. Работа по выделке кожи, звериной и рыбьей...

Далее нужно отметить повсюду обилие инструментов. Мы имеем настоящие наборы рабочих ножей и пробойников, рубанков и стругов, долотов и зубил в различных вариантах, которые порой интереснее основного типа. Гольдский набор инструментов далеко превосходит набор чукотский или эскимосский, наиболее скудный по всей северной Евразии, и является настоящим ремесленным набором. Выставка Эст-

рина в сущности представляет несколько ремесленных выставок, которые можно было бы разъединить, разложить по особым прилавкам и озаглавить: „Мастерская кузнеца“, „Мастерская резчика“, „Мастерская скорняка“!».

В. Г. Богораз отмечал в ряде случаев превосходство изготовленных нанайцами орудий над фабричными изделиями: «В числе достижений гольдской техники укажу выделку напильников, тисков, клещей, молотков, настоящих рубанков, похожих на русские, и даже сверлильных станков...».

Отмечал он и скудные запасы металла у нанайцев, вследствие чего ими использовался каждый металлический предмет до полного износа, а иногда в самом неожиданном употреблении. В коллекции Эстрина можно увидеть молоток, сделанный из медного крана, наковальню из отломанного обуха топора, вбитую в деревянную колодку. Подобное бережливое отношение к металлу и предметам, изготовленным из него, было характерно вообще для жителей Севера. «Топоры у них, — вспоминает Богораз, — истачиваются до последних крайностей, пока не остается обух, который и превращают в наковальню».

После возвращения из экспедиции к гольдам, с 1930 по 1932 г., Эстрин работал в музее научно-техническим сотрудником и составлял описи собранных им в Индонезии коллекций. Сохранившиеся в МАЭ авторские описи свидетельствуют о внимательности и вдумчивости исследователя.

Закончив обработку гольдских коллекций, Эстрин вновь возвратился к своей старой специальности, работал на ленинградских заводах и одновременно был инструктором в слесарной мастерской Института Севера, занимаясь там со студентами. После эвакуации во время Великой Отечественной войны он поселился в Москве до выхода на пенсию в 1954 г.; в 1970 г. он стал персональным пенсионером. На всю жизнь сохранилась его связь с Музеем антропологии и этнографии, для которого он так много сделал. В 1976 г. отмечалось пятидесятилетие его пребывания в рядах КПСС. 9 марта 1981 г. он умер.

Живя в Москве, А. С. Эстрин часто, пока позволяло здоровье, посещал музеи, выставки, живописные московские пригороды. Чувство прекрасного никогда не покидало его. Оно помогало ему с такой любовью составлять свои коллекции.

[1] Материалы, переданные А. С. Эстриным в Музей антропологии и этнографии, составили следующие коллекции (ниже они распределены по островам, где были приобретены собирателями): Ява — № 2905, 2944, 4130, 5175; Буру — № 2893, 5176; Амбон — № 2898, 2944; Серам — № 2897, 2947; Ломбок и Сулавеси (Целебес) — № 2901; Бали — № 2902, 5177; Новая Гвинея — № 2904; Суматра — № 2946, 5173. В архиве хранятся также фотоснимки, сделанные в Индонезии; часть фотоснимков находится в архиве Института этнографии АН СССР (в Ленинграде).

[2] Краткие биографические сведения об А. С. Эстрине и его коллекции с о-ва Буру см.: *Трисман В. Г.* Предметы культуры и быта населения Южных Молуккских островов: (Собрание А. С. Эстрина). — В кн.: Культура народов зарубежной Азии и Океании: Сб. МАЭ. Л.: Наука, 1969, № 25.

[3] Воспоминания А. С. Эстрина. Запись Е. И. Гневушевой, 1969, л. 9, 10 (Рукопись хранится у Е. И. Гневушевой).

[4] Архив АН СССР (ЛО), ф. 250, оп. 3, № 86, л. 1, 4.

[5] Там же.

[6] Воспоминания А. С. Эстрина, л. 15.

[7] Там же.

[8] *Toxopeus L. T.* A short acount of the expedition to Buru (Moluceas). — Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands aardrijkskunding genootschap, 1922.

[9] Воспоминания А. С. Эстрина, л. 14.

[10] Архив АН СССР (ЛО), ф. 250, оп. 3, № 86, л. 2—3.

[11] Воспоминания А. С. Эстрина, л. 14.

[12] Там же, л. 16.

[13] Архив АН СССР (ЛО), ф. 250, оп. 3, № 77.

[14] Отчет о деятельности Российской Академии наук за 1923 г., составленный академиком С. Ф. Ольденбургом. Л., 1924, гл. III. В отчете об академических учреждениях есть и Музей антропологии и этнографии (с. 118—119). С. Ф. Ольденбург писал: «Другим поступлением МАЭ обязано совершенно исключительному по настоящему времени факту. Двое русских граждан А. Эстрин и

А. С. Смотрицкая, случайно очутившиеся на о-ве Яве, из интереса к этнографии предприняли путешествие по собственной инициативе на Молуккские острова и собрали большую коллекцию по быту разных народов и по возвращении в Россию принесли ее в дар РАН. Коллекция эта, заключающая в себе 788 предметов, особенно ценна по тщательному и вполне научному подбору объектов и послужит прекрасным дополнением к музейному материалу по Индонезии» (Описка; инициалы Смотрицкой: А. Я.).

[15] Опечатка, должно быть «Эстрин». Отметим, кстати, что в книге Н. И. Гагенторн «Лев Яковлевич Штернберг» (М., 1975), где бегло упоминаются Эстрин и Смотрицкая, неверно даны их инициалы и фамилии.

[16] *Федин К.* Горький среди нас. М.: Сов. писатель, 1968, с. 211, 249.

[17] Архив АН СССР (ЛО), ф. 250, оп. 3, л. 3.

[18] Там же, оп. 3, № 86, л. 2—3.

[19] Там же, ф. 289, оп. 3, л. 2.

[20] Выставка по технике хозяйства гольдов. Колл. А. С. Эстрина. — Архив АН СССР (ЛО), ф. 250, оп. 3, л. 2.

[21] Фонды МАЭ. Легенда к коллекции № 4424.

[22] Там же.

[23] Архив АН СССР (ЛО), ф. 250, оп. 3. Далее в нашей работе даны цитаты из этой статьи.

В. И. Васильев, Ю. П. Прибыльский

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. А. ДУНИНА-ГОРКАВИЧА В ОБЛАСТИ ЭТНОГРАФИИ ОБСКОГО СЕВЕРА *

(Основные вехи жизненного пути)

Во второй половине XIX—начале XX в. выдвинулось немало исследователей, работы которых по этнографии не утратили научной и практической ценности и в наше время. К их числу можно отнести А. А. Дунина-Горкавича, неутомимого исследователя Тобольского Севера, давшего в своем трехтомном труде подробное этнографическое описание коренных народов этого края [1].

Александр Александрович Дунин-Горкавич не был уроженцем Сибири. Он родился (в 1854 г.) в Западной Белоруссии, в семье обедневшего польского шляхтича [2]. Родители с трудом дали сыну образование. Дунин-Горкавич успешно закончил Гродненскую гимназию и Лисинское лесное училище. Свою трудовую деятельность он начал в Московской губернии, где проводил съемку лесов.

В 1875 г. Дунин-Горкавич был призван на военную службу, участвовал в русско-турецкой кампании 1877—1878 гг., отличился в боях за освобождение Болгарии, получив чин унтер-офицера и боевую медаль за храбрость.

После окончания военных действий Дунин-Горкавич вернулся к своей профессии и в течение двух десятилетий работал в лесничествах Европейской России. Все это время он с большим упорством пополнял свои знания по лесоводству, географии, истории и экономике России. Когда Дунину-Горкавичу предложили служить в Сибири, он без колебаний сделал выбор, определивший всю его дальнейшую судьбу.

В 1890 г. он прибыл к месту новой службы в качестве лесничего Самаровского лесничества Тобольской губернии. Перед ним открылись необозримые таежные просторы Приобья. Самаровское лесничество по величине занимаемой территории представляло собой самое крупное лесное хозяйство России, но это был отдаленный, суровый, неизведанный край, который еще ждал своих исследователей. Познать его могли люди, физически и нравственно крепкие, упорные в достижении цели. Этими качествами сполна обладал Дунин-Горкавич.

Главному делу всей жизни — изучению и описанию Тобольского края — Дунин-Горкавич посвятил без малого сорок лет.

Начальный этап его деятельности на посту Самаровского лесничего был посвящен познанию Тобольского края, его географии, природы и жителей. Он много ездил, стараясь проникнуть в самые отдаленные

---

* Источником для статьи послужили опубликованные труды А. А. Дунина-Горкавича, его рукописи и другие архивные документы, хранящиеся в Отделе письменных источников Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ), данные периодической печати о нем, воспоминания родственников ученого. Авторы выражают признательность научным сотрудникам музея-заповедника В. И. Корытовой и В. И. Трофимовой за помощь в подборе необходимых материалов.

уголки, а по возвращении в губернский центр стремился собрать скудные и разрозненные сведения об Обском Севере в библиотеке Тобольского музея, изучал документы местного статистического комитета, вел опросы старожилов и бывалых людей. «Ознакомление мое с Севером происходило постепенно, — вспоминал Дунин-Горкавич. — Сначала необходимо было входить в постоянные соприкосновения с населением по делам службы. Затем это дело меня так заинтересовало, что пришлось поставить задачей изучение края, связать с ним значительную долю своей деятельности» [3].

Большую роль в формировании научных взглядов Дунина-Горкавича, в определении программы и методики исследований сыграл губернский агроном, страстный краевед, бессменный хранитель Тобольского музея Н. Л. Скалозубов [4]. По его совету Дунин-Горкавич приступил к подбору коллекций орудий труда и предметов быта коренных народов Обского Севера. В 1895 г. Дунину-Горкавичу была присуждена большая серебряная медаль на Курганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке «За опыт собирания систематической коллекции предметов домашнего быта и принадлежностей промысла обитателей Севера и за фотоснимки с инородцев» [5]. В следующем году работники музея подготовили Северный отдел (по Тобольской губернии) на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Выставочный комитет наградил Дунина-Горкавича дипломом «За научную ценность составленной коллекции по этнографии и промыслам остяков (хантов. — *В. В., Ю. П.*)» [6].

Результаты исследовательской и собирательской работы 1890—1896 гг. были изложены Дуниным-Горкавичем в публикациях; из них выделяется «Север Тобольской губернии» [7], где уже просматриваются контуры его будущей трехтомной монографии. Наряду с природно-географическими и экономико-географическими разделами эта статья включает и сведения по этнографии ненцев (самоедов), хантов (остяков), манси (вогулов).

В приложении автор поместил оригинальную «Программу исследований экономического быта населения Севера», включавшую и вопросы этнографического плана, которая стала основным инструментарием его научно-исследовательской и научно-практической деятельности на долгие годы. В дальнейшем Дунин-Горкавич неоднократно уточнял и расширял свою программу применительно к задачам комплексного исследования природы, промыслового хозяйства, экономического положения и этнографии коренных жителей Обского Севера. «Вследствие тесной связи между отдельными отраслями местного хозяйства, — писал он в одной из позднейших работ, — мне невольно пришлось обратиться к изучению не только лесов, но и промыслов, оленеводства, путей сообщения и т. д. Знакомясь при этом с бытом остяков и вогулов, населяющих лесную область, я не мог оставить без внимания самоедов, изучение быта которых представляло для меня значительный интерес, и зырян, как элемент, который призван играть здесь видную роль» [8].

Осуществление намеченной программы исследований было связано с немалыми материальными затратами. Губернские власти отказались финансировать его работы, и Дунину-Горкавичу пришлось взять все расходы на себя. «Многочисленные поездки на Север, — вспоминал он впоследствии, — я совершал по личной инициативе, безо всякой посторонней помощи, исключительно на собственные средства» [9].

Преодолевая бесчисленные трудности, Дунин-Горкавич развернул работу в масштабах, небывалых для местного края, сначала в таежной зоне Обского Севера, а затем и в заполярной тундре. В течение пяти лет (1898—1903) зимой и летом следовали одна за другой поездки на Север. С записной книжкой, фотоаппаратом и планшетом Дунин-Горкавич прошел по тайге пешком, проплыл на лодках по рекам и озерам 50 тыс. км! Он досконально изучил природные условия бассейна Средней Оби и ее притоков, побывал на берегах «самоедского» священ-

ного озера Нумто. Дунин-Горкавич посетил многие русские селения, юрты рыбаков и охотников хантов и манси, чумы ненецких оленеводов, опросил сотни жителей. Кроме сбора научных сведений и музейных экспонатов, он проводил многочисленные топографические съемки, материалы которых легли в основу составленных им карт Тобольского Севера.

В 1904 г. в Петербурге вышел из печати первый том сочинения Дунина-Горкавича «Тобольский Север» с подзаголовком «Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности населения», где он дал обстоятельный анализ промыслового хозяйства и экономического положения коренного населения.

Специальная глава в этом томе посвящена этническому составу всех народностей Обского Севера: хантов, манси, ненцев, а также коми. В отличие от других авторов Дунин-Горкавич не претендовал на описание всего комплекса их культуры, а уделил основное внимание выявлению региональных этнических особенностей. Так, в составе «остяков» он выделяет ваховскую и казымскую группы, подчеркивая их особую активность в освоении новых территорий. Впервые в этнографической литературе он приводит список родовых подразделений — «ватаг» «каменных самоедов» и сведения о различных территориальных группах «низовых самоедов» и «лесных самоедов», подробно останавливается на сложных взаимоотношениях между коми-зырянами и другими народами Обского Севера. Он идет значительно дальше своих предшественников, попытавшись выделить в составе западносибирских народов локально-территориальные группы с их хозяйственной спецификой. Так, всех «остяков» он подразделяет на лошадных и оленных, а у последних в свою очередь выявляет четыре группы, различающиеся степенью значимости оленеводства в хозяйственном цикле. Особую группу, по его классификации, составляют «остяки» бассейна Малой Сосьвы, не имеющие ни лошадей, ни оленей.

Значительное место Дунин-Горкавич отводит в своей работе ведущим промысловым отраслям Тобольского Севера: пушной и мясной охоте, оленеводству, рыболовству, сбору кедрового ореха. Он не только подробно характеризует основные виды таежной и речной фауны, орудия и приемы лова, но и уделяет большое внимание экономическому положению промысловиков. Особенно обстоятельно освещает Дунин-Горкавич организацию промысла и положение рабочих (приезжих русских и коренного населения) на неводных «песках»-тонях, так как именно в промышленном рыболовстве отношения между рабочими и работодателями или их доверенными лицами выступали в наиболее откровенной и неприкрытой форме капиталистической эксплуатации одних другими.

В книге Дунина-Горкавича вскрыт двойственный характер развития рыболовства в Обско-Иртышском бассейне. Эта отрасль сохраняла натуральный характер, так как бо́льшая часть ежегодного улова шла на нужды местного населения, но с развитием пароходного сообщения, связавшего рыболовные промыслы с рынками сбыта, на Обском Севере стал быстро утверждаться промышленный капитал.

Рушилось общинное пользование рыболовными угодьями, а следовательно и натуральное хозяйство коренных жителей Севера.

В результате в конце XIX—начале XX в. подлинными владельцами лучших рыболовных угодий Обь-Иртышского бассейна являлись не их действительные собственники — представители народов Севера, а торговые фирмы Плотниковых, Корниловых, Туполевых, Новицких, их многочисленные агенты и посредники. «Наблюдается почти общее явление, — писал Дунин-Горкавич, — что тот или иной промышленник арендует водный район в продолжение десятков лет, становясь как бы полным владельцем» [10]. После окончания аренды «инородец» бывает «должным арендатору сотни рублей и волей-неволей рыболовное место остается в руках прежнего арендатора» [11]. Торговцы обосновались в первую очередь в тех промысловых районах, которые сулили им наибольшие

барыши: в низовьях Иртыша и Оби, на Вахе, Конде и Сосьве, откуда шли пути на Томск, Тобольск, Тюмень, Екатеринбург. Пользуясь попустительством и продажностью местных властей, они безжалостно обирали, обманывали и спаивали «инородцев». К. Марксу принадлежат слова о том, что «повсюду, где торговый капитал имеет преобладающее господство, он представляет систему грабежа...» [12]. Обский Север в этой «системе» не составлял исключения. «Благодаря зависимости инородцев и даже мелких промышленников от крупных, — писал Дунин-Горкавич, — последние имеют возможность при существующем способе торговли получать баснословные выгоды» [13]. Используя неэквивалентный обмен, местные дельцы увеличили вывоз дешевой обской рыбы на рынки Урала и Сибири за 40 лет (с 1861 по 1900 г.) в 5 раз [14].

Дунин-Горкавич был первым исследователем, попытавшимся выяснить этнический и социальный состав и экономическое положение наемных рабочих, занятых в сфере капиталистического рыболовного промысла Обского Севера. В зависимости от условий купли-продажи рабочей силы он выделяет три категории рыбаков. К первой, самой многочисленной, он отнес так называемых караванных рабочих. Это были русские крестьяне-отходники из Тобольского, Тюменского и Туринского уездов губернии; бедняки-татары, «бухарцы», «остяки» и «самоеды» (добрая половина которых «сдавалась» волостными правлениями и инородческими управами за долги и недоимки), а также политические ссыльные различных национальностей. Вторую категорию составляли рабочие-пайщики, которые нанимались на путину артелями; бóльшая часть улова шла хозяину как плата за невод и лодку, одежду и питание. Артели состояли преимущественно из местных крестьян — русских и зырян. К третьей, наиболее угнетаемой, категории принадлежали «полуневодчики» — «остяки» и «самоеды» низовьев Оби. Половину выловленной рыбы они сдавали нанимателю за «подъем» (аванс деньгами и натурой), другую половину продавали ему же по цене, им установленной [15]. На крупные промыслы привлекались рыбаки всех категорий, на средние и мелкие — пайщики и полуневодчики.

Тяжелый сезонный труд, низкая заработная плата, примитивные бытовые условия, скверное питание, отсутствие медицинской помощи, грубое обращение хозяев — такова картина рыбных промыслов, нарисованная Дуниным-Горкавичем. Вдвойне трагичной была судьба коренных жителей края [16].

Став к этому времени видным представителем местной администрации — главным губернским лесничим, Дунин-Горкавич тем не менее нашел в себе смелость публично обвинить всю систему царского управления северными окраинами России в полном пренебрежении к нуждам и интересам коренных народов. «Ни общество, ни государство равно ничего не сделали в пользу инородцев, — писал он, — да и в настоящее время трудно рассчитывать на то, чтобы государство решилось на радикальную реформу: вопрос этот очень сложный и не исчерпывается инородцами Тобольского Севера; ведь масса инородцев раскинута на необъятном пространстве империи вплоть до Берингова пролива» [17]. Выход из создавшегося положения Дунин-Горкавич видел, однако, в экономических преобразованиях, включавших мероприятия по упорядочению и рационализации рыбного и звериного промыслов, оленеводства, развитию сельского хозяйства, водных и железнодорожных путей сообщения, по планомерному использованию лесных запасов, а также в улучшении быта и охраны здоровья коренного населения Севера, ликвидации его многовековой отсталости.

Таким образом, предложения и проекты Дунина-Горкавича не выходили за рамки частных реформ и не затрагивали основ существовавшего правопорядка. Но и эти меры, несмотря на всю их классовую ограниченность, имели бы в случае их осуществления безусловное прогрессивное значение. «Неспособность удовлетвориться „мелкими усилиями“ буржуазного прогресса, — писал В. И. Ленин, — вовсе не означает

абсолютного отрицания частных реформ. Марксисты вовсе не отрицают некоторой (хотя и мизерной) пользы этих мероприятий: они могут принести трудящемуся некоторое (хотя и мизерное) улучшение его положения; они ускорят вымирание особенно отсталых форм капитала, ростовщичества, кабалы и т. п.. . .» [18]

Но в дореволюционной России большинство проектов Дунина-Горкавича воспринималось как бесплодная утопия и даже не рассматривалось. Не добившись поддержки официальных учреждений, Дунин-Горкавич развернул активную пропаганду необходимости расширения естественных и экономических знаний об Обском Севере с целью привлечь внимание общественности к нуждам его коренных жителей. «Исключительной целью, ради которой я потратил время, труд и средства, было заинтересовать известную часть общества условиями быта обитателей края и обратить внимание надлежащих сфер на его положение», — писал он [19].

Когда в Тобольске по инициативе Н. Л. Скалозубова были образованы отделения Российского общества рыбоводства и рыболовства, а также Российского общества судоходства, Дунин-Горкавич деятельно включился в их работу. В 1903 г. как специалист по Обскому Северу он был приглашен в Петербург, где выступил с докладами на заседаниях правления Русского географического общества и Российского общества судоходства [20]. В 1908 г. Дунин-Горкавич вновь побывал в Петербурге и на заседании правления Российского общества судоходства сделал доклад «Нужды судоходства и рыболовства на Тобольском Севере». В другом докладе, в Русском Географическом обществе, он не только привел новые данные по географии и гидрографии Ямальского полуострова, но и выдвинул предложения по улучшению хозяйства и быта коренных жителей этого отдаленного уголка Сибири.

В том же году на Международном конгрессе по судоходству, проходившем в Петербурге, демонстрировались естественноисторическая, этнографическая, лингвистическая и другие карты Обского Севера, составленные Дуниным-Горкавичем; они получили высокую оценку. В 1911 г. Русское географическое общество удостоило Дунина-Горкавича малой золотой медали за составление оригинальной карты Тобольской губернии. Выполненная в красках, карта содержала подробные и точные сведения не только о сельскохозяйственных, лесных и промысловых угодьях, населенных пунктах, но и о численности и составе местного населения. Эта карта в течение многих десятилетий успешно служила делу освоения Обского края [21].

В 1903—1908 гг. Дунин-Горкавич перенес свои исследования в заполярную тундру. Ему удалось добиться не только выделения инструментов и приборов для работ в Заполярье, но и предоставления в свое распоряжение парохода «Тобольск», приспособленного к плаванью в северных широтах.

В эти годы ученый работал в низовьях Оби, плавал по Обской губе, побывал на побережье Ямала, в бухте Находка, где изучал возможности устройства перевалочной базы для перетранспортировки грузов с морских кораблей на речные суда. И всюду он собирал данные о состоянии промыслов ненцев, в особенности рыболовства и оленеводства, интересовался их экономическим положением, приобретал музейные экспонаты.

В 1909 г. он был избран членом-корреспондентом Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Академии наук, в дар которому передал обширную этнографическую коллекцию по народам Обского Севера (образцы и макеты промысловых орудий, предметов быта, транспортных средств и т. п.). Тесные многолетние научные контакты связывали Дунина-Горкавича с Тобольским губернским музеем, экспозицию и фонды которого он щедро и бескорыстно пополнял экспонатами, приобретенными во время своих путешествий по Северу. В 1911 г. он подготовил экспозицию из хранящихся в музее изделий хантыйского искусства и ремесла для первой Западносибирской выставки в Омске [22].

В 1910 г. в Тобольске увидел свет второй том монографии Дунина-Горкавича, содержащей материалы по географическому и статистико-экономическому районированию Тобольского Севера; годом позже там же был опубликован третий, итоговый том, названный автором «Этнографический очерк местных инородцев».

В этом томе приведены обширные сведения по этнографии всех трех коренных народов Обского Севера. В отдельных главах нашли отражение разные стороны традиционной культуры: одежда, жилище, пища, средства передвижения. Описаны промыслы хантов, манси и ненцев, орудия и способы охоты и рыболовства. Работа включает разделы об административно-правовом устройстве северных народов, их верованиях, художественных ремеслах, музыкальной культуре, народной медицине. В приложениях даны очерки по истории городов (Сургута, Березова, Обдорска) и сел Тобольского Севера, приведены образцы фольклора, иллюстративные материалы и пр.

Труд Дунина-Горкавича получил высокую оценку современников. Он не утратил своего значения и в наши дни как наиболее полная сводка по этнографии коренных народов Обского Севера на рубеже XIX—XX вв. Эта работа постоянно используется исследователями как в нашей стране, так и за ее пределами. Сам автор весьма строго подходил к оценке своей книги: «Я сознаю, что мое исследование недостаточно широко и несовершенно. Но ввиду того, что все это дело было предоставлено лишь моим единоличным силам и средствам, я сделал все, что мог» [23].

Разносторонность научных интересов Дунина-Горкавича нашла выражение и в его работе над языками народов Севера. Владея разговорным ненецким и хантыйским языками, Дунин-Горкавич постоянно пополнял свой словарный запас, собирал, систематизировал и истолковывал понятия и термины. В 1910 г. он опубликовал сравнительный русско-хантыйско-ненецкий словарь (свыше 2 тыс. слов) — единственное произведение такого рода, выполненное в дореволюционной России на лингвистическом материале народов Севера [24].

Победу Октябрьской революции на Обском Севере Дунин-Горкавич встретил в преклонном возрасте. Гражданская война и последующая разруха, с одной стороны, болезни и старость, с другой — несколько ограничили сферу научной и общественной деятельности ученого, но не приостановили ее. Дунин-Горкавич принадлежал к той части русской творческой интеллигенции, которая поверила в силу и жизнеспособность народной власти и, не колеблясь, предложила ей свои знания и практический опыт. С неослабеваемой энергией, с глубокой верой в будущее родного края он выполнял многообразные служебные и общественные поручения, занимался писательским трудом, пропагандировал знания о Тобольском Севере.

В 1920 г., когда в Тобольске был организован республиканский Обь-Иртышский рыбопромышленный трест, Дунин-Горкавич стал там научным консультантом. Он руководил подготовкой к Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1923 г. в Москве. На выставку было представлено 65 натуральных образцов, характеризующих рыбные богатства Обь-Иртышья, орудия и виды промысла, технологию обработки продукции. Многочисленные таблицы и диаграммы, изготовленные Дунином-Горкавичем, раскрывали состояние и перспективы развития этой ведущей отрасли северного хозяйства [25].

Он стоял у истоков кооперативного строительства на Севере, был консультантом окружного правления Северосоюза. Дунин-Горкавич принимал деятельное участие в работе Тобольского комитета Севера и по его заданию вел подготовку к Приполярной переписи населения РСФСР 1926/27 гг. Он возглавил массовое краеведческое движение в Тобольском округе, написал курс по краеведению [26], сотрудничал в местном журнале «Наш край» [27], читал курс краеведения в Зооветеринарном тех-

никуме. В этот период Дунин-Горкавич возвращается к проблемам подъема производительных сил края [28].

Итогом научной деятельности Дунина-Горкавича и своеобразным завещанием будущим преобразователям Севера явилась рукопись «Тобольский Север. Естественные и производительные силы» [29]. В этой работе автор развернул комплексный план восстановления и реконструкции северного хозяйства на новой, социалистической основе. Как подчеркивает Дунин-Горкавич, хозяйственная практика должна учитывать интересы и опыт северных народностей, способствовать их скорейшему социальному и духовному возрождению. Приступая к преобразованию Обского Севера, пишет он, следует твердо помнить, «что, кроме природных богатств, на этой окраине есть разнородное население с самобытным укладом жизни, с интересами и нуждами которого надлежит согласовывать все свои действия» [30], относиться к нему «весьма внимательно и бережливо, в особенности к северным инородцам». Он подчеркивал, что специфика Севера «требует специальных методов... административного управления и защиты интересов пока еще экономически слабого и малокультурного населения» [31].

В 1926 г. Президиум Академии наук СССР по ходатайству Тобольского окружного Совета рабочих и крестьянских депутатов признал Александра Александровича Дунина-Горкавича ученым всесоюзного значения и установил ему персональную пенсию.

Но 9 января 1927 г. жизнь Дунина-Горкавича оборвалась. Смерть застала исследователя за письменным столом, когда он правил свою очередную рукопись.

Всего Дуниным-Горкавичем опубликовано 35 работ, в том числе три монографии. Вместе с пятью рукописями, хранящимися в архивах, общий объем его научной продукции составляет свыше 110 авторских листов.

Практика социалистических преобразований, осуществленных на Обском Севере, подтвердила научную прозорливость Дунина-Горкавича. Все его проекты, связанные с переустройством экономики и культуры коренного населения, нашли практическое воплощение. И сегодня, как и 60 лет тому назад, труды Дунина-Горкавича служат людям, помогают им лучше понять прошлое, оценить настоящее, планировать будущее Крайнего Севера.

[1] *Дунин-Горкавич А. А.* Тобольский Север. СПб., 1904, т. I; Тобольск, 1910, т. II; Тобольск, 1911, т. III.

[2] Более подробные биографические данные об А. А. Дунине-Горкавиче приведены в работах Ю. П. Прибыльского (*Прибыльский Ю.* Тридцать семь лет на Севере. — Тюменская правда, 1968, 14 янв.) и Г. Перевозкиной (*Перевозкина Г.* Поиски и открытия Дунина-Горкавича. — Урал, 1977, № 5, с. 155—159). Формулярный послужной список А. А. Дунина-Горкавича (1916) хранится в Отделе письменных источников ТИАМЗ.

[3] *Дунин-Горкавич А. А.* Рыболовство в низовьях Оби. Рукопись. Отдел письменных источников ТИАМЗ.

[4] О краеведческой деятельности Н. Л. Скалозубова см.: *Суринов В. М.* Николай Лукич Скалозубов. — В кн.: Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея. Тюмень, 1963, вып. 3, с. 70—82; *Он же.* Этнографические исследования Н. Л. Скалозубова. — В кн.: ОИРЭФА. М.: Наука, 1968, вып. IV. (ТИЭ. Нов. сер.; Т. 94).

[5] ЕТГМ, Тобольск, 1895, вып. IV, прил. 2.

[6] ЕТГМ, 1896, вып. VI, разд. VII, с. 1—14.

[7] *Дунин-Горкавич А. А.* Север Тобольской губернии. — ЕТГМ, 1897, вып. 8, с. 1—156.

[8] *Дунин-Горкавич А. А.* Рыболовство в низовьях Оби, л. 2.

[9] Там же, л. 9, 11.

[10] *Дунин-Горкавич А. А.* Тобольский Север, т. I, с. 244.

[11] Там же, с. 248.

[12] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 25, ч. I, с. 364.

[13] *Дунин-Горкавич А. А.* Тобольский Север, т. I, с. 245.

[14] Там же, с. 243.

[15] Там же, с. 212—226.

[16] По состоянию на 1 января 1900 г., общая численность населения Обского Севера составляла 35 тыс. человек, из них пенцев, хантов и манси — около 85%. См.: *Дунин-Горкавич А. А.* Тобольский Север, т. I, с. 76, 98.

[17] *Дунин-Горкавич А. А.* Тобольский Север, т. I, с. 142.

[18] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 1, с. 385.

[19] *Дунин-Горкавич А. А.* Рыболовство в низовьях Оби, л. 8.

[20] Доклады «Географический очерк Тобольского Севера» и «Очерк народностей Тобольского Севера» были опубликованы в «Известиях РГО» (1904, т. X); доклады «Современное положение Обского рыболовства» и «Кратчайший транзитный путь Обь—Кама» — в журнале «Русское судоходство» (СПб., 1903, № 6, 7).

[21] *Перевозкина Г.* Поиски и открытия Дунина-Горкавича, с. 157.

[22] ЕТГМ, 1909, вып. XIX, с. 1—10, 136; Уральское краеведение, 1927, вып. 1, с. 143.

[23] *Дунин-Горкавич А. А.* Рыболовство в низовьях Оби, л. 9.

[24] *Дунин-Горкавич А. А.* Русско-остяцко-самоедский практический словарь. Тобольск, 1910.

[25] Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области, ф. 33, оп. 1, д. 77, л. 22—67.

[26] Курс краеведения Тобольской губернии. Рукопись (1920). Отдел письменных источников ТИАМЗ.

[27] «Наш край» — журнал Тобольского окрисполкома и Тобольского окружного краеведческого музея. Выходил в 1924—1926 гг.

[28] *Дунин-Горкавич А. А.* Исторический обзор попыток проведения на Тобольск железной дороги. Рукопись (1923). Отдел письменных источников ТИАМЗ. Личный фонд А. А. Дунина-Горкавича.

[29] *Дунин-Горкавич А. А.* Тобольский Север. Естественные и производительные силы (1925). Отдел письменных источников ТИАМЗ. Личный фонд А. А. Дунина-Горкавича.

[30] Там же, л. 10.

[31] Там же, л. 10—11.

Н. А. Алексеев

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ В ИЗУЧЕНИИ ЭТНОГРАФИИ И ЯЗЫКА ЯКУТОВ

(Деятельность В. М. Ионова и других собирателей)

В конце XIX—начале XX в. большую роль в научном изучении Якутии сыграли политические ссыльные. Среди них одно из видных мест занимает Всеволод Михайлович Ионов — исследователь быта, устного народного творчества и языка якутов. Научную работу он проводил в содружестве со своей женой, якуткой по национальности, Марией Николаевной Ионовой — одной из первых грамотных женщин Якутии, известной сказительницей героического эпоса олонхо, знатоком якутского фольклора и традиционных религиозных верований. Описание жизни, педагогической и научной деятельности В. М. и М. Н. Ионовых представляет интерес для тех, кто изучает или просто хочет полнее знать историю отечественной этнографии и русской политической ссылки.

В. М. Ионов родился в 1851 г. в Астрахани, в семье почтмейстера. «Образование В. М. первоначально получил домашнее, затем в Царицынской гимназии и некоторое время был студентом Петербургского Технологического института» [1]. За революционную деятельность В. М. Ионов в 1875 г. был исключен из института [2]. В середине 70-х годов он жил в Москве, где «держал по Садовой улице, на средства одного из своих товарищей, квартиру, в которой происходили частые собрания рабочих разных фабрик и заводов, и тут же среди них распространялась революционная литература. В 1876 г. В. М. был арестован в Москве и осужден в июне 1877 г. сенатом» [3]. В. М. Ионов был приговорен за распространение нелегальной революционной литературы среди рабочих к лишению всех прав состояния и к ссылке на каторжные работы сроком на 5 лет. Каторгу он отбывал начиная с 1878 г. в Ново-Белгородской каторжной тюрьме, затем Мценской политической тюрьме и на Карийской каторге, куда он прибыл в 1881 г.[4] В 1883 г. В. М. Ионов был отправлен на поселение в Якутскую область. В первое время он жил в 4-м Баягантайском наслеге Баягантайского улуса, Якутского округа. В 1886 г. он самовольно переехал в 2-й Игидейский наслег того же улуса, на земельный надел политических ссыльных Н. А. Виташевского и Б. И. Костецкого. Здесь вначале В. М. Ионов занимался хлебопашеством. Затем основное внимание стал уделять педагогической и научной деятельности. Первое время он обучал детей грамоте на дому [5].

В 1893 г. В. М. Ионов женился на якутке Марии Николаевне Андросовой (фамилия по первому мужу). Она родилась в 1864 г. во 2-м Игидейском наслеге Батурусского улуса, Якутского округа. М. Н. Андросова, по свидетельству Э. К. Пекарского, писала «по-бетлингговски» [6] и стала постоянной помощницей мужа в изучении духовной культуры якутов.

В 1893 г. Ионовы переехали в 2-й Жехсогонский наслег Батурусского улуса, где основали частную школу для обучения якутских детей

грамоте [7]. По данным В. Ф. Афанасьева, В. М. Ионов создал первую школу «в 1897 г. в первом Жехсогонском наслеге Батурусского улуса (ныне Алексеевского района) в усадьбе богатого якута А. И. Слепцова. За трехлетнее существование эта школа получила широкую известность образцовой постановкой учебно-воспитательной работы» [8]. Как отмечал Н. А. Виташевский, официальное разрешение заниматься педагогической деятельностью из числа политических ссыльных Якутии было дано, кажется, одному В. М. Ионову, так как он «даже в Европейской России мог бы пользоваться известностью, как замечательный педагог» [9].

В 1899 г. семья Ионовых переехала в Якутск, где В. М. Ионов «сразу же принял деятельное участие в общественной и педагогической жизни» [10]. В 1900 г. он поступил учителем в частную начальную школу И. Н. Эверстова. В январе 1902 г. она была преобразована в частное училище: «Официально оно называлось училищем Эверстова, но народ называл его Ионовским» [11]. В этом училище В. М. Ионов проработал до 1910 г. Он считался в Якутском крае одним из лучших педагогов. В. М. Ионов был не только преподавателем, но и автором учебников и учебно-дидактических пособий для якутской школы. Им был составлен букварь русского языка и «Якутский букварь» (Сахалин сурук-бичик). Эти учебники до Октябрьской революции не издавались, но учебник русского языка, названный автором «Оллендорфией», разошелся в рукописных списках по многим местам Якутии, и им пользовались с большим успехом многие учителя и репетиторы, даже не знавшие якутского языка. «Якутский букварь», составленный В. М. Ионовым, был «издан в сентябре 1917 г. на средства, ассигнованные первым съездом учителей Якутской области» [12].

В. М. Ионов во время жизни в Якутии принимал по-прежнему участие в общественно-политической жизни края. Он был «неоднократно привлекаем к ответственности за свою революционную работу и за распространение нелегальной литературы» [13].

Наиболее значительным в общественной деятельности В. М. Ионова следует признать то, что в 1908—1910 гг. он последовательно состоял фактическим редактором газет «Якутский край», «Якутская жизнь» и «Якутская мысль» [14], где появлялись этнографические и фольклорные материалы. В. М. Ионов принимал участие в работе Якутского сельскохозяйственного общества, которое в 1908 г. организовало в Якутске выставку животноводства и промыслов [15]. На этой выставке были показаны традиционная культура якутов и изменения в ней в результате культурных взаимосвязей с русским народом. Отметим также то, что В. М Ионов уделял много времени работе в Якутской бесплатной народной библиотеке-читальне. Уезжая из Якутска, он пожертвовал этой библиотеке большое количество книг [16].

Главным же для В. М. Ионова во время ссылки в Якутию было научное исследование якутской этнографии, языка и фольклора. Начиная, видимо, с переезда в 1886 г. во 2-й Игидейский наслег Баягантайского улуса, он приступил к изучению верований и быта якутов.

Первая крупная работа В. М. Ионова — «К вопросу о скотоводстве у якутов Якутского округа» — была завершена им в сентябре 1893 г. и опубликована в 1895 г.[17] Эта статья написана на основании наблюдений, которые относятся «главным образом к небольшой части среднего течения р. Татты, впадающей с левой стороны в р. Алдан, и составляют результат долговременного изучения подробностей» [18]. Статья содержит обильный материал этнографического характера. Она делится на шесть глав. В первой главе автор показывает количество скота у якутской семьи, распределение семей на группы по уровню обеспеченности скотом, возрастной и качественный состав скота по различным группам семей. Вторая глава посвящена описанию продуктивности якутского скота, а в третьей анализируются причины малой его продуктивности. В четвертой главе — «Отплата корма» — говорится о доходах различных групп якутских семей от скотоводства. Пятая глава посвя-

щена характеристике якутского коневодства, рыболовства и звероромышленности. В шестой главе В. М. Ионов излагает свои выводы о важности скотоводства для якутов [19].

В 1894 г. В. М. Ионов был привлечен для участия в Якутской (Сибиряковской) экспедиции ВСОРГО и с этого времени получил возможность заняться этнографией специально.

В истории изучения Якутии эта экспедиция занимает особое место. «Она была первым опытом комплексного, стационарного изучения народов Якутии в дореволюционный период» [20]. В состав участников экспедиции входили «14 политссыльных (В. Г. Богораз, Н. А. Виташевский, Н. Л. Геккер, В. Е. Гориновнч, В. М. Ионов, В. И. Иохельсон, С. Ф. Ковалик, Ф. Я. Кон, Л. Г. Левенталь, В. В. Ливадин, И. И. Майнов, Э. К. Пекарский, Г. Ф. Осмоловский, С. В. Ястремский), 7 человек из официальных лиц (чиновников, священников) и 4 якута» [21]. На организационном заседании участников экспедиции, состоявшемся в январе 1894 г., Э. К. Пекарскому и И. И. Майнову было поручено совместно разработать программу по изучению домашнего и семейного быта якутов. Будучи занят составлением «Словаря якутского языка, Э. К. Пекарский организовал группу сотрудников, которым было поручено исследование отдельных аспектов домашнего и семейного быта якутов». Так, В. Е. Гориновичу и якуту Е. Д. Николаеву был поручен сбор материалов по разделам: «Жилища и его принадлежности» и «Одежда, пища и напитки». Г. Ф. Осмоловский вместе с А. И. Некрасовым и якутом Н. С. Слепцовым должны были собрать материал по разделам: «Игры и развлечения» и «Рыболовство и звероловство». В. В. Ливадин занялся сбором сведений по ремеслу у якутов. Якуту В. В. Никифорову был дан раздел «Семейный быт». В. М. Ионов взял на себя сбор материалов по верованиям якутов. С. В. Ястремский был привлечен в качестве сотрудника по разделу «Язык и народное творчество» [22].

Следует отметить, что еще до 1894 г. В. М. Ионов начал сбор материалов о традиционных религиозных верованиях якутов. Возможно, этому содействовало знакомство с политическим ссыльным В. Ф. Трощанским, автором работ по якутским верованиям. В. Ф. Трощанский был сослан в Якутию в 1886 г. и жил в 3-м Жехсогонском наслеге Ботурусского улуса, Якутского округа [23].

В. М. Ионов с 1893 г. жил недалеко от него, во 2-м Жехсогонском наслеге того же улуса, и, судя по письмам В. М. Ионова к Э. К. Пекарскому, все трое поддерживали между собой тесные отношения. В. Ф. Трощанский перед смертью переехал к В. М. Ионову; он и умер у него на руках 25 января 1898 г.

В. Ф. Трощанский начал писать свою книгу о верованиях якутов еще до начала деятельности Сибиряковской экспедиции. Он сам не знал якутского языка, поэтому для него особенно существенна была помощь товарищей, оказываемая ему в работе над книгой. В. М. Ионов участвовал в составлении «Опыта систематической программы для собирания сведений о дохристианских верованиях якутов», написанного В. Ф. Трощанским [24]. В. М. Ионов предоставлял свои материалы В. Ф. Трощанскому для книги «Эволюция черной веры (шаманства) у якутов». Это подчеркнул Н. Ф. Катанов в предисловии к книге В. Ф. Трощанского [25].

Участие В. М. Ионова в составлении программы В. Ф. Трощанского было настолько значительно, что Э. К. Пекарский при переиздании ее в 1911 г. испрашивал у В. М. Ионова разрешения ее печатать. 12 февраля 1911 г. В. М. Ионов ответил, что «на печатание „Программы Трощанского“, конечно, согласен, но с условием, чтобы отдельные оттиски были разосланы в такие учреждения, где может встретиться в них надобность. Напр., по словам М. П. Овчинникова, программы этой нет в Иркутске, а кому-то она была нужна» [26].

Следующей научной экспедицией В. М. Ионова была Нелькано-Аянская, снаряженная Якутской областной администрацией в 1903 г.; ему было поручено исследование «экономического положения тунгусов Май-

ского ведомства Якутского округа»[27]. Научные результаты своей работы в этой экспедиции В. М. Ионов опубликовал в 1904 г. в статье «Поездка к майским тунгусам»[28]. В ней В. И. Ионов «приводит интересные сведения о путях сообщения по рекам Алдану и Мае, о средствах существования, занятиях и экономическом положении тунгусов, их потребностях и способах удовлетворения их, о перевозке тунгусами чая от Аяна до Нелькана, а также о процессе объякучивания тунгусского населения и взаимоотношениях тунгусов с духоборами»[29].

В 1910 г. в связи с болезнью В. М. Ионову было разрешено выехать из Якутска в Киев. В том же году он по приглашению непременного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга переехал в Петербург, где был принят на работу в Академию наук на должность ученого корректора[30]. Работая в Академии наук, он принимал участие в редактировании «Образцов народной литературы якутов». Наряду с этим В. М. Ионов приступил к обработке своих материалов. Им в период жизни в Петербурге были подготовлены и изданы работы, посвященные изучению дохристианских верований якутов.

Первая работа В. М. Ионова «Орел по воззрениям якутов» состоит из двух частей. В первой автор описывает почитание орла у якутов на основании материалов, главным образом собранных во время Якутской (Сибиряковской) экспедиции ВСОРГО. Вторая часть представляет собою публикацию «Песни о наступлении года» на якутском и русском языках. Эта песня была записана со слов М. Н. Ионовой и переведена на русский язык при ее помощи[31]. Отметим, что в примечании к статье В. М. Ионов выразил свою глубокую признательность Э. К. Пекарскому, Л. Я. Штернбергу и Н. А. Виташевскому, которые еще в корректуре просмотрели статью и дали свои замечания[32]. Взаимоотношения между Э. К. Пекарским, Н. А. Виташевским и В. М. Ионовым, конечно, имели глубокие корни и возникли еще в период жизни в ссылке в Якутии. Общением с Л. Я. Штернбергом, видимо, во многом объясняется интерпретация В. М. Ионовым культа орла у якутов как части универсального общесибирского культа орла.

В статье «Медведь по воззрениям якутов» В. М. Ионов описал культ медведя. В приложении опубликованы на якутском языке заклинания при нечаянной встрече с медведем, дан их перевод на русский язык и информация о культе медведя[33].

Наиболее значительна работа В. М. Ионова — «Дух — хозяин леса у якутов». В первой части этой статьи описан культ духа — хозяина леса — Баай Байанай Баай Барылааха, приведены тексты заклинаний с переводом на русский язык. Вторая часть статьи посвящена характеристике обряда примирения с духом — хозяином леса при неудаче в промысле. В приложении к статье опубликован вариант призывания Баай Байаная, записанный С. А. Новгородовым. Он же перевел это заклинание и снабдил его примечаниями[34].

В одном из сборников МАЭ, посвященном 80-летию академика В. В. Радлова, В. М. Ионов опубликовал статью «К вопросу об изучении дохристианских верований якутов». Он подверг анализу якутскую мифологию и выявил в ней различные напластования. В этой статье он предложил свой план изучения дохристианских верований якутов. Сущность этого плана заключается в том, что, по мнению исследователя, для правильного освещения генезиса якутских религиозных верований все обряды и обычаи «должны быть сравнены с таковыми же у народов, с которыми якуты приходили в более или менее тесное соприкосновение».

В заключение В. М. Ионов утверждал: «Мы должны помнить, что всякая религиозная система, не закрепленная писаным уставом, есть живой, непрерывно развивающийся организм, в котором одно продолжает жить и развиваться, другое только что зарождается, а третье начинает уже отмирать»[35]. В этом отразились, как пишет К. И. Горохов, некоторые черты диалектического понимания В. М. Ионовым сущности и характера народных верований[36].

Обзор статей В. М. Ионова показывает, что он успел опубликовать лишь незначительную часть материалов о верованиях якутов, собранных во время пребывания в Якутии.

Академик В. В. Радлов, ознакомившись с опубликованными работами В. М. Ионова и узнав из личных бесед с В. М. Ионовым и Э. К. Пекарским о содержании неопубликованных материалов В. М. Ионова, рекомендовал ему поторопиться и «приготовить свои материалы к печати, не заботясь о дальнейшем их усовершенствовании в смысле полноты и детальной разработки, а ограничившись лишь приведением разрозненных материалов в систематизированный, хоть сколько-нибудь, порядок, причем покойный В. В. (Радлов. — *Н. А.*) обещал немедленно опубликовать их в основанном им издании „Образцы народной литературы якутов“» [37].

Перу В. М. Ионова принадлежат также рецензии на работы, посвященные изучению традиционных религиозных верований якутов [38]. «Обзор литературы по верованиям якутов» В. М. Ионова, в сущности, является критикой двух работ В. Л. Серошевского — монографии «Якуты. Опыт этнографического исследования якутов» и «Как и во что веруют якуты». Основное внимание В. М. Ионова было направлено на критику неточностей в транскрипции якутских терминов, ошибок при записи якутских текстов, допущенных В. Л. Серошевским. Далее В. М. Ионов пытался доказать то, что В. Л. Серошевский неправильно понял якутскую систему родства и характер родового строя у якутов, допустил много неточностей при освещении якутских верований. В заключение В. М. Ионов категорически утверждал, что на работах В. Л. Серошевского «нельзя ничего строить, на них нельзя ссылаться». Однако он все же признает пользу этих работ: «За неимением программы они могут оказать большую услугу при изучении якутов на месте, при наличности они могут служить дополнением» [39]. Такую строгую оценку трудов В. Л. Серошевского вряд ли можно признать объективной. Хотя Л. В. Дмитриева [40] считает, что «Обзор литературы по верованиям якутов» может служить образцом строго принципиальной научной критики, но, на мой взгляд, оценка В. М. Ионовым работ В. Л. Серошевского излишне строга. Его вклад в этнографическое изучение якутов значителен, и научная ценность его работ бесспорна.

Другим аспектом научной работы В. М. Ионова было участие в составлении «Словаря якутского языка» Э. К. Пекарского. В начале 1890 г. он передал Э. К Пекарскому обширный материал по якутскому языку, который собирал в течение многих лет [41]. В письме к В. М. Ионову от 12 января 1912 г. Э. К. Пекарский привел список переданных ему материалов [42]. В начале списка отмечено: «писано Вами, Симоном и Николаем Слепцовыми и Марией Николаевной (М. Н. Ионовой. — *Н. А.*)» [43]. Список написан частично на якутском языке; приводим заголовки материалов в переводе. Э. К. Пекарский подчеркнул в конце письма: «И еще кое-что без особых заголовков. Все это — почти неисчерпаемый мною для „Словаря“ материал» [44].

В предисловии к словарю Э. К. Пекарский счел необходимым отметить: «... благодаря г. Ионову, я стал понемногу освобождаться от рабского подражания Бётлингу и стал записывать все особенности в произношении якутских слов... Бётлингу не были известны мульированные l, с, ҥ. Честь установления в якутском языке наличности этих звуков принадлежит г. Ионову» [45]. Кроме того, Э. К. Пекарский по совету В. М. Ионова «стал обращать внимание на междометия, якутские прозвища и названия местностей, коим ранее не придавал значения» [46].

При составлении «Словаря якутского языка», а также при редактировании «Образцов народной литературы якутов» Э. К. Пекарский постоянно обращался за консультацией к В. М. и М. Н. Ионовым. Он посылал небольшие записки с просьбой перевести тот или иной термин, чаще всего архаичные слова из якутского героического эпоса или обрядовой поэзии [47]. Причем большее значение Э. К. Пекарский, видимо, придавал переводу, сделанному М. Н. Ионовой. Об этом свидетельствуют следу-

ющие два отрывка из переписки Э. К. Пекарского и В. М. Ионова. Пекарский спрашивал, например: «Не можете ли, с помощью Марии, дать какое-либо разъяснение?»[48]. В свою очередь В. М. Ионов подчеркивал: «Я предлагаю (на полях) только то, что знает МН (Мария Николаевна. — *Н. А.*), и ничего от себя. Это Вы всегда имейте в виду»[49].

Не случайно Э. К. Пекарский счел необходимым указать на титульном листе «Словаря якутского языка», что он составлен при ближайшем участии В. М. Ионова[50]. В предисловии к словарю Э. К. Пекарский также охарактеризовал ценность вклада В. М. Ионова в работу над словарем. Слова и выражения, в переводе которых принимала участие М. Н. Ионова, Э. К. Пекарский обозначал во всех выпусках условной ссылкой МА (М. Н. Андросова).

В. М. Ионов оказал помощь и другому исследователю якутского языка — С. В. Ястремскому, передав ему свои материалы по грамматике, которые были использованы тем при подготовке якутской грамматики[51].

В период жизни в Петербурге В. М. Ионов принимал активное участие в работе ученых обществ. Он был избран членом-сотрудником Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, членом-сотрудником Отдела этнографии, а затем действительным сотрудником Якутского отдела Русского географического общества, принимал участие в работах Комиссии по составлению этнографической карты России[52].

В 1917 году, до Октябрьской революции, в связи с болезнью В. М. Ионов с семьей поселились на станции Буча по Киево-Ковельской железной дороге. Из-за разгоревшейся гражданской войны Ионовы не смогли вернуться в Петроград. Они жили в большой нужде. Так, В. М. Ионов писал Э. К. Пекарскому 30 июля 1919 г., что он попал почти в такое же тяжелое положение, какое испытывал в первые годы жизни в Якутской области[53]. 31 декабря 1921 г. Э. К. Пекарский передал следующую телеграмму Г. А. Попову: «Майнов Пекарский Петрограде перебиваются Ионов станция Буча Киево-Ковельской дороги болен бедствует»[54]. В. М. Ионов до конца стойко боролся с болезнью. До последнего дня учил свою дочь и сельских ребят. Он имел два урока за 2 бутылки молока.

В. М. Ионов умер 2 февраля 1922 г. После смерти В. М. Ионова бывший политический ссыльный В. Д. Ендржиевский писал Э. К. Пекарскому: «Он был верен заветам своей молодости, своим убеждениям; ни на что не жаловался, а следил за переживаемой нами эпохой, оценивал ее сквозь призму своего убеждения и всегда откликался на творчество, созидание»[55].

Вдова В. М. Ионова и две его дочери-подростка остались в Буче без всяких средств к существованию[56]. В 1922 г. они все же переехали в Петроград, и М. Н. Ионова с 1 ноября 1922 г. стала работать «младшей служащей» Музея антропологии и этнографии Академии наук. Архив В. М. Ионова наследницы сдали в Академию наук. Об этом написал записку Э. К. Пекарский; она была прочитана 25 октября 1922 г. на заседании Отделения исторических наук и филологии[57]. В записке Э. К. Пекарский отметил, что архив В. М. Ионова находится в относительном порядке. Это было сделано в связи с предположением В. В. Радлова опубликовать материалы, собранные В. М. Ионовым. В записке приведена опись материалов, составленная самим собирателем.

Большую часть материалов В. М. Ионов сгруппировал в 25 рубрик, относящихся к верованиям якутов[58], и поместил в каждой рубрике соответствующие тексты и записи по данной теме.

Кроме того, в архиве В. М. Ионова имелись 845 записей о верованиях якутов, записи были подготовлены к печати по определенной системе. Знакомство с ними показывает, что В. М. Ионов сам готовил к изданию часть своих материалов. Он переписал их в виде отдельных информаций. Текст сообщений составлен им так, чтобы поле каждого листа оставалось чистым. На этих полях помечались темы, к которым относилась

информация. В тетради, представлявшей указатель, автор отмечал, в каких номерах имеются сведения по тем или иным темам. В. М. Ионов разбил свои материалы на 48 тем [59].

В архиве В. М. Ионова имелись также материалы по языку [60] и быту [61], выписки из литературы о верованиях якутов, данные для якутского букваря и якутской хрестоматии и «смесь», куда были отнесены различные записи, не вошедшие в перечисленные выше разделы [62].

Вначале архив В. М. Ионова был передан Азиатскому музею, а затем — в архив Института востоковедения (Ленинград), где он и хранится в настоящее время.

В рукописном наследии В. М. Ионова, кроме материалов, записанных им самим, находятся записи других собирателей. В. М. Ионову помогали друзья по ссылке, родственники по линии жены и участники Сибиряковской экспедиции. В связи с этим следует отметить, что эта экспедиция фактически была не только «первым опытом комплексного, стационарного изучения народов Якутии», но и первой научной организацией. Участники экспедиции, в основном политические ссыльные и прогрессивно настроенная часть грамотных якутов, как уже упоминалось, совместно вырабатывали программы исследований, обсуждали их, помогали друг другу в сборе материалов. Научный контакт и взаимопомощь сохранились у членов экспедиции и после окончания в 1896 г. срока деятельности Сибиряковской экспедиции.

В архиве В. М. Ионова имеются материалы, переданные ему участниками Якутской (Сибиряковской) экспедиции ВСОРГО. В упомянутой описи архива В. М. Ионова уже отмечены выше материалы Н. А. Виташевского. В черновике отчета В. М. Ионова о проделанной им работе во время экспедиции написано: «Из участников экспедиции следующие лица доставили мне материалы: ЭКП (Э. К. Пекарский. — *Н. А.*) передал мне свою записную тетрадь, в которой есть весьма интересные заметки, касающиеся верований. НСС (Н. С. Слепцов. — *Н. А.*) доставил мне три заклинания:

1. Барылаах тардар (Призывание духа—хозяина леса),
2. Дойду иччитигэр киирэр (Схождение к духу—хозяину земли),
3. Ёлбют атыыр алгыса (Заклинание, совершаемое при смерти жеребца).

Г. Ф. Осмоловский сообщил мне два заклинания против медведя, заклинание при освящении нового невода и заметки об обычаях, соблюдаемых при рыбном и зверином промысле» [63].

По свидетельству Э. К. Пекарского, добрая половина материалов, собранных В. М. Ионовым, принадлежала М. Н. Ионовой. Э. К. Пекарский писал, что среди неизданных рукописей В. М. Ионова «имеется много законченных статей на якутском языке, написанных М. Н. Ионовой по интересовавшим ее мужа вопросам из области дохристианских воззрений якутов. В печатных статьях В. М. Ионова большая часть фактического материала дана ею же» [64].

М. Н. Ионова после сдачи архива в Азиатский музей Академии наук начала хлопотать об издании материалов. Видимо, вначале архив В. М. Ионова был в музее затерян. М. Н. Ионова обратилась в Академию наук с просьбой выделить кого-либо, знающего якутский язык, для розыска в Азиатском музее архива. Эту работу, по мнению Э. К. Пекарского, можно было поручить А. А. Попову или И. П. Сойкконену [65]. Видимо, архив был найден, и Академия наук поручила М. Н. Ионовой начать подготовку материалов к печати. Уже 2 марта 1925 г. она представила непременному секретарю Российской Академии наук перевод одной тетради. Сделать перевод помогала сначала старшая дочь Людмила, бывшая студенткой университета, а затем Т. З. Винокуров, окончивший университет (консультировал его при подготовке материалов Э. К. Пекарский.) М. Н. Ионова просила опубликовать работу при первой возможности [66]. Это, к сожалению, тогда не было осуществлено.

Позже, видимо, тем же Э. К. Пекарским было выдвинуто предложение опубликовать материалы В. М. и М. Н. Ионовых в изданиях Комиссии по изучению Якутской АССР. Так, 29 мая 1930 г. ученый секретарь Комиссии В. Н. Васильев, пересылая Э. К. Пекарскому рукопись М. Н. Ионовой «Предопределение, назначение и судьба» (42 страницы на машинке), спрашивал, будет ли данная работа продолжена М. Н. Ионовой и как она может быть использована, если ее не удастся опубликовать и в изданиях Комиссии [67]. Э. К. Пекарский ответил, что работа написана для напечатания ее в изданиях Комиссии, но что эта работа могла бы войти в особый сборник по шаманству (вместе с материалами А. А. Попова, В. М. Ионова), но для этого нужна «элементарная литературная обработка» [68]. Однако и в изданиях Комиссии по изучению Якутской АССР материалы В. М. и М. Н. Ионовых опубликованы не были.

В конце 30-х годов вновь, видимо, был поднят вопрос о переводе и издании рукописных материалов Ионовых о верованиях якутов. 19 марта 1940 г. А. А. Попов закончил перевод части их (фактически это была в значительной степени переработка) и оформил как книгу «Материалы по верованиям якутов, часть 1» [69]. А. А. Попов написал к ней предисловие, в котором охарактеризовал рукописи В. М. Ионова как «сырые, необработанные записи» и подчеркнул, что большинство сведений было записано В. М. Ионовым от М. Н. Ионовой, причем часть рукописей была написана ее рукой. Он отметил, что материалы не документированы: не указано, где и от кого они записаны. Рукопись А. А. Попова содержит перевод на русский язык и систематизированное изложение части материалов В. М. Ионова, в основном характеризующих общие анимистические воззрения якутов [70]. А. А. Попов упоминает, что «вторая часть рукописи заключает в себе краткие сведения о колдунах и шаманах, а также тексты шаманских заклинаний» [71]. Однако этой рукописи в Архиве ИВ АН СССР нет, и неизвестно, была ли в то время осуществлена ее подготовка. А. А. Попов привел тексты заклинаний и своеобразные архаические выражения с параллельным переводом на русский язык. В сущности, А. А. Попов изложил материалы, ранее по-иному систематизированные самим В. М. Ионовым, по своей схеме. Рукопись, подготовленная А. А. Поповым, также не была издана [72].

Сличение схемы изложения материалов, разработанной А. А. Поповым, со схемой, по которой систематизировал свои материалы В. М. Ионов, показывает, что А. А. Попов не включил в первую часть материалы, относящиеся к шаманству; мелкие рубрики В. М. Ионова, посвященные солнцу, луне и т. д., он свел в одну — «космогонические воззрения». Материалы о божествах «айыы» А. А. Попов, наоборот, разбил на две группы: «айыы» и «божества рока и судьбы». Возможно, и В. М. Ионов при публикации своих материалов внес бы изменения в свою схему.

Материалы по шаманству, таким образом, остались не переведенными на русский язык. Долг якутоведов перевести и опубликовать полностью рукописное наследство В. М. и М. Н. Ионовых.

Помимо работы в МАЭ АН СССР и участия в подготовке к печати рукописных материалов, собранных В. М. Ионовым при ближайшем участии М. Н. Ионовой, она вела и самостоятельную научную работу. Ею были написаны статьи для «Якутской хрестоматии», изданной в 1923 г. В 1924 г. по заданию Якутской секции Центрального издательства народов СССР М. Н. Ионова составила руководство по огородничеству применительно к бытовым и климатическим условиям Якутии. В 1923—1924 гг. она давала письменные ответы на заданные Л. Я. Штернбергом темы из области якутских религиозных верований. В это же время М. Н. Ионова помогала Э. К. Пекарскому при обработке словарного материала. Учитывая это, а также участие М. Н. Ионовой в Сибиряковской экспедиции [73], Э. К. Пекарский 17 декабря 1924 г. вошел в Медальную комиссию Географического общества с ходатайством «о своевременности награждения скромной труженицы на этнографическом поприще медалью Отделения этнографии» [74]. М. Н. Ионова по представлению Э. К. Пекарского была

награждена малой золотой медалью по Отделению этнографии Государственного Географического общества [75].

Несмотря на пожилой возраст (60 лет), М. Н. Ионова принимала участие в 1925—1926 гг. в Якутской экспедиции Академии наук и Комиссии Академии наук по изучению Якутской АССР. Она была включена во врачебно-санитарный отряд С. Е. Шрейбера в должности лаборанта [76]. Во время экспедиции 1926 г. М. Н. Ионова, находясь в с. Нюрба Нюрбинского района (ныне Ленинского района) Якутской АССР, заболела крупозным воспалением легких. Как писал начальник экспедиции С. Е. Шрейбер 12 февраля 1926 г., «сама больная очень пала духом, считает себя безнадежно погибшей, сделала все свои распоряжения, касающиеся своей семьи, и зафиксировала на бумаге свои посмертные желания» [77]. Но она поправилась и благополучно вернулась в Ленинград, где до 1 ноября 1930 г. работала в МАЭ АН СССР.

Из научного наследия М. Н. Ионовой сохранились лишь две работы: «Заметки о беременности и родах у якуток» и «По поводу рассуждений А. Е. Кулаковского об Улуутуйар Улуу-тойон'е в его книге „Материалы для изучения верований якутов“».

Работа «Заметки о беременности и родах у якуток» была написана на якутском языке и представляла собой ответы на 31 вопрос, заданный ей Э. К. Пекарским и Л. Я. Штернбергом. Ответы М. Н. Ионовой представляют большой научный интерес, они уникальны. На эти вопросы могла ответить только исследователь-женщина. Видимо, Л. Я. Штернберг и Э. К. Пекарский хотели восполнить пробел в изучении женских обрядов и поверий, которые в верованиях якутов, как и у других народов Сибири, исследованы очень слабо [78].

В работе «По поводу рассуждений А. Е. Кулаковского об Улуутуйар Улуу-тойон'е...» М. Н. Ионова возражала против причисления этого божества к числу светлых божеств «айыы». Она высказала мысль о недопустимости искажения сведений о верованиях родного народа. Свои возражения М. Н. Ионова аргументировала тем, что она никогда ни в шаманских заклинаниях, ни в героическом эпосе олонхо, ни в беседах со стариками не слышала, чтобы «Улуутуйар Улуу-тойона» (главу злых духов верхнего мира) называли «айыы» (божество, связанное с творчеством). «Улуутуйар Улуу-тойон, замечает далее М. Н. Ионова, не создает, по верованиям якутов, души детей, и у него ребенка не просили» [79].

М. Н. Ионова отмечала, что «Кулаковский пишет об угощении якутами Улуутуйар Улуу-тойона, приготовлявшими осенью в честь его стол и устраивавшими пирушку. Насколько я слышала, это — вранье. Правда, осенью якуты устраивают пирушку, но она не бывает в честь Улуутуйар Улуу-господина. Эта пирушка, когда уходит (в вечность) старый год и вступает новый год, называется „празднование рубежа годов“» [80]. Далее она привела в своей работе интересное описание этого старинного праздника: «Родович Согуйского рода, 2-го Игидейского наслега, Баягантайского улуса... устроил на рубеже годов пир. Семь человек на ржаво-гнедых лошадях назвали верхними злыми племенами Улуутуйар Улуу-господина и семь человек на беломолочных лошадях, в белооленных дохах и с белыми шестами (жердями) назвали парнями чистого мира. Если опред[ят] кон[и] со стороны племени (рода) злых духов, то новый год должен быть несчастливым годом. Ввиду этого во что бы то ни стало должны опередить люди чистого мира. Вот, пустили лошадей взапуски. Люди на беломолочных лошадях, размахивая своими белыми шестами, полетели с криком (кыйдан) за людьми на ржаво-рыжих лошадях. Когда они таким образом мчались, одна белая лошадь, споткнувшись, упала ниц. А сидевший на ней верхом человек, не успев во время уберечься, упал лицом через голову лошади и при падении сломал себе одну руку. Вследствие этого некоторые лошади злых духов прибежали опередивши» [81]. Следующим эпизодом праздника, описанного М. Н. Ионовой, явилась борьба двух человек — богатыря чистого мира и богатыря нижних злых духов. Победил последний — это тоже было признано за знамение

грядущего несчастливого года [82]. «Весной того года из города (Якутска. — *Н. А.*), — писала М. Н. Ионова, — распространилась желудочная болезнь... и от этой болезни все восемь или девять домов старика Евсея, считая его сыновей и дочерей, жившие довольно широко, прекратили свое существование, словно конный скот в бескормицу (голодный год)» [83].

Далее М. Н. Ионова в подтверждение своего замечания о том, что «Улуутуйар Улуу-тойон не относился к божествам „айыы“», привела миф о сватовстве Кангаласского головы Додойууса к Улуутуйар Улуу-тойону. Он сватал дочь за сына Улуутуйар Улуу-тойона, а сына — за дочь. В результате сватовства, согласно мифу, происходят большие бедствия [84].

М. Н. Ионовой была написана еще статья «Предопределение, назначение и судьба» [85], упомянутая выше; эта работа в архиве АН СССР не обнаружена.

Необходимо отметить, что М. Н. Ионова продолжала выступать как сказительница вплоть до последних лет жизни. Так, на восьмом десятке лет она еще «фиксировала на письме старинные народные песни, например вариант песни о реке Таатте или старинную песню о мироздании, импровизировала новые песни» [86]. Песня о реке Таатта была опубликована в 1938 г.[87], а песня о мироздании и песня о рыбаках старого и нового времени была издана посмертно, в 1942 г.[88] М. Н. Ионова последние годы провела в Москве. Умерла она в 1941 г.[89]

* * *

Очерк жизни и деятельности Всеволода Михайловича Ионова и его верной спутницы Марии Николаевны Ионовой (Андросовой-Слепцовой) является яркой иллюстрацией роли политических ссыльных в изучении и в общественной жизни края. Невольные жители этой отдаленной, суровой окраины России, они внесли огромный вклад в просвещение якутского народа. Они организовали, в сущности, первый научный коллектив, проведший фундаментальное академическое исследование истории, этнографии, языка, антропологии народов Якутии. Собранные ими материалы были опубликованы лишь частично. Долг советских историков и этнографов — ввести в научный оборот материалы, собранные исследователями Якутии в конце XIX—начале XX в., осветить славный путь борьбы и творчества, которым прошли лучшие представители политической ссылки в Якутии.

[1] *Хороших П. П.* Исследователи Якутии. Вып. 1. В. М. Ионов. — В кн.: Сибирская живая старина. Изв. ВСОРГО, 1925, вып. 3/4, с. 7. Отд. отт.

[2] *Дмитриева Л. В.* Архивные материалы В. М. Ионова. — Учен. зап. ИВ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, т. XVI, с. 426.

[3] Там же.

[4] Исследователи указывают различные даты прибытия В. М. Ионова на Кару: П. П. Хороших — февраль 1880 г., Л. Г. Дейч — 1882 г.; Л. В. Дмитриева — 1881 г.

[5] Архив АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 1, д. 86, л. 146.

[6] *Пекарский Э. К.* Образцы народной литературы якутов. СПб., 1909. Ч. I. Вып. III.

[7] *Хороших П. П.* Исследователи Якутии, вып. 1, с. 8—9.

[8] *Афанасьев В. Ф.* Школа и развитие педагогической мысли в Якутии. Якутск: Якуткнигоиздат, 1966, с. 62.

[9] *Виташевский Н. А.* Старая и новая якутская ссылка. СПб., 1907, с. 19.

[10] *Хороших П. П.* Исследователи Якутии, вып. 1, с. 9.

[11] *Афанасьев В. Ф.* Школа..., с. 66.

[12] Там же, с. 71.

[13] *Хороших П. П.* Исследователи Якутии, вып. 1, с. 9.

[14] Там же.

[15] Там же.

[16] Там же.

[17] *Ионов В. М.* К вопросу о скотоводстве у якутов Якутского округа. — В кн.: Памятная книжка Якутской области на 1896 год. Якутск, 1895, Вып. 1.

[18] Там же, с. 4. Автором использованы материалы, собранные во 2-м Игидейском наслеге Баягантайского улуса.

[19] Там же, с. 3—60.

[20] *Горохов К. И.* Историко-этнографическое исследование якутов Якутской (Сибиряковской) экспедицией ВСОРГО в 1894—1896 годах: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1962, с. 1.

[21] Там же, с. 3.

[22] Там же, с. 6.

[23] *Хороших П. П.* Исследователи Якутии, вып. 2. В. Ф. Трощанский. — Изв. ВСОРГО. Якутская секция, 1926, вып. II, с. 4. Отд. отт.

[24] ***Трощанский В. Ф.*** Опыт систематической программы для собирания сведений о дохристианских верованиях якутов. — Изв. ОАИЭ, Казань, 1897, т. XIV, вып. 3, с. 292—360.

[25] *Трощанский В. Ф.* Эволюция черной веры (шаманства) у якутов. Казань, 1902, с. 111; *Хороших П. П.* Исследователи Якутии, вып. II, с. 4.

[26] Архив АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 2, д. 184, л. 4.

[27] *Хороших П. П.* Исследователи Якутии, вып. I, с. 9.

[28] *Ионов В. М.* Поездка к майским тунгусам. — Изв. ОАИЭ, 1904, т. XX, вып. 45, с. 159—174.

[29] *Хороших П. П.* Исследователи Якутии, вып. I, с. 14.

[30] Там же, с. 10.

[31] Архив АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 1, д. 84, л. 2.

[32] *Ионов В. М.* Орел по воззрениям якутов. — В кн.: Сб. МАЭ. СПб., 1913, т. I, вып. XVI, с. 1.

[33] *Ионов В. М.* Медведь по воззрениям якутов. — ЖС, Пг., 1916, вып. 3, прил. № 3, с. 51—58.

[34] *Ионов В. М.* Дух-хозяин леса у якутов. — В кн.: Сб. МАЭ. Пг., 1916, т. IV, вып. 1, с. 1—4.

[35] *Ионов В. М.* К вопросу об изучении дохристианских верований якутов. — В кн.: Сб. МАЭ. Пг., 1918, т. V, вып. 1, с. 160—164.

[36] *Горохов К. И.* Историко-этнографическое исследование якутов..., с. 18.

[37] *Пекарский Э. К.* Записка об архиве В. М. Ионова, прочитанная на заседании Отделения исторических наук и филологии АН СССР, 25 октября 1922 г. — Изв. РАН. Сер. VI, Л., 1922, т. XVI, с. 140—142.

[38] *Ионов В. М. (Михайлович В.).* Рец. на кн.: Васильев В. Н., Пекарский Э. К. Плащ и бубен якутского шамана: Материалы по этнографии России. СПб., 1910, т. I. Отд. отт. — ЭО, 1911, № 1, 2; *Он же.* Обзор литературы по верованиям якутов: (Разбор работ В. Л. Серошевского «Якуты». СПб., 1896; Как и во что веруют якуты. — ЖС, 1915, вып. III—IV, с. 317—372; *Он же.* Рец. на кн.: Анучин Д. Н. О применении фонографа в этнографии и, в частности, о записи шаманского камлания в Средне-колымском округе Якутской области. — ЖС, 1914, вып. 1/2, с. 217—222.

[39] *Ионов В. М.* Обзор литературы по верованиям якутов, с. 372.

[40] *Дмитриева Л. В.* Архивные материалы В. М. Ионова, с. 431.

[41] Словарь якутского языка: В 3-х т. 2-е изд/ Сост. Э. К. Пекарским. М.: Изд-во АН СССР, 1958, т. I, с. II.

[42] 1. Загадки; 2. Пословицы; 3. Рассказ князя-драчуна с Яны; 4. Песня о том, как Николай Кривошапкин, собрав людей с волосами на руках, ведет их с матушки Широкой Оймякон; 5. Зачин песни женщины, избравшей себе мужчину; 6. Пляска; 7. Чтение скороговорки; 8. Заклинание человека, высекающего огонь; 9. Заклинание при смерти жеребца, полученного при выделении из хозяйства отца и обзаведении собственным домом; 10. Место, где создаются души людей; 11. Камлание шамана Дойомпо над больной глазами старухой Феодосией; 12. О том, как стала юёр'ом (блуждающим духом) Болугурская шаманка (Архив ИВ АН СССР (ЛО), ф. 22, оп. 2, д. 3).

[43] Н. Слепцов и С. Слепцов, возможно, родственники М. Н. Ионовой, помогавшие В. М. Ионову в сборе материалов. В анкете, заполненной М. Н. Ионовой, она указывает, что ее фамилия (девичья?) — Слепцова (Архив АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 1, д. 84, л. 30).

[44] Архив ИВ АН СССР (ЛО), ф. 22, оп. 2, д. 3, л. 2.

[45] *Пекарский Э. К.* Словарь якутского языка..., т. I, с. II—III.

[46] Там же, с. III.

[47] Письмо Э. К. Пекарского от 28 октября 1914 г. — Архив ИВ АН СССР (ЛО), ф. 22, оп. 2, д. 3, л. 13.

[48] Письмо Э. К. Пекарского от 28 мая 1895 г. — Архив ИВ АН СССР (ЛО), ф. 22, оп. 2, д. 3, л. 7.

[49] Письмо В. М. Ионова от 1 февраля 1913 г. — Архив ИВ АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 2, д. 184, л. 48.

[50] Словарь якутского языка/ Сост. Э. К. Пекарским. 1-е изд. СПб.; Л., 1907—1930 гг., вып. 1—13.

[51] *Ястремский С. В.* Грамматика якутского языка. — Тр. Якут. экспедиции, снаряженной на средства И. М. Сибирякова. Иркутск, 1900, отд. II, т. III, ч. 2, с. VII.

[52] *Дмитриева Л. В.* Архивные материалы В. М. Ионова, с. 427.

[53] Архив АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 2, д. 184, л. 113.

[54] Там же, л. 115.

[55] Там же, оп. 1, д. 86, л. 139.

[56] Там же, л. 146. Старшие сыновья Ионовых умерли еще при жизни В. М. Ионова, один — от отравления на войне удушливыми газами, другой — от сыпного тифа.

[57] *Пекарский Э. К.* Записка об архиве В. М. Ионова. — Изв. АН СССР. Сер. VI, Пг., 1922, с. 141—142.

[58] В. М. Ионов расположил материалы о якутских верованиях по следующим рубрикам: I. Шаманский костюм; II. Обряд в честь духа-хозяина земли; III. Молитва шамана Быккыйа при начале камлания; IV. Шаман Дыбдыйа камлал у попадей, страдавших глазной болезнью; V. Корень всех скверных болезней; VI. Предки Болугурской шаманки Юёлен Сынгалаабыт; VII. Шаманское призывание семи дочерей князя Боруопья, души коих, по смерти, обратились в особых духов, называемых юёр'ами; VIII. Рассказ о сильном юёр'е I Игидейского наслега Батурусского улуса, Якутского округа, называемом Игидей Айыыта; IX. Дух — хозяин леса Барылаах; X. Рассказ о заколдованных; XI. Рассказ о волшебниках; XII. Рассказ об юёр'е, именуемом Кыыс тангара (девица-божество); XIII. Как старинные люди молились божествам. Рассказ об юёр'е,

именуемом Бахсы айыыта; XIV. Род низших духов-пожирателей (абаасы); XV—XVII. Как шаман Кюбэ уола совершал заклинания над пьяницей; XVIII. Шаманский обряд (это рукопись Н. А. Виташевского, взятая им обратно 22.X 1914 г. и использованная в статье «Из наблюдений над якутскими шаманскими действиями». — *Н. А.*); XIX. а) Призывания человека, высекающего огонь; б) призывание призывателя божеств (во время въезда невесты в дом жениха); в) отрывки из хороводной (плясовой) песни; XX. Как шаман Дойомпо камлал над больной глазами старухой Федосьей; XXI. Шаманское заклинание при жертвоприношении живою скотиною; XXII. а) сотворение человека из животных; б) богини-создательницы собаки и человека; в) возникновение души человека; XXIII. О том, как Болугурская шаманка стала духом — юёр'ом (блуждающей душой); XXIV. Торжественные почести, воздаваемые якутом Басыграс'ом, сыном Матыски, жившим «семь поколений тому назад, жеребцу, которого он получил при выделении в самостоятельный дом»; XXV. Черновик призываний во время почестей, упомянутых в предыдущем номере. Общее воздание почестей богине-создательнице и призывание ее (*Пекарский Э. К.* Записка об архиве В. М. Иопова, с. 141—142). (Перевод якутских слов на русскую транскрипцию сделан автором статьи Н. А. Алексеевым).

[59] Эти темы: охота; дыхание, жизненная сила; христианство; люди другой национальности; солнце, месяц, небо, земля, тень; огонь; сата — волшебный камень, способный изменять погоду; подземный мир; календарь; вода и водный мир; табу; грех; осквернение; болезнь; смерть; несчастье; рождение, роды, зачатие; загробная жизнь, умерший, похороны; сны; олицетворение энергии и силы воли человека; душа живых существ; посмертная форма существования человека, изображение духа; предок, корень; дух-хозяин; абаасы — злой дух; айыы — божество, связанное с созиданием; шаман, шаманка; дорога; путник; волшебство; колдовство; кровавое жертвоприношение скотины при участии шамана; кузнец; человек, одержимый северной истерией; скот; рыбы; животный мир; обереги.

[60] Записи олонхо, песен, рассказов, пословиц, поговорок, загадок, призываний, рассказов о встрече якута с медведем, скороговорок и словарных сведений.

[61] Описание «вывязки» (выстойки) лошадей перед дорогой, сортировки шкур, сведения об обычаях при беременности, заметки об игре «Тарбах кистэсэр» (угадывание спрятанного в одном кулаке пальца другой руки) и обычаях при рождении жеребенка, а также выписки из литературы о быте якутов.

[62] *Пекарский К. Э.* Записка об архиве В. М. Иопова, с. 142.

[63] Архив ИВ АН СССР (ЛО), ф. 22, оп. 1, д. 5, л. 6 об.

[64] Архив АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 1, д. 84, л. 2.

[65] Там же, л. 25 и об.

[66] Там же, л. 8.

[67] Там же, л. 29.

[68] Там ж, л. 30.

[69] Архив ИВ АН СССР (ЛО), ф. 22, оп. 1, д. 1, л. I—II, 1—162.

[70] Там же.

[71] Там же, л. II.

[72] Рукопись А. А. Попова состоит из следующих параграфов: 1. Космогонические воззрения (три мира, солнце, луна, звезды, гром, вихрь), л. 1—4; Айыы — высшие божества, олицетворяющие начало творчества и добра, л. 4—8; 3. Иччп — духи-хозяева (Аал Алахчыи хотун — хозяйка земли, Дьиэрдэ Бахсыла — домашний бог, Ал Уххан — хозяин огня и т. д., л. 8—30; 4. Божества рока и судьбы, л. 30—31; 5. Абаасы — злые божества и духи — общие сведения, л. 31—38; далее: а) абаасы, живущие в верхнем мире, л. 38—42, б) абаасы, живущие в нижнем мире, л. 42—45; 6. Рассказ о поколениях (биис) абаасы нижнего мира, л. 46—51; 7. Дэриэтиппьик (еретик, дух, привидение), л. 52; 8. Сибиэн (призрак, привидение, видение), л. 52—53; 9. Русский абаасы (злой дух); 10. Божества и духи-покровители ремесел, л. 53—57; 11. Представления о душе (рассказ о странах, где создаются души), л. 58—66; 12. Юёр (посмертная форма существования человека): Белая Марина, Джэллемей князь, или Бахсыцкий айыы, Юёлэн Сыгалаабыт, или Болугурская айыы, Хан Чэкэй, дочери Боронья князя (все это имена людей, ставших юёр'ами. — *Н. А.*), л. 67—93; 13. Поверья и обряды, связанные со скотом, л. 93—102; 14. Рассказы и поверья о животных (медведь, сохатый, горностай, различные животные), л. 103—107; 15. Поверья о птицах (орел, ворон, кукушка, лебедь, ронжа, чечетка, о разных птицах), л. 107—110; 16. Поверья о насекомых, л. 111; 17. Поверья и обряды, связанные с растениями, л. 111—112; 18. Рассказы о приворотных средствах и обрядах, л. 112—121; 19. Поверья и обряды, связанные с беременностью и родами, л. 121—133; 20. Поверья и обряды, связанные с детьми, л. 134—138; 21. Поверья и обряды, связанные со смертью, л. 138—144; 22. Сата — волшебный камень, при помощи которого можно изменить погоду, л. 145—147; 23. Обряд проклятия, л. 147—148; 24. Гадания, л. 148—149; 25. О снах и сновидениях, л. 149—151; 26. Приметы, л. 151; 27. Запреты, л. 151—153; 28. Различные мелкие поверья, л. 153—156. Кроме того, А. А. Попов включил в рукопись в качестве приложения «Акт дознания об исчезновении головы трупа инородца Назарова от 2 марта 1900 г.», л. 157—159.

В конце рукописи А. А. Попов поместил примечания, которые представляют собой перевод якутских религиозных и бытовых терминов, идиоматических выражений (Архив ИВ АН СССР (ЛО), ф. 33, оп. 1, д. 1, л. 1—162).

[73] М. Н. Ионова внесла свой вклад в фольклорные материалы, собранные участниками Сибиряковской экспедиции. Ее олонхо «Старик Кюлкюл-богатырь и

старушка Силирикэн» и фрагменты двух олонхо: «Потомки Беломолочносветлого Юрюнг-айыы» и «Спущенный с предназначением улучшить средний мир дух—хозяин темного леса Баай Барылаах» — были опубликованы параллельно на якутском и русском языках в кн.: Образцы народной литературы якутов собр. Э. К. Пекарским. СПб., 1911, ч. 1. Тексты, с. 195—280, 401—426 (переводы названий на русский язык сделаны автором статьи — Н. А. Алексеевым).

[74] Архив АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 1, д. 84, л. 2.

[75] Там же, л. 33.

[76] Там же, ф. 47, оп. 1, д. 13, л. 37—39.

[77] Там же, ф. 202, оп. 1, д. 84, л. 10.

[78] В работе освещены следующие вопросы: «1) подозрения женщины о своей беременности; 2) прихоти и причуды беременных (сюрэхтэтэр); 3) биение плода... 4) поверье о десятимесячности беременности; 5) подготовка якутской женщины к родам; 6) подготовка к самим родам; 7) как женщина спускается на сено; 8) роды; 9) удаление собаки; 10) пиршество; 11) послед женщины; 12) первая пища роженицы; 13) девятидневные обереги первородившей; 14) обряд отправления Айыысыт; 15) проводы бабки; 16) прикосновение к огню; 17) пища и уход за ребенком; 18) представления якуток о кормлении грудью; 19) люлька; 20) угождение ребенку; 21) пища ребенка; 22) наблюдение за детской одеждой; 23) детские болезни и смертность; 24) роды бедной женщины; 25) средства для остановки кровотечения у рожениц; 26) задержка последа; 27) ребенку одна зыбка; 28) дети богатых людей; 29) меры против смертности детей, вынос ребенка через окно, люди, у которых совершенно не живут дети; 30) испрашивание ребенка; 31) ребенок болезненного выгона ветвей — орук огото, обмазывание дерева кровью и учение детей».

«Орук огото» — поверье, что бездетная женщина может «получить» ребенка, если поспит под лиственницей со сросшейся в виде копны верхушкой (оруктаах тинт мас). Аналогичное дерево у теленгитов, тувинцев-тоджинцев и тофаларов называлось «дерево-шаман», т. е. шаман среди деревьев, которые в прошлом оживотворялись у этих народов.

[79] Архив АН СССР (ЛО), ф. 202, оп. 1, д. 119, л. 1.

[80] Там же, л. 5.

[81] Там же, л. 5—6.

[82] Там же, л. 6.

[83] Там же, л. 6—7.

[84] Там же, л. 7—11.

[85] См. о ней там же, д. 84, л. 29.

[86] *Эргис Г. У.* Очерки по якутскому фольклору. М.: Наука, 1974, с. 74.

[87] Дабаан (Подъем): Альманах землячества якутов в Москве. М.: Якутск, 1938, с. 88—100. На якут. яз.

[88] Саха народун айымыта (Творчество якутского народа). Якутск: Якуткнигоиздат, 1942, с. 90—96, 211—215. На якут. яз.

[89] *Эргис Г. У.* Очерки по якутскому фольклору, с. 74.

С. И. Вайнштейн

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ТУВУ

Летом 1926 г. в Тувинскую Народную Республику из Советского Союза была направлена комплексная этнографо-антропологическая экспедиция. Организация и проведение этой первой крупной научной экспедиции в Туву, получившей название Танну-Тувинской, были возложены на Научно-исследовательский институт антропологии МГУ. Решение Московского университета о проведении экспедиции было одним из проявлений тесной дружбы молодого Советского государства и Тувы, развивавшейся после победы Народной революции по некапиталистическому пути; оно отражало также большой интерес советской научной общественности к истории, этнографии и антропологии тувинского народа.

К середине 1920-х гг. этнография, а в особенности антропология, Тувы оставались недостаточно изученными. До начала XX в. о тувинцах были известны лишь отдельные отрывочные сведения. Монгольские экспедиции Г. Н. Потанина (1876—1877 и 1883 гг.) затронули только окраинные районы расселения тувинцев, а ценные материалы, собранные в конце XIX в., во время поездки Н. Ф. Катанова по Туве, оставались неизданными [1]. Важные этнографические сведения были собраны П. Е. Островских о восточных тувинцах, однако его материалы касались главным образом скотоводов, так как живущих здесь оленеводов ему посетить не удалось. Притом им был опубликован лишь краткий предварительный отчет, дающий только самую общую характеристику восточных тувинцев-тоджинцев [2]. Впервые специальное этнографическое изучение западных и восточных тувинцев было предпринято небольшой экспедицией Феликса Кона в 1902 и 1903 гг.[3] Однако и Ф. Кон смог опубликовать до революции лишь предварительные отчеты об экспедиции. Только много позднее, в 1934 г., Ф. Кон издал часть собранных им материалов в популярно написанной книге об экспедиции в Туву [4]. Неопубликованными остались его интересные дневники, которые долгое время считались утраченными и были выявлены нами и частично изданы более 60 лет спустя после завершения путешествия Кона [5]. Отдельные публикации других путешественников и краеведов, известные науке к 1926 г., освещали лишь некоторые стороны этнографии тувинцев, не давая цельной картины быта и культуры этого народа [6].

Что касается антропологии Тувы, то до начала рассматриваемой экспедиции о ней можно было судить главным образом по единственной, очень краткой публикации К. И. Горощенко 1901 г.[7]

Таким образом, первой советской этнографо-антропологической экспедиции в Туву предстояло выполнить широкий круг этнографических и антропологических исследований.

Научное руководство Танну-Тувинской экспедицией было возложено на директора Института антропологии МГУ проф. В. В. Бунака, в то время еще молодого, но уже известного антрополога. Помимо В. В. Бу-

нака, антропологические исследования в экспедиции должны были вести А. И. Ярхо, который до этого уже провел важные антропологические работы на Алтае (1924) и в Хакассии (1925) среди родственного тувинцам тюркоязычного населения, а также В. И. Белкина — участница предшествующих экспедиций Ярхо к народам Южной Сибири. Основные этнографические исследования были поручены М. Г. Левину — одному из самых молодых участников экспедиции, окончившему к этому времени Московский университет и поступившему в аспирантуру Института антропологии МГУ. Экспедиция включала еще несколько человек, в том числе художницу О. Ф. Амосову, медика А. П. Преображенского — участника антропологических исследований, а также ряд других лиц, в том числе тувинцев-переводчиков. Экспедиция работала тремя отрядами — два отряда вели преимущественно антропологические исследования (отряды В. В. Бунака и А. И. Ярхо), один — этнографические (отряд М. Г. Левина).

Рис. 1. Юноша-тувинец; фото

Отряд В. В. Бунака, включавший А. П. Преображенского, обследовал Ойнарский, Салчакский и Тоджинские хошуны, изучив несколько групп западных и восточных тувинцев. Отряд А. И. Ярхо вел исследования в Дзун-Хемчикском и Барун-Хемчикском хошунах. Измерительные антропологические признаки изучались в отряде главным образом В. И. Белкиной, а описательные — преимущественно А. И. Ярхо [8]. Отрядом Ярхо было проведено антропологическое изучение свыше 120 западных тувинцев, относивших себя к группам монгуш, ооржак, куулар, сарыглар, тонгак, сая, сат, ховалыг, кыргыз и др. В ходе работ отряда были сделаны также антропологические снимки тувинцев (рис. 1).

Программа антропологических работ включала антропометрические и антропоскопические исследования, подробное описание мягких частей лица, изучение изогемаглютинации. Попутно антропологические отряды собирали некоторые данные по демографии, занятиям, экономическому положению населения.

Краткие сведения об антропологических работах Танну-Тувинской экспедиции были приведены в статье В. В. Бунака, опубликованной в 1928 г. в Международном этнографическом журнале в Лейдене [9]. Он писал, что в ходе изучения расового состава тувинцев, в частности, тщательно исследовались варианты цвета кожи, которые фиксировались опытным художником и подвергались лабораторному анализу с помощью спектрофотометра. Далее, отметив, что антропологическое изучение далеко от завершения, он охарактеризовал пять основных антропологических типов, «которые бросаются в глаза при первом наблюдении и которые воспроизведены в гипсовых масках экспедиции». Данные были собраны в четырех основных районах, что он считал вполне достаточным. «Два наиболее многочисленных типа во всех районах, — писал Бунак, — могут быть охарактеризованы так: волосы прямые и жесткие, но не в крайней степени, борода растет плохо, нет волос на теле, смуглая кожа, нос прямой и широкий, губы средней полноты, череп широкий и приподд-

нятый, лицо низкое и квадратное. Следующий тип отличается от первого более густой бородой, кончик носа вздернут, волосы прямые, менее жесткие, менее узкие глаза. Есть еще третий тип — удлиненное лицо, прямой нос с закругленным кончиком. В четвертом — мы находим лицо средней высоты, утончающееся у края нижней челюсти, кончик носа опущен, часто нос с горбинкой. Этот последний тип часто встречается в северном районе, третий же — в основном в Восточной Туве. В районе Улуг-Хема и Танну-Ола я нашел еще один очень характерный вариант, приближающийся к третьему типу. Этот пятый тип: волосы чуть-чуть волнистые, более полные губы, удлиненное лицо с менее выступающими скулами, с менее узкими глазами, прямой нос» [10]. Завершив свою характеристику, В. В. Бунак подчеркнул, что им отмечены лишь те антропологические особенности тувинцев, которые бросаются в глаза, и что он не претендует на точную и окончательную характеристику типов, «потому что более детальное изучение материалов может внести какие-то дополнения» [11]. К сожалению, В. В. Бунак не опубликовал собранные им материалы и результаты их изучения; лишь много позднее их частично учел и издал А. И. Ярхо [12].

Иной была судьба материалов, собранных А. И. Ярхо. В 1947 г. в Абакане была опубликована его посмертная монография, посвященная антропологии алтае-саянских тюрок, которая включала материалы тувинской экспедиции и результаты их исследования [13]. Смерть А. И. Ярхо прервала работу над этим трудом уже в стадии его завершения.

Г. Ф. Дебец закончил подготовку монографии к печати перед началом Великой Отечественной войны. Характеризуя значение этой книги, Г. Ф. Дебец писал в предисловии к ней, что она представляет собой важный этап в истории советской антропологии. Он подчеркивал, что А. И. Ярхо, работая над изучением расового состава алтае-саянских тюрков, сформулировал ряд принципов, ставших ныне азбукой для большинства советских антропологов. К их числу относятся принцип таксономической неравноценности расовых признаков, динамический принцип подхода к расово-систематическим категориям и др. Здесь же Г. Ф. Дебец, отмечая спорность некоторых выводов А. И. Ярхо, вместе с тем подчеркивал, что они должны учитываться при дальнейшей разработке антропологической проблематики [14]. В монографии были приведены 49 таблиц с результатами антропологических измерений, включающих данные по тувинцам, а ряд важных показателей (головной указатель, высота и ширина лица, высота переносья и др.) картографированы. Основные главы книги содержали измерительные и описательные признаки, группы крови, расовую диагностику.

Установив расовую неоднородность населения Саяно-Алтая, А. И. Ярхо пришел к выводу, что тувинцы в наиболее ясно выраженной форме — представители центральноазиатского типа, а у тувинцев центрального района несомненно преобладание южносибирского типа [15]. Отмечая наличие европеоидных признаков в южносибирском типе саяно-алтайских народов, в частности депигментации, А. И. Ярхо был склонен объяснить это не участием европеоидов в генезисе народов Саяно-Алтая, а внутренними процессами расогенеза. Признавая, что европеоидное население жило в древности на Саяно-Алтае, он считал его участие в образовании современных народностей этого региона незначительным. Справедливо критикуя расистский политический аспект норманской теории, проявившийся, в частности, в утверждении культуртрегерской роли «голубоглазой европеоидной расы в Азии», А. И. Ярхо резко выступил и против концепции Г. Е. Грумм-Гржимайло, который связывал древнее европеоидное население Саяно-Алтая с так называемыми динлинами, жившими здесь до рубежа новой эры, и приписывал им особые заслуги в культурной истории региона. Вместе с тем на основе современных достижений науки совершенно очевидно, что А. И. Ярхо ошибался, стараясь умалить участие европеоидного населения в этногенезе народов Саяно-Алтая, в частности тувинцев. Исходя из концепции

А. И. Ярхо, можно было бы заключить, что европеоидное население не принимало участия в происхождении современных тувинцев и формировании их культуры. Однако анализ антропологических, археологических, письменных, лингвистических и прежде всего этнографических источников позволил все же прийти к выводу о спорности выводов А. И. Ярхо по этому вопросу. Изучив имеющиеся источники в связи с проблемой этногенеза тувинцев, автор настоящей статьи писал еще в 1957 г. в посвященной этому работе о несомненной преемственности этнического состава и культуры древнетюркского населения Тувы (хорошо здесь изученного по материалам второй половины I тысячелетия н. э.), значительная европеоидная примесь в составе которого несомненна, и современных тувинцев. Далее автор отмечал, что «протекавший во II тысячелетии процесс интенсивного включения в тувинский этногенез монголоязычных групп, характеризовавшихся в расовом отношении ярко выраженными чертами центральноазиатского антропологического типа, не мог не отразиться на усилении монголоидных особенностей у тувинцев и этим объясняются определенные отличия антропологического типа древнего и современного населения Тувы» [16], т. е. что в этногенезе тувинцев определенно участвовало европеоидное население, причем не столько динлины, сколько древние тюрки. Проведенные недавно в Туве новые антропологические исследования В. И. Богдановой подтвердили этот вывод [17].

В посмертной работе А. И. Ярхо были приведены и некоторые данные об этническом составе тувинцев [18], но они, к сожалению, очень кратки — менее полстраницы текста. Причем этнические наименования указаны неточно. Неполно и содержащееся здесь утверждение об отсутствии экзогамии у тувинцев [19]. В действительности ее не было в это время лишь у западных тувинцев, а у восточных она сохранялась вплоть до середины XX в.[20]

В отличие от антропологических материалов, этнографические исследования, которые вел М. Г. Левин, а также некоторые наблюдения этого рода, проводившиеся В. В. Бунаком и А. И. Ярхо, получили крайне недостаточное отражение в публикациях.

В. В. Бунак в опубликованном в 1929 г. предварительном кратком отчете привел лишь некоторые, притом самые общие итоги этнографических исследований. Изложив кратко общие сведения о Туве того времени и ее географических регионах, он попытался дать краткую типологическую характеристику культуры тувинцев, в которой выделил три типа, или комплекса. В своей статье Бунак отмечал, что для первого типа, представленного в Северной Тодже, характерны охота и оленеводство, берестяной чум, относительно слабое развитие шаманства; для второго, распространенного по Хемчику и Тес-Хему, характерны скотоводство (овцы и рогатый скот), войлочная юрта; для третьего, в Бий-Хеме и Каа-Хеме, характерны скотоводство и охота, чум, покрытый берестой и корой лиственницы, сильно развитое шаманство.

В. В. Бунак высказал также свое мнение о происхождении этих типов. Он писал, что отличия этих трех типов носят в основном антропогеографический характер и связаны с теми или иными природными особенностями. Но географические особенности не единственный фактор в генезисе отличий. Нельзя себе представить, подчеркивал В. В. Бунак, что один народ на относительно маленькой территории, приспосабливаясь к окружающей среде, сам бы, без постороннего влияния, выработал элементы, которые соответствуют различным этническим типам, и особенно такие специфические элементы, как типы поселений, скотоводство и т. д. Особенности отдельных районов Тувы, вероятно, вызваны частично контактами с соседними племенами, их этническим влиянием. «Если принять теорию, — писал В. В. Бунак, — согласно которой алтайско-саянские племена — самоеды, смешанные с тюрками, надо признать, что самоедам была свойственна охота, а не скотоводство, в то время как скотоводство было свойственно тюркам. Что касается самоедского типа, этнографические данные не говорят о том, что он сыграл большую роль в образова-

нии культурного единства тувинцев. Тем не менее, учитывая факт присутствия самоедов на юге, на алтайско-саянском плато, откуда они были вытеснены новой тюркской этнической волной, нельзя отрицать возможное участие самоедов в этническом типе саянских племен» [21]. Таковы были основные выводы, сделанные В. В. Бунаком в его отчетной статье. К сожалению, конкретные этнографические факты, собранные экспедицией, в предварительной публикации В. В. Бунака не получили какого-либо отражения.

Ценные этнографические материалы, собранные М. Г. Левиным, остаются поныне не опубликованными и в основном не введенными в научный оборот. Эти материалы включают хранящиеся в архиве Института этнографии АН СССР (Москва) дневники М. Г. Левина (ф. 41, оп. 2, № 116-б) и его этнографические записки (ф. 41, оп. 2, № 116-в) [22], фотографии, хранящиеся в архиве Института антропологии МГУ, а также рисунки О. Ф. Амосовой, большая часть которых находится в архиве Института этнографии АН СССР в Ленинграде (МАЭ, № 1602). Собранные М. Г. Левиным тувинские этнографические коллекции, хранившиеся в Институте антропологии МГУ, были еще в 30-е годы переданы Музею народоведения, а затем — Государственному музею этнографии народов СССР.

Следует сказать, что хотя исследования велись Левиным по широкой программе, но, к сожалению, далеко не все основные стороны тувинской этнографии получили отражение в имеющихся записях. В них по многим важным вопросам тувинской этнографии имеются лишь очень схематичные и крайне фрагментарные свидетельства. Но даже такие сведения представляют очень большую научную ценность, являясь чрезвычайно важным живым свидетельством ученого-этнографа о культуре и быте тувинского народа в середине 20-х годов.

Крайне интересны не только этнографические записи Левина, но и приводимые им данные об организации экспедиции, яркие дорожные впечатления, заметки о встречах с различными людьми в пути и др. В одной статье нет возможности подробно и всесторонне охарактеризовать все материалы этнографического отряда экспедиции. Их, несомненно, целесообразно опубликовать полностью. Но и краткое изложение этих материалов, надеюсь, представляет интерес для исследователей этнографии и истории Тувы.

Первая запись в дневнике М. Г. Левина относится к 24 июня 1926 г. и сделана в Москве. Она содержит сведения о тувинском представительстве в СССР, о радушном приеме, который был оказан М. Г. Левину, приехавшему сюда в связи с оформлением необходимой документации. На следующий день сотрудники экспедиции на поезде отбыли из Москвы в Красноярск. Пробыв несколько дней в этом городе, они на пароходе отплыли по Енисею в Минусинск. На пароходе М. Г. Левин познакомился с Пасхаловым — бывшим бойцом партизанской армии Щетинкина, сражавшейся против белогвардейцев в Туве и других районах Сибири. В дневнике приведен живой рассказ Пасхалова о деятельности красных партизан, об их боях за Белоцарск (ныне г. Кызыл) и другие сибирские города, в которых он участвовал (л. 7 об., 8).

Прибыв в Минусинск, сотрудники экспедиции, не теряя времени, в течение нескольких дней изучали тувинские коллекции в местном музее. 10 июля экспедиция на подводах выехала по Усинскому тракту в столицу республики — г. Красный (Кызыл). Столица Тувы, отмечает М. Г. Левин в дневнике, была тогда небольшим городком из нескольких десятков деревянных домиков и войлочных юрт, раскинувшихся в степи, недалеко от того места, где два основных притока Енисея, сливаясь, дают начало великой сибирской реке. В г. Красном был согласован дальнейший маршрут экспедиции. Ее сотрудники были приняты членами правительства Тувинской Народной Республики, встречались с представителями местной интеллигенции. Многие министерства размещались в ту пору в юртах. Левин отмечает в дневнике, что юрты министерства отли-

чаются от обычных тувинских юрт лишь дощатым настилом-полом и железной печкой (№ 116-б, л. 47). Во время встреч с руководителями республики был поднят вопрос о создании Тувинского краеведческого музея. Левин 20 июля записывает в дневнике (№ 116-б, л. 17 об.): «Идет разговор об организации в Красном Тувинского краеведческого музея. Беседовал с министром просвещения... Можно думать, что начало музею будет положено, хочу наладить им этнографию».

Здесь же, в г. Красном, приступили к этнографической работе. В окрестностях столицы были сделаны записи о некоторых сторонах культуры и быта местных жителей, в частности о нескольких тувинских тамгах, подробно описаны посещение ламы и беседа с ним, встреча с шаманкой и др. (№ 116-б, л. 16—23). 24 июля сотрудники экспедиции выехали на праздник в Маадинское хурэ, «расположенное верстах в тридцати от столицы». Левин приводит в своем дневнике подробное и очень интересное описание религиозного праздника, начавшегося на следующий день. Записи содержат яркие характеристики участников праздника, любопытные детали религиозного богослужения; проходившие здесь конные состязания; борьбу хуреш; многие бытовые детали (там же, л. 24—32). Сопровождал сотрудников экспедиции бывший красный партизан Антипин, который по дороге в хурэ рассказывал Левину о своем участии в гражданской войне в Туве (там же, л. 24 об.).

Вблизи Красного жило кочевое население. Левин, совершая поездки в окрестности города, ознакомился с жилищем кочевых скотоводов. В дневнике дано краткое описание юрты; приведена схема расположения утвари в жилище; указано, что оно ориентировано выходом на юг; приведено несколько основных терминов; сделаны промеры; кратко описан процесс установки юрты, который он наблюдал в пяти верстах от Красного, вниз по Енисею, Левин записывает: «Вещи привозили вечером на место, где должна быть установлена юрта, они лежат нераспакованными и вечером. Семья встала в 4 $^1/_2$ утра. Хозяйка надевает халат, сапоги, начинает распаковывать вещи. Развертывает связку „хана“... Юрту устанавливает вокруг кучи скарба... Установка юрты при работе 2-х человек заняла 1$^1/_2$ часа. Работающим помогали только при установке дымового круга, поддерживая вдетые в него „хана“». Левин указывает, что перекочевку совершали две семьи, располагавшие «10 вьючными быками и одним быком, впряженным в сани. Утром, — пишет он, — перенесли одну юрту, и теперь вечером — другую» (№ 116-в, л. 22—26).

Завершив через несколько дней работу вблизи столицы, этнографический отряд, включавший Левина, О. Ф. Амосову и переводчика, выехал в сторону Черби. Живо и интересно описано в дневнике посещение одного из святилищ «ова», обнаруженного по дороге. Святилище было расположено на вершине холма и представляло собой «конусовидный шалаш из жердей в 2$^1/_2$ м в вышину. Кругом шалаша куча камней... Вокруг на жердях множество лоскутков, среди них и цветные. В шалаш с южной стороны ведет весьма низкое отверстие (подлаз). С трудом вползая на животе, пробирались внутрь. Внутри, против двери, на перекладине, которая идет от одной стены к другой, лоскутки различной длины, разноцветные и две палки с повязанными на них лоскутками и молитвами... На стене против двери к жерди подвешена плоская шкатулка, в которой оказались куски кровельного железа. Справа от двери в жердях на земле два деревянных меча. У стены, противоположной двери, куча камней, на которой нашел деревянное небольшое изображение лошади, окрашенное в красный цвет. Кругом среди жердей обращенные остриями или к вершине шалаша, или внутрь к перекладине деревянные пики — длинные заостренные обструганные шесты с зарубками и с плоским острием» (№ 116-б, л. 36 об. — 37).

Интересно, и описание стойбища в 50 верстах от Красного по пути в Черби, которое посетил отряд. В этом стойбище жили маадинцы. Их летнее стойбище включало 20 жилищ, расположенных на близком рас-

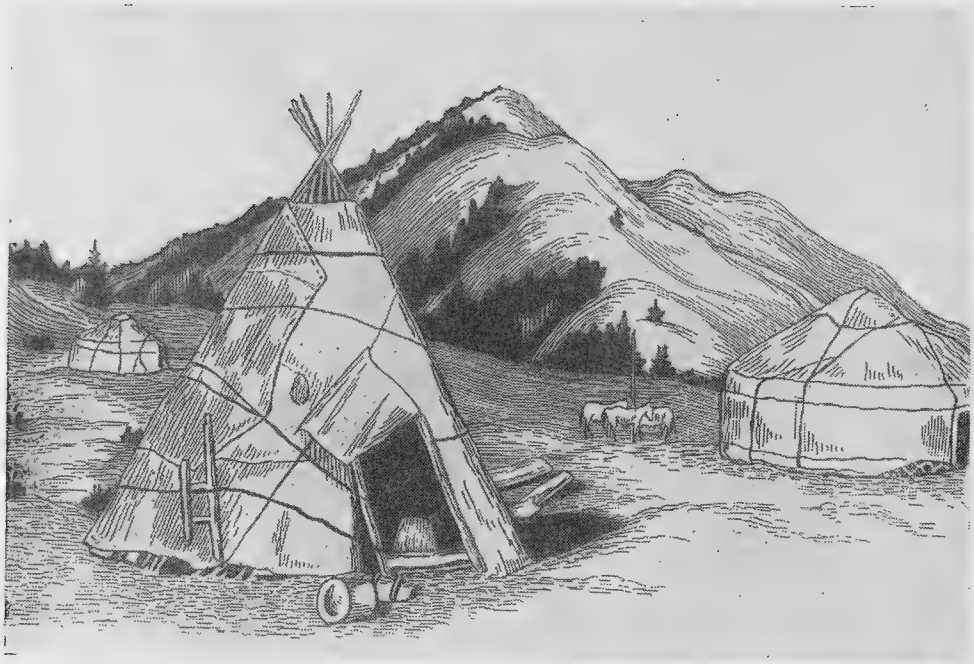


Рис. 2. Жилища в Черби; на переднем плане чум, крытый войлоком; на втором плане войлочные юрты; рисунок О. Ф. Амосовой

стоянии одно от другого. Отряд провел здесь несколько дней. Жители стойбища сообщили Левину, что такое большое объединение жилищ в одном стойбище бывает только летом, а зимой они живут порознь, по 2—3 юрты на каждом зимнике. Состав летнего стойбища непостоянен и может из лета в лето меняться. Некоторые из живших здесь одно лето не приезжают сюда на следующее, так как у них может не оказаться достаточного количества вьючных животных. Кроме войлочных юрт, в этом стойбище было два чума: один был крыт лиственничной корой, другой — кошмами (рис. 2). На вопрос Левина, почему некоторые семейства живут в чумах, а не в юртах, ему ответили, что в чумах живут бедняки, у которых нет юрт. Все находившиеся здесь хозяйства занимались наряду со скотоводством землепашеством, высевая главным образом просо. «Бедняки, которые не имеют своего скота, — записывает Левин, — берут у богатых скот (лошадь 1—2, быков 2—3) и сеют. Отдают хлебом». Здесь же Левин отмечает, что посевы всех жителей стойбища производятся в одном месте, рядом с посевами русских. На одном месте, указывает он, сеют до трех лет, но обычно два года. Тут же приведены краткие сведения о землепашестве, земледельческих орудиях и отмечено, что сейчас пашут больше русскими плугами, которые покупают в кооперативе. Далее Левин подчеркивает, что «тувинское правительство тому, кто не в состоянии купить, дает сельскохозяйственные орудия, выделяет семена» (№ 116-в, л. 91—97).

В местности Толба Левин описал зимник богатого скотовода, бывшего нойона Чугдура. Этот зимник был расположен в лесу. Среди построек были теплый загон для крупного рогатого скота, теплый загон для телят, небольшой сруб для хранения продуктов, открытый загон для лошадей и жеребят, загородка для сена. Семья владельца зимника жила в небольшой избушке, срубленной русскими крестьянами; рядом был поставлен чум. Загоном для крупного рогатого скота служил шестиугольный сруб, рубленный в чашку, с плоской крышей, из тонких бревен, засыпанный хворостом (высота 1,2 м, длина стены 3 м). Телятник — четырехугольный сруб, выстроенный так же, как и коровник. Обычно такие те-

лятники, отмечает Левин, углублены в землю на один аршин (примерно на 1,5 м) с пологим спуском от входа. Вынутой землей обсыпают стены, утепляя помещение. Высота телятника 0,7 м, длина 3 м, ширина 1,5 м. Загон для лошадей семиугольный, из жердей. Здесь же дан схематический план зимника (№ 116-б, л. 14—16).

Вскоре этнографический отряд прибыл в Тоджу и приступил к работе среди скотоводов сумона Кол. Около Тоджинского хурэ на реке Ин-суг стояло несколько чумов, крытых корой и берестой. Как объясняли местные жители, часть чума крыта корой лиственницы, так как бересты (вероятно, вываренной и приготовленной для изготовления покрышек. — *С. В.*) не хватает. Здесь же приведены краткие сведения об изготовлении покрышек и установке чума.

Ко времени приезда экспедиции в район Тоджинского хурэ там располагалось небольшое стойбище, входившее в сумон Кол.

Левин обратил внимание на то, что в районе стойбища шло изготовление верхнего круга для войлочной юрты. Из беседы с мастером выяснилось, что юрта изготовляется для бывшего нойона, который пригласил этого тувинца-скотовода, жившего на р. Терсиг и умевшего делать остовы юрт. Мастер, хорошо говоривший по-русски, рассказал, что он 12 лет жил среди русских [т. е. с 1914 г. — *С. В.*] и успешно использует навыки, приобретенные у русских для обработки дерева; все его инструменты были приобретены у русских (топор, пила, стамеска, сверло), причем станок для изготовления круга был таким же, «каким русские гнут колеса и полозья». Тувинских названий для станка или отдельных его частей не было. Другие мастера, которые среди русских не жили, гнут просто руками, вставляя стесанную жердь (березовую) между двух рядом стоящих деревьев, просовывая жердь все дальше между деревьями, пока жердь не станет мягкой (там же, л. 3).

Здесь же были сделаны детальные промеры чумов тоджинских скотоводов (рис. 3). Приводятся размеры одного из чумов (окружность 22 м, диаметр 6,5 м, высота 4,5 м) (там же, л. 6—7).

На р. Ий экспедиция встретила стойбище из восьми чумов. Коротко описан небольшой чум, предназначенный для хранения скарба, в котором также хранились шкуры. Левин записывает, что конструкция чума не отличалась от жилого; он был лишь меньше размером. Он же отметил, что такой чум «встречается довольно редко, только у богатых людей, причем принадлежит одному хозяину. Ставится на летниках. При переходе на зимник в нем оставляют ненужный зимой скарб». Откочевывая, ограничивались закрыванием входа в чум (там же, л. 8—9).

Представляет интерес также описание зимника тоджинского скотовода. Зимник включал два четырехугольных сруба, каждый из которых был рублен из бревен, скрепленных в чашку; к срубам примыкали два загона для скота. Здесь же приведен схематический план зимника (там же, л. 10—11).

Значительный интерес вызывают материалы о хозяйстве, в особенности рыболовстве и охоте у восточных тувинцев.

Характеризуя озерное рыболовство, М. Г. Левин отмечает, что тоджинцы по традиции ловят рыбу в озерах Тоджа, Улуг-Холь и др. Рыбачат весной и осенью. «Никаких запретов на рыбную ловлю нет... Всякий тувинец, если он не лама, может рыбачить, если есть снасти» (там же, л. 53). Здесь же описана ловля рыбы при помощи сетей и лучением (л. 54, 55), а также применение в рыболовстве обычая «ужа». М. Г. Левин записывает, что «если человек присутствует при рыбалке и кричит „ужа“, то он получает каждый раз, когда просит». И отмечает слова рыбака: «Если человек приходит, когда рыбачим, то от этой сети он получает „ужа“. „Ужа“ он может и не говорить, сами мы знаем, что он „ужа“ пришел. От каждой сети даем. В первый раз дают около $^1/_3$. В следующий раз тому же дают меньше... Бывает, что рыбак иногда должен все раздать. Если много народу, то себе и поесть не удастся» (там же, л. 55 и об.). М. Г. Левин обратил внимание на лов щук петля-

Рис. 3. Чум восточных тувинцев, крытый берестой и корой лиственницы; Тоджа; фото

ми. Леска состояла из шести витых конских волос (длина конского хвоста), образующих подвижную петлю. Леска привязана к длинной жерди. «Рыбачат с берега, — пишет он, — когда подойдет рыба, ее поддевают на петлю». Рыбачат петлей и в реках, и в озерах.

Краткие сведения приведены об охоте (там же, л. 57—64), обработке шкур (там же, л. 65—68), кузнечестве (там же, л. 69—71) у восточных тувинцев. Беседуя с жителем тоджинского сумона Кол стариком Арамджином, которому тогда было 85 лет (1841 г. рождения), М. Г. Левин записывает его рассказ о том, что в годы молодости информатора при охоте на белку тувинцы-охотники использовали наряду с ружьями луки и стрелы и что еще в недавнем прошлом, когда не было пороха, также применяли на охоте луки (там же, л. 49, 50 и об.). У восточных тувинцев кратко описаны также порядок сбора и употребления сараны, кедровых орехов, сенокошение (там же, л. 45—46), тот же обычай «ужа» (там же, л. 57, 59), процесс обработки шкур животных (там же, л. 65—68), кузнечное производство (там же, л. 69—71), утварь (там же, л. 75—87).

Посетив оленеводов сумона Кара-Чооду, Левин сделал краткие записи о характере оленеводства и коневодства у тоджинцев (там же, л. 123—124), причем обратил внимание на то, что «почти у каждого оленевода Кара-Чооду имеется по одному-два коня (у некоторых до 10). Лошадь используется исключительно как верховое животное. Кобылиц не доят и те, у кого их много. Загонов для лошадей нет. Собирают лошадей так: подъедет к табуну, бросит горсть соли, все лошади и сбегутся. Едут собирать лошадей всегда с мешочком соли. Лошадей используют для дальних летних поездок, когда едут в степи... тогда лошадей иногда и вьючат» (там же, л. 124 об.).

В этнографических записях мы находим сведения о свадебной обряд-

ности у тувинцев, о праве наследования. Касаясь последнего, М. Г. Левин отмечает, что после смерти отца дети получают скот (вместе с приплодом), выделенный им еще при жизни родителя, причем равное право на наследование имеют все дети независимо от старшинства, включая приемных детей (там же, л. 112—113). Описаны обычаи, связанные с рождением ребенка, похоронами (там же, л. 109—110).

Записи М. Г. Левина содержат и некоторые материалы для характеристики сложных социальных отношений у тувинцев в середине 20-х годов. В частности, отмечено значительное социальное расслоение. В тот период в государственном и партийном аппарате республики, в том числе на руководящей работе, еще кое-где находились бывшие крупные светские и духовные аристократы, чиновники и баи (№ 116-б, л. 17 об., 47 и др.), которые, как известно, позднее были изгнаны из рядов партии и из государственного аппарата [23].

Проводя свои этнографические исследования, М. Г. Левин проявлял большой интерес к верованиям тувинцев. Он отмечает, что они представляют собой «пеструю смесь древних анимистических представлений и шаманских обрядов и позднейших ламаистских культов... Шаман и лама не только прекрасно уживаются друг с другом, размежевав свои функции, но и не избегают в известных случаях прибегать друг к другу за помощью. Хамба Тоджинского хурэ в беседе с нами выразил эту мысль так: „Лама идет по одной дороге, шаман по другой. Добрых и злых духов много. Когда человек болен, почему не позвать шамана, который знается со злыми духами и может помочь человеку". Являясь в Туве официальной религией, ламаизм впитал в себя много из древнего шаманства, воспринял ряд шаманских обрядов, приспособившись таким образом к местным условиям» (там же, л. 144). В записях приведены конкретные материалы о шаманстве у тувинцев.

Любопытные сведения были собраны М. Г. Левиным у шаманки из сумона Кол в Тодже. Она рассказывала о себе, что ей 40 лет, а шаманить она начала в 25 лет. Еще с детства она постоянно болела, к ней приглашали несколько шаманов, и все они говорили, что если она хочет выздороветь, ей надо стать шаманкой. Она решила стать шаманкой, когда была уже взрослой. Первыми принадлежностями, с которыми она начала шаманить (вначале только для себя), были изображения духов — эрени. Их ей сделали другие шаманы. Три года она шаманила «для себя», имея только эреней, без бубна. Через три года приехал дархатский «большой» шаман, который привез ей бубен, головной убор и сапоги для камлания. В присутствии его и еще одного шамана был устроен особый обряд «оживления бубна». Вначале, пока бубен был «сырой», в него били находившиеся здесь «простые люди», потом в бубен ударил дархатский шаман, затем еще один шаман, присутствовавший на обряде; сама же владелица била в бубен последней. С этого дня она стала «настоящей шаманкой» с бубном и могла камлать не только для себя, но и «лечить людей», камлая им во время болезни (там же, л. 105—107). В этнографических заметках приведены также сведения об обряде посвящения лошадей и оленей духам. Посвящаемым животным мог быть самец или самка независимо от возраста, но обязательно светлой масти. Описан сам обряд посвящения. Коню во время обряда привязывали на гриву и хвост цветные ленты (белую, красную, синюю). При посвящении оленя ему привязывали также нередко цветные ленты к шее, а иногда спину оленя при этом раскрашивали красными полосами, пользуясь охристой глиной. Ленты на посвященной лошади могли обновляться шаманом несколько раз при жизни этой лошади, но рисунки на спине посвященного оленя делались только один раз. Такое животное, по утверждению шамана, загораживало путь злых духов к больному. Это животное (ыдык) нельзя было забивать, а если оно погибало, то посвящалось новое животное той же масти. Ездить на ыдыке могли только хозяин и его сын; чужим и женщинам это запрещалось (там же, л. 105 и об.). Если болела женщина, то посвящали духам лошадь или оленя ее мужа (там же, л. 108 об.).

Рис. 4. Тувинка за вышиванием узора на дверной кошме; Самагалтай; рисунок О. Ф. Амосовой

Рис. 5. Тувинка у очага; Самагалтай; рисунок О. Ф. Амосовой

Описывая предметы шаманского культа, М. Г. Левин, в частности, отмечает детали головного убора и приводит его размеры, указывая, что на головном уборе имеется 9 пучков перьев и 16 опущенных вниз матерчатых жгутов (длина 12 см), каждый из которых завершается пятью кожаными ремешками. Приводится описание орнамента, украшающего головной убор, а также данные о шаманском бубне и его размерах (там же, л. 103, 104).

Характеризуя административное устройство Тувы, Левин приводит в своих материалах полученные им в экспедиции данные о делении тувинских хошунов после реформы 1923 г. в том виде, в каком они были зарегистрированы экспедицией в 1926 г. По данным Левина, Хемчик хошун 1-й включал следующие сумоны: 1 — Сат, 2 — Чидан-Куулар, 3 — Суг-бажи-Куулар, 4 — Чергак-Куулар, 5 — Кужегет, 6 — Сарыглар, 7 — Карасал, 8 — Хертек, 9 — Салчак, 10 — Чадан-Донгак, 11 — Сарыг Донгак.

а *б* *в* *г* *д*

Рис. 6. Марки Тувы, выполненные по проектам О. Ф. Амосовой (этнографическая серия, 1927 г.):

а — портрет тувинца; *б* — портрет тувинки; *в* — тувинка в национальном костюме рядом с чумом; *г* — караван верблюдов; *д* — домашний олень

Хемчик хошун 2-й состоял из сумонов: 1 — Улуг-Монгуш, 2 — Монгуш, 3 — Хомыш, 4 — Ооржак, 5 — Бичи-Ооржак, 6 — Улуг-Ховалыг, 7 — Бичи-Ховалыг, 8 — Кара-Монгуш, 9 — Ондар, 10 — Иргит, 11 — Сая, 12 — Хайракан.

Улуг-Хем хошун состоял из сумонов: 1 — Улуг-Тюлюш, 2 — Тюлюш, 3 — Адыг-Тюлюш, 4 — Толан, 5 — Тумат, 6 — Кыргыз, 7 — Чооду, 8 — Тонгак, 9 — Ондар, 10 — Ховалыг.

Салчак хошун состоял из сумонов: 1 — Салчак, 2 — Пайгара, 3 — Кыргыз, 4 — Нур.

Тес-Хемский хошун состоял из сумонов: 1 — Убар-Ойнар, 2 — Ар-Ойнар, 3 — Чооду, 4 — Соян, 5 — Иргит, 6 — Шалык.

Тоджинский хошун состоял из сумонов: 1 — Кол, 2 — Баран, 3 — Ак, 4 — Кара (№ 116-в, л. 99 и об.). Кроме того, имелся отдельный сумон Маады, который в 1925 г. был объединен с сумоном Чооду. До этого они не входили в число тувинских хошунов, а до революции управлялись из Монголии (№ 116-в, л. 40).

В конце сентября этнографический отряд возвратился в г. Красный. Вскоре сюда вернулись и остальные участники экспедиции; прибыли на плотах и этнографические коллекции, приобретенные в Восточной Туве.

6 октября Левин записывает в дневнике: «Сегодня прибыли наши коллекции с плотов. Все в сохранности. Приступили к разбору их, к выделению части для музея местного. Разборку надо закончить в один день... Мы остаемся втроем до плота, который отправится 13 или 14-го» (там же, л. 102 об.). Через день, 8 октября, разобрав коллекции, этнографический отряд вновь по заданию В. В. Бунака приступил к работе в окрестностях Красного, затем были проведены кратковременные поездки в Салчкский и Ойнарский хошуны.

В середине октября Левин и некоторые другие сотрудники экспедиции на плотах по Енисею отплыли в Минусинск, чтобы оттуда продолжить обратный путь в Москву.

Самостоятельную этнографическую ценность имеют рисунки О. Ф. Амосовой, сделанные как в Тодже, так и в центральных и южных районах Тувы (рис. 2, 4, 5). По своим этнографическим зарисовкам, выполненным в Тувинской экспедиции, О. Ф. Амосова подготовила вскоре после возвращения в Москву проекты почтовых марок Тувинской Народной Республики. Эти проекты, помеченные июлем 1927 г., хранятся в Музее Гознака в Москве. Марки, отпечатанные по эскизам О. Ф. Амосовой, образуют несколько очень интересных больших этнографических серий (1927, 1932, 1933 гг.) [24]. Они украшены орнаментом, мотивы которого О. Ф. Амосова воспроизвела по своим зарисовкам декорированной утвари и украшений тувинцев. На марках изображены различные этнографические сюжеты и антропологические типы тувинцев, в том числе их жилища, переправа на лошадях через реку, изготовление дверной кошмы, караван верблюдов, тоджинец на верховом олене, домашний олень и др. (рис. 6). Выпуск этих почтовых марок впервые позволил широкой мировой общественности познакомиться со своеобразным бытом жителей молодой Тувинской Народной Республики, избравшей некапиталистический путь развития.

В 50-е годы М. Г. Левин, узнав о моей работе в Туве по изучению этнографии восточных тувинцев, познакомил меня с некоторыми из собранных им материалов, которые были учтены мной [25]. После смерти М. Г. Левина его записи были переданы в архив ИЭ АН СССР, что позволило частично учесть их в моем исследовании по этнографии тувинцев [26]. Данные материалы экспедиции 1926 г., положившие начало глубокому и всестороннему изучению советскими учеными этнографии и антропологии Тувы, необходимо издать полностью.

[1] См.: *Вайнштейн С. И.* Этнографические исследования Н. Ф. Катанова у тувинцев и других тюркоязычных народов. — В кн.: ОИРЭФА. М.: Наука, 1968, вып. IV. (ТИЭ. Нов. сер.; Т. 94).

[2] *Островских П. Е.* Краткий отчет по поездке в Тоджинский хошун Уряпхайской земли. — Изв. РГО, 1898, т. 34, вып. 4.

[3] Предварительный отчет по экспедиции Ф. Копа. — Изв. ВСОРГО, Иркутск, 1903, т. XXXI, вып. 1.

[4] *Кон Ф. Я.* За пятьдесят лет: В 3-х т. М.: Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1934. Т. III. Экспедиция в Сойотию.

[5] См.: *Вайнштейн С. И.* Феликс Яковлевич Коп как этнограф. — В кн.: ОИРЭФА. М.: Наука, 1965, вып. III. (ТИЭ. Нов. сер.; Т. 91).

[6] См.: *Вайнштейн С. И.* Краткая история этнографического изучения тувинцев. — В кн.: Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. М.: Наука, 1968.

[7] *Горощенко К. И.* Сойоты. — Русский антропологический журнал, 1901, № 2, с. 69—70.

[8] *Ярхо А. И.* Антропологический тип кемчикских тапну-тувинцев. — Северная Азия, 1929, № 5/6.

[9] *Bounak V.* Un pays de l'Asia peu connu: Le Tanna-Touva. — Internat: Arch. Ethnographie, Leiden, 1928.

[10] Ibid., p. 1—14.

[11] Ibid., p. 14.

[12] *Ярхо А. И.* Краткий обзор антропологического изучения турецких народностей СССР за 10 лет (1924—1934). — Антропологический журнал, 1936, № 1; *Он же.* Алтае-саянские тюрки: Антропол. очерк. Абакан: Хакоблиздат, 1947.

[13] *Ярхо А. И.* Алтае-саянские тюрки.

[14] Там же, с. 3—4.

[15] Там же, с. 135.

[16] См.: *Вайнштейн С. И.* Очерк этногенеза тувинцев. — Учен. зап. Тувинского НИИЯЛИ, Кызыл. 1957, вып. VII, с. 190—193; см. также: *Вайнштейн С. И., Крюков М. В.* Об облике древних тюрков. — В кн.: Тюркологический сборник. Л.: Наука, 1966.

[17] *Богданова В. И.* Некоторые вопросы формирования антропологического состава современных тувинцев. — СЭ, 1978, № 6.

[18] *Ярхо А. И.* Алтае-саянские тюрки, с. 19.

[19] Там же.

[20] См.: *Вайнштейн С. И.* Тувинцы-тоджинцы: Ист.-этногр. очерки. М.: Изд-во вост. лит., 1961, с. 37—41.

[21] *Bounak V.* Un pays de l'Asia..., p. 10—12.

[22] Дневник и этнографические записи М. Г. Левина были переданы в архив Ин-та этнографии АН СССР Г. М. Бонгард-Левиным.

[23] История Тувы. М., 1964, т. II.

[24] *Блехман С.* История почты и знаки почтовой оплаты Тувы. М., 1976, с. 59—66

[25] См.: *Вайнштейн С. И.* Тувинцы-тоджинцы, с. 11.

[26] См.: *Вайнштейн С. И.* Историческая этнография тувинцев: Пробл. кочевого хозяйства. М.: Наука, 1972.

Л. П. Кузьмина

ФОЛЬКЛОР СТАРОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РУССКОГО УСТЬЯ

(К истории его собирания и изучения)

История собирания и изучения фольклора старожилого населения Русского Устья насчитывает несколько десятилетий. В настоящее время это старейшее русское поселение, расположенное близ впадения р. Индигирки в Ледовитый океан, — признанный очаг традиционного фольклора. За несколько десятилетий в Русском Устье был записан значительный по объему и богатый по своей сути фольклорный материал. К сожалению, до сих пор не имеется сводной научной публикации текстов фольклора этой группы русского населения Сибири. Отдельные публикации текстов разбросаны по различным центральным и местным изданиям, ставшим большей частью библиографической редкостью. Многие материалы продолжают оставаться в архивах.

Цель данной статьи — освещение собраний фольклорных материалов, полученных в Русском Устье в разные годы и хранящихся в различных рукописных фондах. Они, конечно, не дают полного представления о содержании русскоустьинской фольклорной традиции, но в какой-то мере отражают ее судьбу.

Для того чтобы по возможности последовательно осветить историю собирания традиционного фольклора в Русском Устье, эти рукописные собрания рассматриваются здесь в хронологической последовательности.

Под названием Русское Устье понимается совокупность небольших селений — Русскоустьинский наслег [1]. Его современный центр — поселок Полярное (до 1943 г. он назывался Русским Устьем). По народному преданию, первые насельники этих мест были выходцами из северных губерний России. «Спасаясь от тяжелой ратной службы, — рассказывают старики, — жители разных городов еще при Иване Грозном на ботах и кочах вышли из России морем и двинулись на восток, где и осели в устье Индигирки среди инородцев, назвав свой первый поселок Русским Устьем» [2].

Старожилое население низовьев р. Индигирки представляет собой хорошо сохранившуюся этническую группу. Местная традиция выделяет в ней «корневые», т. е. старожильческие фамилии: Суздаловы, Струковы, Ярковы, Антоповы, Шелоховские, Шкулевы, Киселевы, Чихачевы, Голыженские и другие — всего 15 фамилий. Почти все эти фамилии встречаются в архивных документах XVII в. и указывают на их предков — мореходов и землепроходцев [3].

Впервые в письменных документах русское поселение у берегов Восточно-Сибирского моря упоминается в 1739 г. под названием Русское жило [4]. Однако исследователи обоснованно утверждают, что первые насельники появились здесь гораздо раньше официальной даты первого упоминания Русского Устья. Это были выходцы с Русского Севера — частица огромного переселенческого потока, возникшего в связи с вольной колонизацией Сибири в XVI—XVII вв.

На протяжении длительного исторического периода потомки русских мореходов, промышленных и служилых людей жили окруженные нерусским населением. В процессе взаимовлияния культур русские восприняли у народов Севера все необходимое для жизни и ведения хозяйства в новых условиях. Вместе с тем они сохранили родной язык, черты русского быта и не утратили своего этнического облика.

Объективно сложившиеся факторы, способствовавшие сохранению национальной устойчивости русского населения низовьев р. Индигирки, стали предметом исследования советских ученых[5]. Изучая своеобразие культуры и быта старожилого населения, они отмечают, что одно из наиболее ярких проявлений этнической устойчивости «досельных» (как себя называют местные русские жители) — самобытность их языка и фольклора. На протяжении нескольких столетий они хранили и передавали из поколения в поколение лучшие образцы традиционного поэтического наследия. К сожалению, многое из богатого и разнообразного репертуара русскоустьинцев было утеряно, в дооктябрьский период запись замечательных памятников народного поэтического искусства носила здесь случайный характер.

Впервые на богатство поэтической традиции старожилого населения этих мест обратили внимание политические ссыльные. Одним из них был И. А. Худяков, сосланный на поселение в Верхоянский округ Якутской области в 60-е годы прошлого столетия. Наряду с изучением этнографии и фольклора якутов он интересовался фольклорной традицией русских, проживавших в Верхоянском округе. В поисках эпической традиции И. А. Худяков побывал в Русском Устье и записал несколько сказок и две былины. Одна из них представляет довольно обширный текст «Алеша Попович и Тугарин», другая — вариант былины, известной под названием «Наезд литовцев», но названной в записях И. А. Худякова — «Царь Елизар»[6].

Записи И. А. Худякова значительно расширили научные познания о границах распространения устной поэтической традиции в Сибири и были первым значительным вкладом в историю изучения духовной культуры населения Русского Устья. В. Ф. Миллер, публикуя новые записи былин Якутской области, высоко оценил эпические произведения, записанные в одном из самых отдаленных и северных русских поселений: «Вот в какой глуши благодаря полной почти изолированности от всякого культурного движения еще хранится эпическая старина!»[7]

Спустя несколько десятилетий выводы И. А. Худякова о богатстве русскоустьинской фольклорной традиции были подтверждены В. М. Зензиновым, отбывавшим здесь административную ссылку в 1912 г. Свои наблюдения за бытованием различных жанров традиционного фольклора он изложил в работе «Русское устье Якутской области Верхоленского уезда»[8]. В ее разделах «Песни» и «Обряды» помещено 25 текстов поэтических произведений, записанных в Русском Устье.

Изучая песенную традицию русскоустьинцев, В. М. Зензинов наблюдал за манерой исполнения «тягучих и проголосных песен», не имеющих ничего общего с якутским горловым пением. Из десяти публикуемых им, в основном исторических, песен В. М. Зензинов выделяет вариант песни о Степане Разине и с удивлением сообщает о том, что он почти полностью совпадает с записью А. С. Пушкина. В. М. Зензинов записал от старожила К. Рожина две «старинные были», одна из которых повествует о двух братьях Волховичах и князе Владимире (известна как былина «О двух братьях»), другая — о Тите-царе и об искоренении татарского нашествия богатырем Данильюшкой (на сюжет «Михайла Данилович»). Десять свадебных песен, записанных собирателем и помещенных в разделе «Обряды», мало чем отличаются от свадебной поэзии, зафиксированной в других районах Севера, но они в значительной степени дополняют сведения И. А. Худякова о песенном репертуаре старожилов Русского Устья.

Полагаясь на свидетельства местных жителей, В. М. Зензинов отмечает постепенное исчезновение из памяти старожилов традиционного

фольклора: «Пройдет еще несколько лет, и навеки будут утрачены песни и былины, сохранившиеся в этом далеком уголке среди неграмотных загадочных выходцев из России» [9].

Фольклорный материал, собранный И. А. Худяковым и В. М. Зензиновым, представляет большую ценность, однако полной картины бытования устного поэтического творчества в Русском Устье не воссоздает. Это связано с тем, что условия политической ссылки сковывали работу собирателей и ограничивали возможность широких контактов с местным населением. Кроме того, фольклор жителей Русского Устья не был предметом специального исследования И. А. Худякова и В. М. Зензинова. Они оценивали фольклорные произведения лишь как иллюстрацию к истории и этнографии изучаемых ими народов.

Целенаправленное изучение фольклорной традиции старожилого населения низовьев р. Индигирки началось в советское время. В 1925 г. Академия наук СССР приступила к комплексному изучению Якутской АССР. В связи с этим в район Индигирки направлялись экспедиции, в состав которых наряду со специалистами — фольклористами и этнографами — входили краеведы и сотрудники местных научных учреждений, интересовавшиеся духовной культурой населения этого района. В результате, как отмечалось выше, был собран большой фольклорный и этнографический материал, частично опубликованный, но большей частью хранящийся в различных рукописных фондах.

Одно из таких собраний — «Отчет Верхоянского этнографического отряда 1927—1929 гг.» Д. Д. Травина, хранящийся в рукописи в Архиве Академии наук СССР [10]. Ее автор, участник и руководитель одного из отрядов этнографической экспедиции, работал в дельте р. Индигирки по заданию Комиссии АН СССР по изучению Якутской АССР. Рукопись была подготовлена к печати, но не опубликована.

Ко времени организации этнографической экспедиции в Якутскую АССР Д. Д. Травин приобрел довольно большой опыт этнографической работы в нижнем течении р. Печоры. Не исключено, что, имея довольно серьезную теоретическую подготовку, он занялся детальным исследованием культуры русских старожилов для того, чтобы подтвердить свои догадки относительно времени и обстоятельств появления русских в одном из самых отдаленных уголков Сибири и обосновать свое предположение, что предки русскоустьинцев были выходцами из северных губерний России.

Стационарные наблюдения Д. Д. Травина, использованные в его монографии, касаются различных сторон традиционной культуры старожилого населения р. Индигирки. Работа состоит из восьми глав: «Русские на Индигирке», «Физико-географические условия», «Растительный и животный мир», «Промыслы», «Питание, одежда, жилище», «Быт. Антропологический тип. Болезни», «Фольклор. Народная поэзия. Язык», «Экономические условия».

Всесторонний анализ и оценку научных обобщений автора монографии дал И. С. Гурвич в подготовленной им к печати статье «Монография о русских старожилах реки Индигирки» [11]. Остановимся лишь на той части работы Д. Д. Травина, которая касается фольклорных материалов.

Рукописное собрание фольклорных текстов включает свыше ста произведений различных жанров фольклора: былины, сказки, песни, загадки, пословицы [12]. Фольклорные тексты тщательно подобраны по жанрам, снабжены обширными комментариями; в некоторых случаях сличены с известными образцами эпических произведений Сибири и Поморья. Все записи сделаны от известных в Русском Устье знатоков народной поэтической традиции: Н. Г. Чихачева, Н. Г. Шкулева, С. П. Киселева; о каждом из них дана подробная биографическая справка, выявлен их репертуар.

Д. Д. Травин отмечает широкое бытование фольклорной традиции, ее своеобразие и устойчивость. Одну из причин сохранности эпических произведений он видит в их высокой художественности. Им были запи-

саны довольно полные варианты былин «Старина Добрыня Никитич», «Старина про Тита» (варианты которых были зафиксированы здесь еще И. А. Худяковым и В. М. Зензиновым) и небольшой былинный отрывок «Суровец Иванович по прозванию Олег Ярославович». Из упоминаемого им большого и разнообразного сказочного репертуара старожилого населения собиратель записал десять сказок [13]. Кроме того, Д. Д. Травин записал несколько легенд и преданий по истории заселения низовьев р. Индигирки и различные фантастические сказания о «чандалах» и людях, засыпающих на зиму. Рассказы о чандалах оцениваются им как варианты многочисленных сказаний о прошлом Сибири и ее древних обитателях, встречающихся иногда под названием чудь, или боргуты. Фантастический рассказ «О людях, засыпающих на зиму», записанный в нескольких вариантах, убеждает в том, что русскоустьинцы знали древнейший письменный источник о Сибири — новгородское летописное сказание «О человецах незнаемых в Восточной стране» [14].

Не менее ценны наблюдения Д. Д. Травина над бытованием других жанров русского фольклора. Он записал свадебный обряд с сопровождающими его песнями, много устных рассказов демонологического содержания, а также сказки и песни, заимствованные у якутов и других народов Севера.

Д. Д. Травин был этнографом, и его научные интересы не были направлены на полное выявление бытовавших в то время произведений фольклора. Сделанные им записи нужно оценивать как отдельные образцы традиционного фольклора, заинтересовавшие исследователя как этнографа.

Квалифицированно написанный труд Д. Д. Травина представляет важное звено в цепи научных сведений по истории и культуре русского населения низовьев р. Индигирки.

Богатое наследие традиционного фольклора, сохранившееся в Русском Устье, собирал и изучал якутский краевед М. А. Кротов, много лет проработавший редактором газеты «Автономная Якутия» и ответственным секретарем журнала «Советская Якутия». В 1931 г. он принял участие в работе экспедиции Наркомводпути и вместе с одним из отрядов прошел большой путь по Индигирке от Момы до Русского Устья.

В очерке «В просторах Индигирки» [15], написанном М. А. Кротовым в связи с завершением экспедиционных работ, автор отмечает наличие в Русском Устье богатой былинной, сказочной и песенной традиции и сообщает, что «русскоустьинским старикам и старухам известно немало сказок и песен». Сказки эти — «Дума Премудрая», «О Бове-королевиче», «Панфил-вор» и другие общеизвестные по сюжету русские народные сказки были занесены на Индигирку новыми поселенцами. Характеризуя «суеверные» представления, а также диалектологические особенности языка русскоустьинцев, М. А. Кротов приводит рассказ о «худых чукчах», записанный им от местного жителя А. Киселева. Кстати сказать, рассказы о каких-то легендарных «диких людях» — «худых чукчах» — широко бытовали в Русском Устье. Об этом свидетельствуют многочисленные записи, полученные от старожилого населения в разные годы [16].

Сведения о русскоустьинской фольклорной традиции, приведенные М. А. Кротовым в очерке, значительно дополняют его полевые записи, оставшиеся неопубликованными и хранящиеся в архиве Якутского филиала СО АН СССР [17]. Рукописное собрание названо М. А. Кротовым «Русские в низовьях Индигирки. Досельные песни, 1931 г.». Фольклорное собрание предваряется статьей, где подробно описаны жилище, повседневный быт и промыслы русскоустьинцев. Автор статьи отмечает, что они живут небольшими селениями, разбросанными по всему тундровому пространству, и что под наименованием «Русское Устье» нужно понимать не узкое название одного лишь селения, лежащего на левом берегу Индигирки, а всю совокупность селений, расположенных по берегам трех проток устья Индигирки. Кроме вступительной статьи этнографического характера, рукопись содержит отрывок былинного текста «Коро-

левское» и 14 бытовых песен. Этот отрывок по своему сюжету очень близок к былине «Наезд литовцев», вариант которой был записан в Русском Устье в середине прошлого века И. А. Худяковым. Вариант, записанный М. А. Кротовым, значительно более разрушен. В нем имеются большие пропуски, отсутствуют конкретные сведения, ничего не говорится о месте действия, почти полностью стерты имена героев былины. Сохранилась лишь та часть былины, которая содержит описание чудесных троекратных превращений, когда братья оборачиваются то волками, то горностаями, то черными воронами. Значительное разрушение былинного текста можно объяснить тем, что запись была произведена от 18-летнего И. Струкова, который слышал былину от отца и сообщил только то, что запомнил. Как известно, через полтора десятилетия эту былину записал Т. А. Шуб, обнаруживший хорошую сохранность сюжета, в основном совпадающего с вариантом И. А. Худякова.

«Досельные» песни, вошедшие в собрание М. А. Кротова, очень разнообразны: «Гришка-атаман», «Нис по матушке да по Волге», «На роще зеленой пташки распевали», «Молодой казак со полку съезжает» и др. Из числа слышанных М. А. Кротовым старинных песен он записал «Виноградье красно-зелено». Это единственный текст песни, который он привел полностью в своем опубликованном очерке вместе с некоторыми сведениями о манере ее исполнения: «Поется эта песня протяжно, тягуче, с двух- и трехкратным повторением слов «виноградье красно-зелено» после каждого куплета» [18].

Очень ценны наблюдения М. А. Кротова над бытованием фольклорной традиции русскоустьинцев в постепенно изменяющихся социальных условиях. Он один из первых обратил внимание на то, что при несомненной устойчивости фольклорной традиции она все же разрушается. Местные сказители стремятся приладить общерусские сказки к местным условиям: дворцы заменяют юртами, вводят в сказки названия местной фауны и флоры, например растение «кондиловый посох» и др. Подчеркивая ослабление традиционного песенного искусства, М. А. Кротов писал: «...постепенно изменяются социальные условия жизни и быта индигирцев... появился колхоз, приезжают экспедиции, к устью Индигирки ежегодно приходит из устья Колымы шхуна, переиначиваются старинные песни и появляются новые. Уже слышишь иногда бодрый напев: «Эх, Дуня, Дуня — комсомолочка моя» или песню Демьяна Бедного в народной обработке «Провожала меня мать, провожала». Обрастают новыми словами и понятиями сказки, переделываются загадки» [19].

Понимая необратимость процесса разрушения фольклорной традиции, М. А. Кротов считает неотложным делом организацию фольклорных экспедиций в этот район для того, чтобы сохранить для потомства поэтические памятники русской старины, имеющие не только познавательное, но и эстетическое значение.

В 1935 г. в Якутской АССР был организован Институт языка и культуры (ныне — Институт языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР). Работа по собиранию фольклора с этого времени приняла планомерный, систематический характер. В ней участвовали кроме научных сотрудников института и широкие круги местной интеллигенции. Участники организуемых институтом экспедиций записывали произведения устного народного творчества не только от якутского, но и от русского населения.

Среди корреспондентов института, присылавших фольклорные материалы, необходимо назвать имя крупного собирателя С. И. Боло. Более двадцати лет он записывал образцы устного народного творчества: исторические предания, сказки, родословные якутов; собирал фольклорный и этнографический материал у старожилов русского населения, проживавшего на территории Якутии.

В архиве ЯФ СО АН СССР хранится рукопись: «Сэсэн Боло. Фольклорно-диалектологические материалы Русского Устья» [20]. За исключением «Исторического рассказа колымчанов», составленного на основе сведений, полученных от группы жителей Нижнеколымска, и двенадцати

песен, записанных от Н. Н. Сухомясова в 1941 г., большинство текстов этой рукописи составляют бытовые и волшебные сказки из Русского Устья.

В течение нескольких лет работы в Русском Устье С. И. Боло удалось учесть и записать более 60 сказок на различные сюжеты [21], в том числе и на былинные.

В собрание входит в своеобразной народной обработке сказка в стихах «Конек-горбунок». Во всех сказках сохранены особенности языка местных жителей. С. И. Боло указывает, что в отличие от былин и исторических песен русские сказки сильно локализованы. Язык сказок содержит не только диалектную специфику, но и следы влияния якутского и других языков коренных народов Севера (смешение родов и некоторых предлогов, замена звука «ц» звуком «с» и т. д.). В некоторых случаях в русскую сказку введены персонажи якутского фольклора и мифологии.

С. И. Боло как собирателя отличает большое внимание к творческой личности народных певцов и рассказчиков. Имея большой опыт, он оценивает каждого из сказителей по особенностям его творчества, подробно останавливаясь на репертуаре, манере исполнения и степени сохранности сказочной обрядности. Из знатоков традиционного фольклора С. И. Боло выделяет восьмидесятилетнего сказителя Н. Н. Шкулева, неграмотного, знавшего якутский и эвенкийский языки. «Николай Никитович, — пишет С. И. Боло, — обладает незаурядной памятью, наблюдательностью и удивительным мастерством сказывать сказки, которому он научился в молодые годы. Его репертуар насчитывает 42 сказки, 16 песен, 2 былины» [22]. Собиратель также дает творческую характеристику хорошо известному в Русском Устье сказителю С. П. Киселеву и называет его художественной натурой. Богатый, разнообразный репертуар и мастерство С. П. Киселева — сказителя былин, сказочника и певца — отмечали многие собиратели, работавшие с ним (Д. Д. Травин, М. А. Кротов, А. Л. Биркенгоф, Т. А. Шуб). «Лучшим сказителем среди русских старожилов низовьев реки Индигирки был, безусловно, — писал Т. А. Шуб, — недавно умерший Семен Петрович Киселев... Он знал 11 былин, полностью и в отрывках (обнаружить это удалось только Шубу. — *Л. К.*), 60 различных сказок, бывальщин, много исторических и бытовых песен, загадок, пословиц и поговорок» [23].

Т. А. Шуб работал в составе экспедиции научно-исследовательского Института языка, литературы и истории при Совете Министров Якутской АССР в 1946 г. Он и два других члена экспедиции — Н. А. Габышев и Н. М. Алексеев — продолжали работу своих предшественников по выявлению эпической традиции. Из полузабытого фольклорного репертуара старожилого населения Русскоустьинского наслега Аллаиховского района они сумели записать 17 текстов былин на 11 сюжетов, 62 сказки, свыше 100 различных песен, загадок, примет. Итоги проделанной работы были обобщены участниками экспедиции в различных статьях и сообщениях, сопровождаемых публикацией текстов [24].

Часть фольклорных материалов и различных сведений о русскоустьинской фольклорной традиции, полученных во время работы экспедиции, не была опубликована и хранится в рукописном фонде ЯФ СО АН СССР. Рукописное собрание Н. А. Габышева, находящееся там, содержит тексты 11 былин, 16 исторических песен, 36 волшебных и бытовых сказок, записанных в основном от трех сказителей: Ф. М. Галыженского (1889 г. р.), уже упомянутого С. П. Киселева (1885 г. р.) и А. Н. Шкулевой (1904 г. р.) [25].

Наиболее полны тексты трех былин («Михайлушко и змеядищо», «Добрыня Никитич и Марья Изославна», «Олеша Попович и Тугарин»), а также четырех исторических песен («Соловей кукушку уговаривал», «Милославский», «Казак Платов в гостях у французов», «Про Скопина»). Остальные записи эпических произведений представляют отрывки или контаминированные тексты, но без начала и конца.

Сличение текстов былин и исторических песен, записанных Н. А. Габышевым, с текстами, опубликованными Т. А. Шубом, показывало, что они в основном одинаковы; различие лишь в том, что записи Н. А. Габышева сделаны в более умеренной фонетической транскрипции (Т. А. Шуб подходил к записи фольклора с позиций лингвиста-диалектолога).

Сказки, записанные Н. А. Габышевым, очень разнообразны в жанровом отношении: волшебные, о животных, бытовые. В собрание вошли как варианты ранее записанных в Русском Устье сказок, так и несколько сказок, впервые обнаруженных собирателем.

Большой интерес представляют материалы участника экспедиции Н. М. Алексеева, обобщенные им в «Предварительном отчете об этнографической работе по „досельным" русским низовьев Индигирки, 1946 г.» [26]. Отчет включает описание свадебного обряда с 12 песнями, этнографические сведения, устные рассказы, поверья, запреты, приметы, заговоры, отражающие черты древних поверий.

На основании архивных документов можно предполагать, что Н. М. Алексеев задался целью пройти «по следам» В. М. Зензинова, как это было принято в 40-е годы [27].

Записывая свадебный обряд с сопровождающим его песенным циклом, Н. М. Алексеев интересовался теми изменениями, которые произошли в нем со времени записи В. М. Зензиновым: «При сравнении собранных материалов с записанными Зензиновым, — писал он, — получается некоторая разница. Во-первых, наша запись полнее, чем у Зензинова, во-вторых, песни девишника не все совпадают, хотя количество песен одинаково» [28].

Н. М. Алексеев записывал устные рассказы-былички и бывальщины, а также различные рассказы о сверхъестественных существах и явлениях, сопровождая их подробными комментариями исследовательского характера. Он приходит к выводу, что в процессе борьбы за жизнь, в трудных северных условиях русскоустьинцы утратили многие из известных им ранее черт древних славянских верований и сохранили только те, которые употреблялись ими в повседневной жизни. Постоянно бывая в тайге и на море, мечтая о промысловой удаче, о покровителях во время охоты и рыболовства, они создали промысловый комплекс верований [29].

К моменту работы экспедиции многое из того, о чем подробно писал В. М. Зензинов, исчезло из быта. Но, по свидетельству Н. М. Алексеева, прежние представления продолжали жить в рассказах старшего поколения. Записывая былички и бывальщины, где фигурируют различные мифологические персонажи, он зафиксировал несколько тематических циклов: о «сендушном» — хозяине тайги, о морской и речной хозяйке — владычице водной стихии, о «сушедко» — домовом, о «пуженке» и другой нечистой силе.

Каждый из этих образов, как правило, стабилен; рассказчики подробно описывают их внешний вид, местопребывание и приводят различные другие сведения о них: «... сендушный живет в море и на островах. Похож на человека. Одет в меховую одежду. Не имеет ни бровей, ни ресниц. Обычно ездит на волках, песцах или лисицах. Любит играть в карты. Рассказывают, что под Новый год западный, восточный, северный и каменный сендушный играют в карты. Тот, кто из них выиграет, у того и бывает урожай песца и других промысловых зверей» [30].

Значительно сложнее и противоречивее в рассказах образ морской и речной хозяйки. В нем причудливо переплелись и смешались черты различных персонажей русского фольклора. Зрительно владычица водной стихии похожа на русалку: «... люди могут видеть ее голову с распущенными волосами» [31], но этот образ значительно ближе, по замечанию Н. М. Алексеева, к образу водяного. Русскоустьинцы, жившие долгое время в полосе тундры, утеряли первоначальное представление о водяном, как о старике, который водится в омуте или недалеко от мельницы, сохранили в памяти лишь то, что связано вообще с его владычеством над водным пространством, и наделили его функциями морской и речной хозяйки.

Другой демонический образ, связанный с водой, местные жители называют шеликаном. Поверья и рассказы о нем записывали многие собиратели, в том числе и В. М. Зензинов. Большинство информаторов утверждало, что «шеликан живет в проруби. Появляется только зимой, в канун крещения. Одевается шеликан в пестрый дундук (шубу) из оленьей шкуры. В день крещения шеликан уходит в прорубь. Для того чтобы он в этот день по ошибке не залез в дом, хозяева обходят дом с клюкой или жженым колом и обводят черту вокруг дома» [32]. Каждый из исследователей демонических рассказов отмечал собирательный образ шеликана и старался проследить его генезис. В. М. Зензинов называл шеликана домовым. Н. М. Алексеев не соглашается с этим выводом и утверждает, что шеликан — это одно из проявлений «нечистой силы», которая водится в воде.

Н. М. Алексеевым было замечено, что в то время некоторые из этих представлений еще держались в сознании определенной группы местных жителей. Он приводит отдельные обряды, рассчитанные на милость сендушного, морской хозяйки и пр. Так, для того чтобы обезопасить себя от коварства водной стихии, ее старались умилостивить: «... после ледохода, во время переправы через реку, морской хозяйке приносят подарки, бросают монеты и при этом обязательно приговаривают: дай мне счастье и счастливо носи меня на себе» [33]. При первом выходе в море некоторые русскоустьинцы «в расщепленную палку вкладывали от трех до двенадцати лоскутков разноцветного тряпья. После чего палку втыкали в снег и приговаривали: матушка морская хозяйка, дай мне здоровье, счастье, счастливый путь и укроти пургу» [34].

В числе домашних духов Н. М. Алексеев называет «сушедко» и «пуженко». По рассказам, сушедко по своему образу и действиям похож на домового: «Он маленького роста, сидит на шестке и раздувает огонь. Видит нас, а мы его не видим. Любит подарки. Когда его одаривают, то обязательно приговаривают: дедушко сушедко, дай нам здоровье и сытость; а когда оставляют дом и переходят в другое место, то просят: дедушко сушедко, пойдем вместе» [35].

В некоторых рассказах о пуженке он обладает способностью к превращениям. Приняв облик огня, он гонится за нартой; приняв облик человека, он вредит людям; превратившись в невидимку, дает знать о себе криком, стуком и т. п.[36]

Значительную часть фольклорных материалов Н. М. Алексеева составляют поверья и заговоры, тематика которых чрезвычайно разнообразна. Для того чтобы показать, какую роль играли поверья и заговоры в повседневной жизни русских поселенцев на Индигирке, собиратель группирует их по сюжетам, выделяя поверья и заговоры, связанные с человеком, промыслом, собаководством, огнем. При этом собиратель обращает особое внимание на их функциональное значение, рассчитанное прежде всего на хозяйственное благополучие, охотничье счастье и удачу в различных промыслах.

На основании экспедиционных материалов и стационарных наблюдений Н. М. Алексеев приходит к выводу, что определенная часть старожилого населения Русского Устья в то время все еще находилась в плену пережитков старых представлений и верований, связанных с различными видами промыслов, тундрой и огнем.

Н. М. Алексеев, сличая приметы, запреты, поверья русскоустьинцев с теми, которые бытовали у якутов и других народов Севера, нашел, что имевшийся у первых поселенцев арсенал представлений значительно изменился и пополнился под влиянием иных природных и хозяйственных условий, а также в результате длительного общения с аборигенным населением. Так, обычаи и запреты по отношению к огню, медведю и горностаю — «трем братьям» — были очень сходны у русского населения, у юкагиров, якутов, эвенов и других, причем все они были связаны с их хозяйственной, промысловой деятельностью.

Таким образом, экспедиция, предпринятая в 1946 г. Институтом языка, литературы и истории при Совете министров Якутской АССР, показала, что фольклорная традиция старожилого населения дельты Индигирки значительно богаче, чем было известно до этого науке. В своих сообщениях участники экспедиции отмечали бережное и заботливое отношение русских старожилов к своей исконной эпической традиции, которая была для них предметом национальной гордости. Это и благоприятствовало ее сохранности. Вместе с тем они указывали: «Но новое постепенно и неумолимо берет верх, старое глохнет, вытесняется. То, что в течение столетий способствовало сохранению былинной традиции древнего Русского Севера в этих местах, под напором новых форм жизни постепенно уничтожается, и этот осколок «Исландии русского эпоса» на северо-востоке Сибири исчезает постепенно» [37].

В 1973 г. один из отрядов фольклорной экспедиции Бурятского филиала СО АН СССР [38] прошел дорогами собирателей устного поэтического творчества старожилого населения устья р. Индигирки. Участники экспедиции отметили большие изменения в фольклорном репертуаре населения, вызванные огромными сдвигами в экономике, культуре и общественной жизни населения.

Фольклорный репертуар значительно пополнился новыми произведениями, песнями, занесенными из разных уголков страны, сатирическими частушками, созданными на местном материале. Одновременно получили распространение сказки и легенды соседних народов — якутов, юкагиров, эвенов.

Многое из того, что было зафиксировано научными экспедициями ранее, исчезло полностью.

Следы некогда богатой фольклорной традиции удалось обнаружить на охотничьих участках, куда русскоустьинцы выезжают в конце зимы и где живут до осени в юртах (местные жители называют их «юртушками») [39].

Из прежнего обширного былинного репертуара записаны два отрывка: «Илья Муромец» и «Олеша и Тугарин», но их отличает потеря размера, напевности и поэтического языка; в них легко можно узнать включения из других былинных сюжетов. Лучше сохранились исторические песни: «Соловей кукушку уговаривал» (из цикла «Молодец зовет девицу в Казань»), «Стеньки Разина сынок», несколько вариантов песни «Про Скопина», «Сусанин-старик». Записанные там сказки имеют развитое действие и законченный сюжет [40]. Всего было записано свыше тридцати фольклорных произведений (многие из них разрушены) [41].

В пестром песенном репертуаре выделяются 27 куплетов старинной песни «Виноградье», записанной в поселке «Полярный» (вариант оказался значительно полнее и богаче в художественном отношении, чем публикация М. А. Кротова), а также песня «Рассоха».

Все еще широко бытовали былички и бывальщины, преимущественно из серии охотничьих рассказов, называемых «пужанками». Если старые охотники, рассказывавшие эти истории, принимали их всерьез, то молодежь объясняет их как галлюцинации, мираж и пр.

Таким образом, остатки фольклорной традиции так же, как и языковой, у старожилов низовьев Индигирки, по данным экспедиции 1973 г., постепенно исчезали. Мало кто из жителей Русского Устья знает хотя бы в отрывках былины и исторические песни, но многие еще помнят тех, кто умел сказывать и петь «старины», «були». Некоторые из представителей старшего поколения помнят даже эпический репертуар многих теперь уже умерших сказителей [42].

* * *

Рукописные собрания устного народного творчества Русского Устья содержат произведения почти всех жанров. Записанные в разные годы, они позволяют расширить наше представление о судьбе фольклорной

традиции у небольшой группы русских поселенцев низовьев р. Индигирки.

Изучение и сравнительный анализ собранных материалов дает возможность получить дополнительные сведения относительно судьбы традиционного русского фольклора, осевшего и бытовавшего на протяжении нескольких столетий в одном из самых северных русских поселений, его репертуара и степени локализации.

Названные материалы ценны и как исторический источник, позволяющий проследить силу традиции в народном сознании и установить связь прошлого с настоящим, а также этнокультурные взаимовлияния русских поселенцев с народами Крайнего Севера.

В данной статье автор ограничивает себя только историей собирания фольклора старожилого населения Русского Устья. Несомненно, что материалы, собранные экспедициями и отдельными корреспондентами, не только представляют самостоятельную ценность, как памятники фольклора, но и могут служить источником для выводов общеисторического плана как для истории этнокультурных связей в регионе, так и для этнолингвистических исследований. Однако, чтобы этот материал можно было использовать, он, конечно, должен быть поднят из архивных хранилищ и опубликован.

[1] Административно - территориальная единица.

[2] *Зензинов В. М.* Русское Устье Якутской области Верхоянского округа. — ЭО, 1913, № 1/2, с. 113—114. Отд. отт.

[3] *Биркенгоф А. Л.* Потомки землепроходцев. М.: Наука, 1972, с. 86.

[4] *Зензинов В. М.* Русское Устье..., с. 114.

[5] *Шуб Т. А.* Старожилое русское население низовьев Индигирки. — В кн.: Труды Второго Всероссийского географического съезда. М., 1949, т. III; *Он же.* Былины русских старожилов низовьев реки Индигирки. — В кн.: Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956, т. I; *Сафронов Ф. Г.* Русские крестьяне в Якутии. Якутск: Кн. изд-во, 1961; *Гурвич И. С.* Этническая история Северо-Востока Сибири. М.: Наука, 1966; *Биркенгоф А. Л.* Потомки землепроходцев.

[6] Верхоянский сборник: Якутские сказки, песни, загадки и пословицы, а также русские сказки и песни, записанные в Верхоянском округе И. А. Худяковым. — Зап. ВСОРГО по этнографии, Иркутск, 1890, т. I, вып. 3, с. 288—310.

[7] *Миллер В.* Новые записи былин в Якутской области. — ЭО, 1896, № 2/3, с. 72.

[8] *Зензинов В. М.* Русское Устье..., с. 110—235.

[9] Там же, с. 214.

[10] Архив АН СССР (ЛО), ф. 47, оп. 2, д. 171, 172.

[11] И. С. Гурвич ознакомил меня с текстом своей статьи и указал местонахождение рукописи Д. Д. Травина. В монографии Д. Д. Травина использованы материалы его полевого дневника. Дневник хранится в Архиве Института этнографии АН СССР (ЛО), ф. V, оп. 1, № 558.

[12] Архив АН СССР (ЛО), ф. 45, оп. 2, д. 171, л. 30—172.

[13] «Федор Берметин», «Памфил-вор», «Бова-королевич», «Иж диво Дивовес коропка», «Антиуха», «Подсолнешна красота», «Челбунчук», «Хрестьянин», «Золотая рыбка», «Птицы ищут землю».

[14] *Анучин Д. Н.* К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее русское сказание о человецах незнаемых в Восточной стране: Археол.-этногр. этюд. М., 1890.

[15] *Кротов М.* В просторах Индигирки. Якутск, 1934, с. 55.

[16] См. об этом: *Гурвич И. С.* Таинственный чучуна: (История одного этногр. поиска). М.: Наука, 1975.

[17] Архив ЯФ СО АН СССР, инв. № 1742, ф. 5, оп. 1, д. 99, л. 3—8.

[18] *Кротов М.* В просторах Индигирки, с. 55.

[19] Там же, с. 54—55.

[20] Архив ЯФ СО АН СССР, инв. № 1040, ф. 5, оп. 3, д. 453.

[21] «Дума Премудрая», «Король с сыном», «Иван царевич и царь-девица». «Ивашко Пепелушко», «Три сестры и людоед», «Собачка», «Бова-королевич» и др.

[22] Архив ЯФ СО АН СССР, инв. № 1040, ф. 5, оп. 3, д. 453, л. 54.

[23] *Шуб Т. А.* Былины русских старожилов низовьев реки Индигирки. — В кн.: Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1956, т. I, с. 212.

[24] *Шуб Т. А.* Исторические песни из Русского Устья. — В кн.: Русский фольклор. М.; Л., 1958, т. III; *Алексеев Н. М.* Охотничий промысел у «досельных» русских низовьев Индигирки. — В кн.: Сборник материалов по этнографии якутов. Якутск: Кн. изд-во, 1948.

[25] Архив ЯФ СО АН СССР, инв. № 1232, ф. 5, оп. 3, д. 767, 769, 778, 779. Запись Н. А. Габышева в 1946 г. в Русском Устье. В 1972—1976 гг. Н. А. Габышев провел научную обработку этих

материалов для подготовки к печати сборника «Фольклор Русского Устья».

[26] Архив ЯФ СО АН СССР, ф. 5, оп. 3, д. 763.

[27] Ср. экспедиции за былинами братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых в Олонецкий край «по следам» П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга, А. М. Астаховой на Печору «по следам» Н. Е. Ончукова, Э. Г. Бородиной и Р. С. Липец на Зимний берег Белого моря «по следам» А. В. Маркова и др.

[28] Архив ЯФ СО АН СССР, инв. № 1147, ф. 5, оп. 3, д. 763, л. 60.

[29] Там же, л. 89.

[30] Там же, л. 72.

[31] Там же, л. 74.

[32] Там же, л. 75.

[33] Там же, л. 74.

[34] Там же.

[35] Там же, л. 75.

[36] Там же, л. 70—71.

[37] *Шуб Т. А.* Былины русских старожилов..., с. 212.

[38] Экспедиция работала на территории Якутской АССР в следующем составе: Л. Е. Элиасов (руководитель), В. И. Зоркин, Л. П. Кузьмина, З. А. Миронова, В. Д. Осипов, Р. П. Потанина.

[39] Юртой русскоустьинцы называют небольшой низкий дом с маленькими окошечками. Снаружи он обмазан песком и глиной, смешанными с оленьим волосом, немного сужен кверху и закруглен.

[40] «Иван — купеческий сын», «Жил-был царь», «Мальчик-пальчик», «Старик со старухой», «Жил-был Чилбунчуг», несколько преданий.

[41] Рукописный отдел БФ СО АН СССР, инв. № 3315, п. 2, л. 20—176.

[42] Там же, инв. № 3315, п. 2, л. 21.

Р. С. Липец

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОГО ЭПОСА С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ КОЧЕВНИКОВ ЕВРАЗИИ

(Труды советских археологов 40-50-х годов)

1

В послевоенные годы в советской археологии наметилось течение, связанное с русской научной традицией конца XIX—начала XX в. — комплексного изучения археологических, лингвистических и антропологических памятников. При этом последовательно стал привлекаться и фольклор, в особенности «исторические», эпические жанры: эпос, легенды, топонимические предания и пр.

Это направление дало многое не только для самой археологии и исторической этнографии, но и для фольклористики, оторвав ее в какой-то мере от умозрительных суждений в трактовке и хронологизации как жанров в целом, так и отдельных произведений. Советские археологи середины нашего века смогли показать взаимосвязь и взаимообогащение, а в ряде случаев единство сюжетики, образной системы и композиции в двух могучих ветвях народного творчества: эпосе и изобразительном искусстве. Выявление их взаимосвязи помогает поставить изучение генезиса эпоса на более твердую почву и определить эпоху его сложения.

Однако трудно ограничить обзор достижений археологов четкими хронологическими рамками. Выход в свет готовых работ нередко отстоит на два-три десятилетия от проведения полевых исследований.

Изобразительное искусство — петроглифы, фрески, торевтика и пр. — зрительно демонстрировало сюжеты устного эпического творчества; в эпосе применялись те же композиционные и иные художественные приемы, что и в изобразительном искусстве. Так, многофигурности соответствовало в эпосе обилие персонажей; общей была динамичность сцен борьбы, единой — сюжетная орнаментика, выработанная художниками-ювелирами и освоенная сказителями.

Признано, что наиболее плодотворными по результатам нередко оказываются исследования, сделанные на стыке наук. Ученые, работающие в смежных областях знания, обладают свежим восприятием материала, взглядом «со стороны» и не обременены нелегким трузом принятых традиций. Самые богатые открытия при привлечении фольклора как источника для изучения этногенеза кочевых в прошлом народов Евразии и путей их исторического развития смогли получить археологи, хотя эта задача и решалась ими попутно. Среди ученых, развернувших интенсивную деятельность в этом направлении в 1940—50-е годы, следует назвать в первую очередь М. П. Грязнова, А. П. Окладникова, С. В. Киселева, С. П. Толстова, М. Е. Массона (все они — «полевые» работники). Однако в дальнейшем это течение так и не пробило себе широкого русла.

Каждый из этих ученых избрал в общей проблематике особую область. А. П. Окладников дал смелую трактовку писаниц (в охвате тысячелетий), сближая данные эпоса и наскальных, «повествовательных»,

как он считает, изображений [1]. М. П. Грязнов сделал плодотворную, тщательно аргументированную попытку связать с эпосом народов Сибири и Центральной Азии сюжетику изображений на бытовых предметах, ювелирных изделиях (фигурных бляхах, пряжках и пр.), сосудах, войлоке, найденных в археологических раскопках, привлекая к анализу как свой полевой материал, так и музейные коллекции [2]. Он объяснял семантику этих изделий, датируемых в основном I тысячелетием до н. э. — II тысячелетием н. э., исходя из конкретных эпических произведений, зафиксированных уже в XIX—XX вв.[3] К эпическому материалу обращался и С. В. Киселев, отчасти опираясь на выводы М. П. Грязнова. Он выявлял идейно-эстетическую сущность системы образов и художественных приемов, обусловленных идеологией (в основном эпохи военной демократии) творческой среды певцов-сказителей, скульпторов, художников и ювелиров, выраженной в их разнообразных произведениях [4].

В 40-е годы археологами были проведены своеобразные исследования в Средней Азии, в которых эпические (шире — повествовательные) фольклорные данные сопоставлялись с древними руинами. С. П. Толстов [5] и М. Е. Массон [6] в своих работах, вышедших в свет почти одновременно, блестяще продемонстрировали метод сопоставления исследованных ими архитектурных памятников с топонимическими легендами местного населения о развалинах крепостей, дворцов, гумбезов (надмогильных сооружений). Сюжеты и персонажи этих легенд хорошо известны по эпосу тюркоязычных народов Средней Азии, которые или создали в свое время эти памятники, или находились с создателями их в генетическом или культурном родстве. (Не случайно сообщения А. М. Беленицкого о среднеазиатских фресках, созданных в основном ираноязычным населением, культура которого, однако, была тесно переплетена с культурой тюркоязычных народов Средней Азии, дают ценный материал и для нашей темы [7].) Приведенные исследователями легенды к тому же иногда представляют своеобразные, самостоятельные версии, заставляющие по-новому взглянуть на историю самого сюжета.

2

Исследования М. П. Грязнова, интересные и для фольклористов, и для искусствоведов, используются в основном, насколько мне известно, только археологами, да и то редко.

М. П. Грязнов, проводя сопоставление изображений в основном в торевтике — художественных изделиях из металла — с эпосом, поставил целью не только показать прямую взаимосвязь словесного и изобразительного народного искусства и соответствие конкретным эпическим образам и ситуациям ряда сюжетных композиций в изобразительном искусстве. Он пытается приближенно хронологизировать эпос, справедливо опровергая концепцию его позднего сложения. Показывая одновременно живучесть исконных эпических сюжетов и образов, он прослеживает и их трансформацию в современном тюрко-монгольском эпосе. Так, на блюде из Кулагыша (Приуралье, середина I тысячелетия н. э.), по его мнению, изображен поединок спешившихся бойцов сменным оружием — «общее место» в различных эпосах [8] (рис. 1). Можно возразить, конечно, что бьются воины разным оружием: один стреляет из лука, другой направляет копье. Однако у ног их, действительно, лежит сломанное и отброшенное разнообразное оружие. На бронзовых бляхах из Ордоса он определяет обычные у кочевников Евразии приемы борьбы, специальный костюм борцов.

Как и А. П. Окладников, утверждающий, что на многофигурных композициях петроглифов фигуры всадников обозначают не разных лиц, а одно лицо в последовательных эпизодах, М. П. Грязнов считает, что в сценах на ободке серебряного ковша из Коцкого городка представлена целая эпопея — охотничьи подвиги одного и того же всадника (главного героя повествования) и его поединок с другим богатырем [9].

Рис. 1. «Бой сменным оружием». Серебряное блюдо из Кулагыша

«Центральным сюжетом древних поэм были, — пишет М. П. Грязнов, — по-видимому, борьба-поединок богатырей и поединок коней-богатырей. Можно предполагать, что конь богатыря в древних поэмах занимал более значительное место, чем в современных. В древних поэмах воспевались охотничьи подвиги героя и подвиги его в борьбе с мифологическими зооморфными чудовищами, и этому также уделялось, возможно, больше места, чем в современном эпосе» [10]. Но воинская тематика начинала преобладать.

М. П. Грязнов привел много примеров из эпоса различных кочевых в прошлом народов. «В некоторых поэмах конь богатыря играет более активную роль, чем сам богатырь», — пишет он и отмечает, что даже в имя богатыря входило как определение имя принадлежащего ему боевого коня и что обычно наречение имени богатырю и коню совершалось одновременно [11]. Можно добавить, что для получения воинского имени-прозвища вообще нужно было, очевидно, или иметь коня (принадлежность к элите — конному войску?), или самому объездить его (инициация?).

М. П. Грязнов считает отражением эпического образа «коня-богатыря» — сподвижника своего хозяина — все сцены на изделиях, где кони не только принимают участие в бою, но и бьются между собой. Это могло быть реальным фактом, особенно в отношении горячих и злобных чистокровных коней среднеазиатской породы, проходивших специальную выучку. Но ведь бьются жеребцы и в табуне. К тому же на бляхах гуннского времени, на которые ссылается М. П. Грязнов (из Ордоса, Забайкалья и степей Минусинской котловины), кони неоседланные и воинов при них нет [12]. Можно было бы отметить, что сцена схватки жеребцов органически входит в серию сцен борьбы животных в «зверином стиле». Однако если не все изображения борющихся коней могут быть отнесены к эпическим воинским ситуациям, то сам образ коня-воина, конечно, один из наиболее своеобразных и излюбленных в эпосе кочевников, как

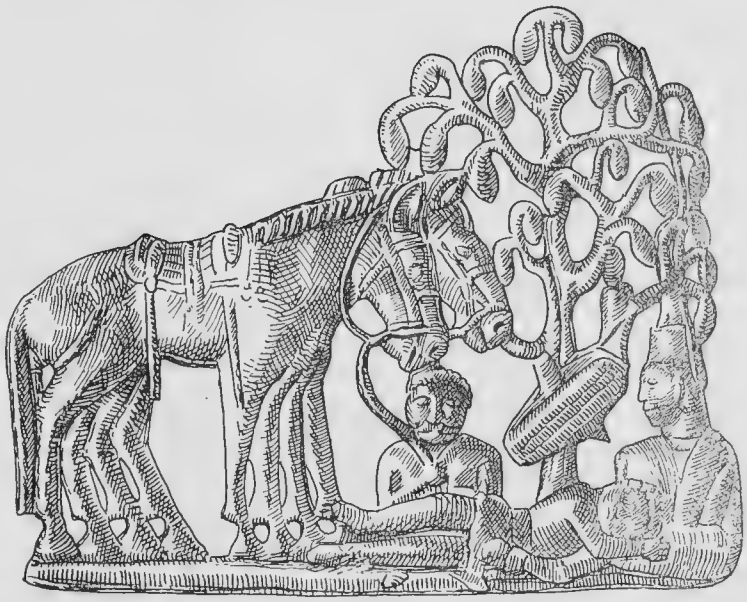


Рис. 2. Всадники под деревом. Золотая бляха из Сибирской коллекции Петра I

и мотив того же боя коней, помогающих своему владельцу одолеть противника.

На бляхах из Ордоса III—I вв. до н. э., где представлена борьба спешившихся всадников, одинаковость богатырей и коней должна, по мнению М. П. Грязнова, отражать обычай побратимства «двух равных богатырей», основанный на равенстве по силе и этих воинов, и их коней [13]. Но в эпосе, хотя силы богатырей — будущих побратимов — нередко и равны, все же чаще один из них несколько превосходит другого и побратимство заключается после его победы.

Наиболее убедительна интерпретация М. П. Грязновым «зеркального» изображения на двух золотых поясных бляхах V—III вв. до н. э. из Сибирской коллекции Петра I, найденных в XVIII в. где-то в степях между реками Обью и Иртышом (рис. 2). Условно эта композиция известна как «Отдых под деревом», или «Всадники под деревом», но М. П. Грязнов считает, что на бляхах дана иллюстрация к наиболее широко распространенному в эпосе тюркоязычных народов сюжету о Козы-Корпеше и Баян-Сулу, где встречается мотив о жене и друге, сумевших оживить убитого врагами героя-воина. На бляхе изображены дерево, два коня у него, которых держит один батыр; другой батыр лежит под деревом, около него сидит женщина (или же воин покоится на ее руках). На дереве повешен «горит». Исследователь отмечает на изображениях все бытовые детали (вооружение, конская упряжь, одежда, прическа), типичные для второй половины I тысячелетия до н. э.

Изображения на бляхах М. П. Грязнов сопоставляет не только с «Козы-Корпешем» (алтайское Козын-Эркеш), но и с некоторыми другими эпическими произведениями, где имеются сходные мотивы (известны многие варианты сюжета с иными именами персонажей). На бляхах, утверждает он, не бытовая картинка из жизни кочевников, как считали другие исследователи, а эпическое героическое содержание: дерево (жизни?), побратимство, девушка, ставшая затем женой богатыря, друзья батыров — их конп. Лежащий батыр — главное лицо. Но почему он лежит? Спит он или мертв? В эпосе известен непробудный многодневный сон, настигающий героя в самый опасный для него момент и приводящий его к пленению или даже гибели — «богатырский сон», напоминает исследователь. В алтайском эпосе Козын-Эркеш засыпает таким же сном, как и другие богатыри (в узбекском «Алпамыше» в ва-

рианте Фазила Юлдашева такой сон интерпретирован уже как следствие опьянения Алпамыша, т. е. ему дана поздняя, рационалистическая мотивировка).

В казахском эпосе о Кобланды-батыре одному из противников удалось связать другого, также уснувшего у кургана. М. П. Грязнов считает все же, что на бляхах изображен другой эпический мотив — «смерть и оживление богатыря», обычно — женщиной (небесной шаманкой? вещей девой? супругой?). Так, напоминает он, в ойратском эпосе Зан-Будинг трижды оживлен снадобьями, полученными у женщины; в бурятском эпосе Аламжи-Мергена оживляет девица Булад-Хурай, ставшая затем его женой; то же рассказывается о батыре Темир-Сакале. Есть аналогии и в тувинском эпосе. Но наиболее близка к изображению на бляхах, по мнению М. П. Грязнова, все же «алтайская поэма»: «Богатырь Козын-Эркеш, — пишет он, — коварно убит под тополем и изрезан противником на мелкие части. Молодая жена его Байрым-Сур пытается оживить его. Кости богатыря соединились, тело срослось, но жизнь не возвращается. Приезжает «брат» (побратим) Козын-Эркеша, богатырь Бачикай-Кара и также безуспешно пытается его оживить. Только после долгих перипетий им удается оживить богатыря». В изображении на бляхе этот момент еще не наступил. Близок этот вариант к алтайским поэмам «Кезюйке и Баян» и «Малчи-Мерген», которые, как указывает М. П. Грязнов, «Потанов считает... наиболее древними из числа известных алтайских поэм», а также к «жемчужине казахского эпоса» — варианту того же сюжета «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». В казахской поэме герой засыпает под тополем; соперник Кадар убивает его и передает голову Баян-Сулу; оживляет убитого старик. Грязнов приводит параллели к этому сюжету в эпосе и других тюркоязычных народов [14].

Вывод исследователя: сюжету перечисленных поэм свыше двух тысяч лет. Установить их возраст и специфику позволяет сопоставление эпоса с изобразительным искусством: «Алтайские поэмы... более близки к древнему эпосу, известному нам пока только по нескольким случайно дошедшим до нас примерам отражения его в древнем изобразительном искусстве», но таким методом могут быть расшифрованы и «некоторые другие сюжеты героического эпоса». Таким образом, по его мысли, «героический период» «заселения степей и лесостепной полосы определяет более глубокую древность» эпоса, чем принято считать. М. П. Грязнов проводит четкую мысль о древних истоках героического эпоса кочевников, хотя и не отрицает неполноты своих исследований. «Однако и тех немногих изображений, которые рассмотрены здесь как памятники древнего героического эпоса, — пишет он, — достаточно для того, чтобы констатировать факт наличия героического эпоса у ранних кочевников Сибири и Монголии во второй половине I тысячелетия до н. э. и получить представление о некоторых особенностях этого древнего эпоса... Героический эпос современных тюрко-монгольских народов в первоначальных своих формах сложился в эпоху ранних кочевников. И можно предполагать, что уже в то далекое время они обладали всеми характерными для героического эпоса чертами, что поэмы... слагались из песен... и песни эти имели стихотворную форму» [15], так как иначе бы они не сохранились.

Конечно, теоретически возможна непосредственная связь памятника изобразительного искусства с каким-либо конкретным эпическим произведением или с определенным сюжетом. Но ведущим представляется единство идейно-художественной системы обеих ветвей искусства, а не единичные соответствия. Они могли быть и убедительными (как сопоставление сюжета «Козы-Корпеша» с фигурными бляхами), и натянутыми в некоторых более поздних работах [16]. В отличие от них чрезвычайно аргументированной представляется более обобщенная интерпретация С. И. Вайнштейном наскального изображения в Центральной Туве двух всадников, увозящих женщину, как распространенного в тюрко-монгольском эпосе образа женщины — военной добычи или похищенной [17].

Л. В. Гребнев так же убедительно сравнивает поврежденные некогда стрелами, по его мнению, каменные изваяния «кожээ» в степях Тувы с описанием стрельбы по ним во время состязаний в разных произведениях тувинского эпоса, а не в одном каком-то единичном сюжете [18].

В подкрепление своей мысли о единстве словесного фольклора и изобразительного искусства кочевников Евразии М. П. Грязнов привлекает как параллель скифское искусство, ссылаясь на Б. Н. Гракова, который видел «эпические сцены» в известных изображениях на кульобской вазе и сопоставлял их с сообщениями Геродота об обычаях скифов. М. П. Грязнов приводит сцену братания скифов (и даже стрельбы из лука в разные стороны), сравнивая ее с приемами братания в эпосе, где батыры, чтобы стать побратимами, «лижут острие сабли, ножа, хватают пищу руками, обмениваются стрелами, пролезают под тетивой лука и т. д.». Все это довольно убедительно, но легко заметить, что метод исследования здесь претерпел изменение: если сюжет «Козы-Корпеша» может служить свидетельством единства искусства, то в тождестве обряда побратимства в эпосе и изобразительном искусстве налицо только бытовое соответствие. «...Героический эпос ранних кочевников Южной Сибири и Монголии, — пишет М. П. Грязнов, — обладал рядом черт, которые роднят его с эпосом современных тюрко-монгольских народов и отличают от эпоса других этнических групп — народов Кавказа, русских и других... Следовательно, у ранних кочевников Южной Сибири и Монголии героический эпос слагался в тех формах, которые впоследствии стали характерны для эпоса современных тюрко-монгольских народов.

Рассмотренные памятники героического эпоса ранних кочевников найдены на территории, обитаемой в те времена племенами монголоидного (Ордос, Забайкалье) и европеоидного (Енисей, Алтайский край) расового типа. Если первые были тюрко- и монголоязычными, то языковая принадлежность вторых нам неизвестна. Были ли они, подобно сакам и сарматам, ираноязычными или вместе с появлением в их физическом типе монголоидной примеси они уже в то время стали тюркоязычными, остается пока вопросом. Остается, значит, неизвестным, слагался ли эпос современных тюрко-монгольских народов в среде только тюрко- и монголоязычных племен или в этом процессе принимали участие и некоторые ираноязычные племена» [19].

3

Если М. П. Грязнов только упоминает о наскальных рисунках эпического, по его мнению, содержания, то у А. П. Окладникова эта тема получила последовательную и детальную разработку. Опираясь на якутские материалы, он проводит мысль о «записи» в рисунках писаниц сюжетов эпических повествований.

Цель наскальных изображений, по его мнению, практическая, но магически закрепляющая желаемое, и это позволяет приравнивать их к священным письменам.

На многофигурных композициях писаниц, датируемых эпохой освоения металлов (периодом военной демократии), с изображением конных воинов угадываются исследователем те же батальные и охотничьи сцены, что и в современном эпосе якутов и других тюркоязычных народов.

«Каменное письмо курыкан», которых он считает предками якутов, позволяет ему установить их культурно-историческую связь с «более отдаленными западными соседями — енисейскими кыргызами и алтайскими тюрками». Искусство курыкан «по своему содержанию и стилю является неотъемлемой частью того своеобразного искусства, которое расцвело тогда среди кыргызов на Енисее, на Алтае и у других тюркских племен к западу от Енисея, выросло на общей социальной и культурной основе» [20].

В отличие от местных традиций в более северных районах образы, запечатленные на писаницах бронзового века, связаны с кочевническим

югом. Пластины и кольца кольчуг и панцирей переданы ромбической сеткой, на воинах — кафтаны с поясом, сапоги, высокие шапки (отметим, что большая часть этих элементов мужской одежды постоянно описывается в эпосе).

Указывая на близость сибирских древнетюркских петроглифов как по стилю, так и по семантике, в двух основных районах их распространения — на Лене и Енисее, А. П. Окладников выявляет воинский характер большинства изображенных сцен: «И здесь и там передаются одни и те же образы, одни и те же сюжеты: воинственные всадники со знаменами или штандартами, с луками и саадаками, верблюды и кони. На отвесных плоскостях ленских и енисейских скал развертываются совершенно одинаковые по содержанию отрывки охотничьих сцен, эпизоды боевых столкновений и военных действий, это как бы своего рода каменописные фрагменты героического эпоса, созданного воинственными племенами конников-скотоводов, или иллюстрации к нему» [21].

Исследователь проводит такую мысль о единстве семантики писаниц и бытового прикладного искусства большого круга народов Евразии (но с эпосом в данном случае их между собой не сравнивает): «Наскальные рисунки Верхней Лены и Минусинского края иногда кажутся даже просто перенесенными на камень непосредственно с тех золотых и серебряных сосудов, из которых пили свое молочное вино древнетюркские воины, или с их чепраков и седел, покрытых совершенно аналогичными изображениями. При этом искусство алтайских и минусинских тюрков обнаруживает большую близость к искусству Средней Азии того времени, где мы видим близкие сюжеты и одинаковые стилистические черты» [22].

Вообще же А. П. Окладников прослеживает единую линию традиций многофигурных композиций в изобразительном искусстве народов Сибири и в словесном фольклоре. На писаницах запечатлены даже, по его мысли, «слабые отзвуки чисто исторических сюжетов», связанных с определенными личностями [23]. Наиболее же древними наскальными рисунками он считает те, которые излагают мифы и как бы иллюстрируют «давно утраченные эпические сказания глубокого прошлого»; они «заменяли настоящую речь и непосредственное обращение к богам и обожествленным животным» [24] (Однако могла одновременно звучать при молениях и живая речь?). Каким-то образом эти изображения должны были приносить удачу на охоте и на войне.

Исследователь приводит примеры «культового почитания изображений и самой скалы» на протяжении тысячелетий и изменения жертвоприношений (мелкие бескровные жертвы) [25]. Но, может быть, и эпос мог «рассказывать», т. е. пояснять эти изображения, а не наоборот, хотя бы иногда? Ведь известно, что в Китае народные мастера слова рассказывали содержание свитков с изображениями. Конечно, писаницы в свою очередь так же могли иллюстрировать эпос, как считает М. П. Грязнов.

Определяя «стадиальные типы» или «этапы исторического развития эпоса» якутов и его место среди эпоса других тюрко- и монголоязычных народов, А. П. Окладников считает, что якутский эпос весьма архаичен, как и образы изобразительного искусства в местах современного обитания якутов, и сохранил многие черты родо-племенных представлений: таков «зверообразный предок рода» — тотем (так, основатели родов Ихирит и Булагат — дети божественного быка; водный жеребец указывает Эллею — прародителю южных якутов путь по реке).

В вызревающем героическом эпосе по-прежнему сохраняется как его подоснова «мифологическая генеалогия, т. е. история легендарных предков, родоначальников, имеющая задачей восхваление их подвигов», но содержание эпоса — уже «преимущественно война и борьба с другими племенами» [26].

А. П. Окладников для подтверждения своей идеи о южном происхождении некоторых древних племен в пределах Якутии неоднократно привлекает эпические жанры фольклора наряду с данными историче-

ской лингвистики и археологии, в том числе «художественно отделанными изделиями III—IV вв. до нашей эры» [27]. «Якутский фольклор и язык, — пишет он, — в полном согласии доказывают, что предки якутов когда-то жили на юге, в таких местах, где климат был значительно мягче и теплее климата современной Якутии». Там, рядом с горными массивами, простирались степи, обитали тигры и барсы, куланы и корсаки. С этими «ландшафтно-географическими условиями, получившими отражение в якутской речи», согласуются черты традиционного хозяйства, культуры и общественного уклада якутов в прошлом, которые иначе в условиях современного расселения якутов необъяснимы [28]. «Согласно эпической и языковой традиции, — делает общий вывод исследователь, — родина якутов — Верхняя Лена и Прибайкалье». Следует подчеркнуть, что при изучении этнической истории якутов фольклор и другие типы источников для него равноценны.

Он также привлекает «звериный стиль», который считает возникшим в Сибири самостоятельно: «В бронзовом веке степных областей Азии возникает и пышно расцветает замечательный „звериный стиль“ со свойственным для него разнообразием сюжетов и своеобразными приемами декоративной стилизации.

Образцы такого стиля хорошо известны и в соседних с Якутией районах, население которых несомненно находилось в постоянном общении с жителями степных районов Забайкалья, а через Ангарский край и с обитателями долины Енисея» [29].

Забегая вперед, отметим, что с тех же позиций рассматривает «звериный стиль» в Южной Сибири С. В. Киселев, но пазырыкскую культуру он считает инородной для Алтая: «Сцены борьбы зверей в пазырыкское время отсутствуют, а затем распространяются там (на Алтае. — *Р. Л.*) уже в готовом виде» через племена Западной Сибири, Южного Приуралья и Волго-Донских степей [30]. Но по другому поводу он пишет: «Южносибирский бронзовый век своими достижениями может спорить с высоким развитием эпохи поздней бронзы Причерноморья»; поэтому реальна «возможность проследить на местном материале зарождение и развитие „скифских“ форм звериного стиля» еще в VII в. до н. э.[31] «Тюрко-кыргызские памятники Саяно-Алтая, — утверждает он, — находят себе ближайшие аналогии в Семиречье, в Средней Азии, в Восточной и Западной Сибири, на ее севере и в булгаро-хазарском Поволжье, а также среди аланских памятников Кавказа и Украины и дальше на запад, вплоть до Дунайских степей» [32]. Он подчеркивает, что культурные связи населения Монголии с енисейскими кыргызами известны даже «в эпоху тюркского каганата в разгар военных столкновений» [33]. Элементы же «звериного стиля» сохраняются доныне в прикладном народном искусстве тюркоязычных народов и в Тибете.

4

С. В. Киселева, как и А. П. Окладникова, занимает «повествовательный характер» сибирских петроглифов, прежде всего их историко-социальная специфика; но сопоставление с эпосом проводится им с меньшей последовательностью. «Война в тагарское время вошла в быт минусинских племен... — пишет он, — однако и в мирное время нужно было быть наготове. Недаром тагарские рисунки на скалах изображают главным образом лихие отряды воинов, то несущихся лавами, то подплывающих в лодках... Родовой строй становился все в большей и большей степени военным» [34]. Рассматривая рисунок на валуне из Кудыргинского могильника, исследователь отмечает далеко зашедшую дифференциацию древнетюркского общества. На рисунке, по его трактовке, изображена семья знати, перед которой стоят коленопреклоненные люди (воины?), держа на поводу коней: «Настало время, когда на Алтае перед знатными и богатыми стали преклонять колени» [35] (Надо отметить, что это же ярко отражено и в тюрко-монгольском эпосе; однако с эпосом в данном случае исследователь сопоставления не делает).

Характеризуя «углубление общественного расслоения» в позднетагарскую эпоху в Минусинской котловине и усиление межплеменных распрей, С. В. Киселев пишет: «В конце тагарской эпохи их рост отразился в особенно быстром совершенствовании позднетагарского оружия, в особенно частом изображении на енисейских писаницах сражений тагарских воинов», когда уже «военные обязанности выполнялись другой, более молодой общественной группой» [36]. С. В. Киселев отмечает и резкое имущественное расслоение в V—X вв. как на Алтае, так и в обществе енисейских кыргызов, что подтвердили данные археологии. Он перечисляет обилие предметов роскоши у кочевой знати, пышную одежду из ценнейших шелковых тканей, драгоценную утварь, изысканную пищу и пр.: «Рассказ Земарха о наполненных золотой посудой повозках и золотых статуях зверей, расставленных вокруг юрт западнотюркского кагана во время приема византийского посольства, приобретает теперь ощутимую конкретность» [37]. «Драгоценности и роскошные ткани, вино и сладости, парфюмерию и диковинных животных доставляла в далекие орхонские степи» торговля с Востоком и Западом: «На службу роскоши орхонской знати ставились также и старое местное ремесло, и прикладное искусство... Опираясь на силу и богатство, постоянно приумножаемые войной, данью и подневольным трудом зависимых и рабов, орхонская аристократия выработала не только своеобразную, поражавшую современников дикой роскошью материальную культуру кочевий, но и характерную идеологию степных рыцарей-хищников» [38]. К сожалению, и здесь исследователь не привлекает древнетюркский эпос, где явственно выступает та же социальная дифференциация. Не делает он сопоставления и эпических элементов в орхонских надписях с современным эпосом тюркоязычных народов, близость которых разительна.

Настойчиво проводит он мысль о древнем единстве Великого пояса степей в области материальной культуры и художественных идей. Невзирая на языковый барьер, народы, обитавшие там, «пользовались одним оружием, одинаковой конской сбруей, сходными украшениями и увлекались одними образами и настроениями в искусстве», что не исключало, конечно, местных особенностей [39]. Непосредственно же судеб степного эпоса он и здесь не касается.

Это тем более вызывает недоумение, что в других местах своего труда С. В. Киселев уверенно обращается как к историческому источнику к эпосу эпохи Тюркского каганата, давая его четкую и живую характеристику. Алтайский эпос охарактеризован им как «величественный», а при «ограниченном употреблении на Алтае письменности» он является и богатейшим источником для познания «основных линий и идей древнеалтайской литературы» с ее сложной структурой и многовековыми напластованиями. «Основные сюжеты, — пишет он, — и основные события, изображенные в эпических произведениях Алтая, несомненно, могут смело приурочиваться к периоду, рассматриваемому здесь. В ярких красках рисует алтайский певец подвиги сказочных героев — великих богатырей и ханов. Несомненно, это те песни, которые создавались на кочевьях древней алтайской знати. Однако и они отмечают неоднородность социального состава древнеалтайских племен. Но только поэма «Когутэй» приподнимает завесу, скрывающую от нас бурные проявления борьбы между богатейшей аристократией и утесняемыми народными массами» [40]. В другом месте книги он характеризует «резкое имущественное неравенство», зафиксированное эпосом, сравнивая его на этот раз с материалами погребений и письменными источниками «в отношении орхонских тюрок и... енисейских кыргызов» [41].

5

В трудах исследователей в 1940—50-е годы отчетливо проступает также признание единства хозяйственно-культурного типа кочевников-скотоводов Евразии при довольно значительном еще удельном весе охоты (и надо было бы добавить — некоторых земледельческих навыках).

Но в данной статье я ограничиваюсь обзором наиболее архаичной охотничьей тематики, сходно анализируемой в рассмотренных работах. Охотничьим сценам в изобразительном искусстве уделили большое внимание все три исследователя, но сопоставление их с мотивами эпоса последовательно проводил только М. П. Грязнов. В эпосе широко отражена охота, игравшая еще заметную роль в экономике тюркских и монгольских народов в период сложения героического эпоса. С этим связано, по-видимому, обилие образов животных и птиц в обоих видах искусства. Конечно, дикие животные и птицы интересовали больше, чем кого бы то ни было, охотников, а их изображениям и повествованию об удачливом охотнике (Алтай-Буучай, Гесер и др.), как уже упоминалось, вероятно, придавалось и культово-магическое значение. Однако в более поздний исторический период вся система промысловых образов и символики, запечатленная как на писаницах, фресках, в орнаментике вооружения и конского снаряжения, так и в эпических произведениях, все больше сливалась с историко-героическими, батальными сюжетами и мотивами, которые в эпосе заняли первое место. Эпическая охота в более развитых эпосах — своего рода военно-спортивная тренировка или средство обеспечить себя свежей пищей во время походных привалов.

Памятью о былом «промысловом» назначении наскальных и иных изображений А. П. Окладников считает этнографическую точность и полноту охотничьих сцен в поздних рисунках. В них видно непосредственное знание художником повадок зверей, способов охоты (как и в фольклоре). Но изображения, которые «полны элементов действительной жизни», на этих писаницах уже далеко ушли от архаичной промысловой магии: «В них видны черты большого, настоящего искусства, слышны отдельные отзвуки не только степного эпоса, но и настоящей литературы» [42]. Сам же образ конного охотника, стреляющего в зверя или в птицу, — один из древнейших в искусстве Евразии.

Наиболее часто исследователи обращаются к сценам охоты, обнаруженным на алтайском памятнике из Кудырге (VI—VII вв. н. э.) и на енисейском из Копён (VIII—IX вв. н. э.). Здесь были найдены в первом — костяные гравированные пластины, во втором — набор бронзовых бляшек-барельефов; и те и другие, как полагают, служили украшением обкладки на луке седла. Они посвящены сценам охоты.

Композиция изображения на предметах крайне динамична и экспрессивна: конные всадники преследуют различных животных и сами подвергаются их нападению. Наиболее полное описание находок дал С. В. Киселев [43]. Привожу их в сокращении. Копёнские бляшки были найдены в разрозненном состоянии; сцена охоты реконструирована С. В. Киселевым. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что все эти изображения были связаны в одно целое мастером, хотя это и вероятно. (Как аналогию, С. В. Киселев привлекает так называемый «кубок Мессершмидта» (VII—X вв.), где изображена охота конных лучников на птиц и антилоп, а конская упряжь близка по типу к изображениям на копёнских бляшках. Цельная картина охоты выгравирована на костяных пластинах из Кудерге (рис. 3, а, б).

Алтайские пластины «украшены гравированными изображениями двух всадников, охотящихся на медведя, кулана, оленей, коз, ланей, на зайца и лисицу... На широких концах пластин... выгравированы стоящие друг против друга огромные тигры. Всадники изображены на полном галопе, стреляющими из небольших изогнутых луков. Одного из них сопровождает собака». Дальше идет подробнейшее описание конского снаряжения и убранства, а также одежды всадника. Посадка всадника — «без стремени, с низко опущенным носком»; у коней подстриженные «городками» гривы. (И то и другое является датирующим признаком и сходно, например, с конями из пазырыкских курганов) [44]. Близко и описание С. В. Киселевым копенских бляшек: «Центральной фигурой каждого набора является всадник на мчащемся в галопе коне. Всадник обернулся и стреляет из лука в разъяренного прыгающего тигра

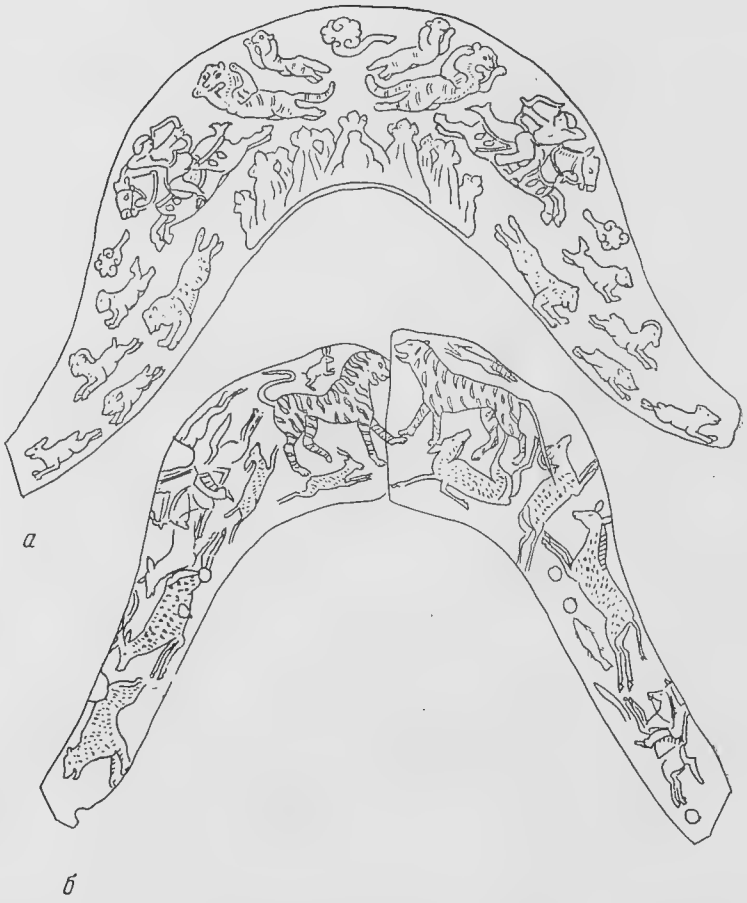


Рис. 3. Сцены конной охоты:

а — набор бронзовых блях из могильника Копёны; *б* — костяные пластины (обкладка луки)? из могильника Кудырге

с поднятыми лапами. Почти во всех наборах тигр повторен еще раз меньшей фигуркой. От всадника бегут различные звери. Тут и среднеазиатский снежный барс, и дикий кабан..., и лани, и горные козлы. В тупомордом хищнике с поднявшейся на загривке шерстью можно видеть степную собаку, рядом с хозяином преследующую зверей... Всадник без головного убора. Его длинные волосы стянуты повязкой, он в кафтане с поясом и мягких сапогах; у него м-образный лук, колчан трапециевидной формы». Подробно описан конь со всем снаряжением: «Конь степной, широкогрудый, с подстриженной гривой и завязанным в узел хвостом. На нем полная седельная сбруя; седло твердое, с невысокой передней лукой... обшитый бахромой чепрак. На подхвостном и нагрудном ремнях навешаны кисти; стремена широкие, дугообразные; уздечка плетеная, с поводом и чумбуром... Круглые бляхи на пересечении ремней уздечки, эсовидные псалии... Сзади седла развеваются по обеим сторонам ремни» [45]. Интерес художника к деталям конской сбруи полностью соответствует интересу создателей тюрко-монгольского эпоса к снаряжению боевого богатырского коня (как и к его экстерьеру, темпераменту и пр.). О копёнских бляшках С. В. Киселев писал, что здесь «впервые перед нами предстает целиком, в костюме, с оружием и на вполне снаряженном коне наездник степей VI—VIII вв.» [46].

М. П. Грязнов, также считая, что комплект бронзовых блях-барельефов из Копён составлял некогда связную единую сцену — «серию охотничьих подвигов одного героя-богатыря», развивает и другую мысль —

о связи изображений этого типа с эпосом: «богатыри всегда представляются охотниками», особенно «в алтайском и монголо-ойратском эпосах, как более архаичных» [47]. В качестве аргумента М. П. Грязнов приводит текст ойратского эпического произведения. Он видит повествование об охотничьих подвигах одного и того же батыра и его поединках также в сцене конной охоты с луком на кабана и горного орла на парных золотых пряжках из Сибирской коллекции Петра I и в сцене на так называемом кубке Мессершмидта и др. На кубке видны звери и всадники; кони, как и в эпосе, скачут не по земле, а «над горами и лесами, среди облаков». Исследователь опять проводит свою излюбленную мысль о том, что здесь изображено одно лицо, а не разные лица, — иначе сказать, это два эпизода одного повествования [48].

Степная конная охота с ловчими птицами, реалистическая, хотя и гиперболизированная, вообще занимает в эпосе большое место. Сцены охоты в изобразительном древнем искусстве тоже составляют основную тематику не только наскальных рисунков и фресок, но и декора конского снаряжения, утвари и пр. Но, так как непосредственная связь с магией в декоративном искусстве уже была утрачена, создатели этих изображений получили возможность более свободного привлечения зооморфных образов, хотя древние традиции были еще жизненны. Так же обстояло дело и в словесном фольклоре, особенно в позднем жанре — героическом эпосе, оформившемся уже на пороге государственности из «доисторического» материала и новых включений. Охота в развитом эпосе, как уже упоминалось, как бы отошла на второй план, уступив первый батальным сценам и социальным конфликтам. Ведь в этот период охота из насущной экономической потребности стала — тем более в воинской среде — в значительной мере одним из способов военно-спортивной тренировки. Такой она преимущественно и предстает в эпосе. Следы же заклинательного фольклора сохранились и в эпосе (например, в описании невероятной по количеству добычи охоты Алтай-Буучая, когда коня почти не видно под навьюченными тушами и шкурами и даже собаки несут десятки убитых маралов в пасти и пр., а также в явно заклинательных формулах, обращенных к оружию).

Однако, отмечая, что охота до недавнего времени отчасти сохраняла народнохозяйственное значение у народов Евразии, М. П. Грязнов видит в образах животных в изобразительном искусстве не только реалистическое отображение охотничьих сцен и объектов охоты, но и иной («мифологический», как он называет это) смысл, особенно там, где животные борются между собой. Он связывает это не только с тотемистическими архаичными представлениями, но и с общественными антагонистическими отношениями более поздней эпохи, трансформировавшей древние сюжеты.

В то же время в числе излюбленных тотемов у ранних кочевников Алтая М. П. Грязнов называет, кроме хищников, ряд копытных, зайца, лебедя, кулана, петуха и пр.[49] Но это означает, что тотемы не связаны уж очень прочно с образом только хищного и сильного животного? Этот образ приобретает, видимо, доминирующее значение уже в период военной демократии. И все же в эпосе несравнима частота упоминаний хищников и их жертв (копытных, например). Все это символ не только борьбы противников-батыров, когда тот, кому желают победы, изображен в виде наиболее сильного и опасного зверя или птицы, но и борьбы между целыми более или менее сильными племенами и родами, один из которых враждебен клану художника. «В обществе, где военные набеги и столкновения были нормальным и частым явлением, — пишет он, — где отношения между родами и племенами устанавливались соотношением их сил, а благополучие рода и племени определялось их военной мощью, — в таком обществе и воображаемый мир мифических существ также должен был представляться в состоянии постоянной борьбы, с неизбежными победами одних мифических существ и поражениями других» [50].

Возможно и то, что слабые чужеземцы — пассивные жертвы набегов — изображены в виде травоядных животных [51].

Соглашаясь с логичностью мысли всех трех исследователей о сибирском происхождении одного из очагов «звериного стиля» и с аргументированностью приурочения его к периоду военной демократии, я оставляю в этой статье в стороне вопрос о происхождении и истоках элементов «звериного стиля», так как ни один из этих ученых не делает прямых сопоставлений этого стиля с эпическим творчеством кочевников. От мастерского анализа «звериного стиля» был один шаг до такого сопоставления, но этот шаг сделан не был.

6

С. П. Толстовым и М. Е. Массоном и Г. А. Пугаченковой было обращено внимание на связь в Средней Азии истории многих древних руин, а также географических местностей и реалий (камней, родников, деревьев и пр.) с местными легендами и конкретными образами эпоса.

С. П. Толстов в исследованиях древнего Хорезма дал род поэтического каталога открытых им архитектурных памятников, которые народное предание связывало с широко известными у тюркоязычных народов эпическими сюжетами о «сорока девушках» («Кырк кыз»), о девушке — пособнице врагов во время военных действий (ср. эпос о Кобланды-батыре) и даже с героями романических дастанов о Ширин и Фархаде, а также с легендой об исполинском орле и его матери, живущих в отдельных замках, и др.

В Хорезме развалины I—VI вв. н. э. «крепости Кырк-кыз («Сорока девушек») — название, под которым в его тюркской или иранской (Чиль-Духтаран) форме известно в Средней Азии немало руин (Мерв, Термез и др.), ассоциируются» с «легендой о царевне и ее сорока подругах, выступающих то в виде воительниц-амазонок, как в одноименном каракалпакском эпосе, то в виде изгнанниц-отшельниц, то, как в одной из киргизских легенд, навеянной „народной этимологией“ имени киргизского народа («кыргыз» — «кырк-кыз»), его прародительниц.

К западу от крепости Кырк-кыз, на пестрых обрывах скалистой вершины одного из восточных отрогов Султан-Уиздага... — крепость первых веков нашей эры — Аяз-Кала... Народное предание связывает эту крепость с именем героя-раба Аяза, добивавшегося руки царевны, обитавшей в крепости „Кырк-кыз“ со своими сорока подругами. Образ храброго и мудрого раба-богатыря Аяза — один из древних образов среднеазиатского тюркского фольклора». С. П. Толстов указывает, что в казахском сказании, записанном на Нижней Сырдарье, повествуется об Аязе — хане Байсына, который после победы над жестоким ханом Фасылом (царство которого за его грехи было затоплено), «вместе со своим народом переселился в Хорезм, где был основан ими Ургенч». «О бытовании образа Аяза уже в XI в., — пишет исследователь, — мы находим в „Словаре“ Махмуда Кашгарского, который пишет: „Аяз — имя раба“. Речь явно идет не о специфическом имени, присваиваемом рабам вообще, а о собственном имени какого-то раба, хорошо известного тюркам-информаторам» [52].

Этот древний образ «раба-богатыря», «героя-раба» в каракалпакском варианте эпоса «Кырк-кыз» изменился до своей противоположности, видимо, под влиянием переработки сюжета одним из сказителей, испытавшим давление феодальной идеологии (народная традиция и некоторые исследователи считают каракалпакский дастан авторским). Он стал образом жестокого плута, домогавшегося брака с ханской дочерью-воительницей Гулаим и поплатившегося за это смертью. Высмеивается его нищета: воображая себя конным батыром-сокольником, он едет верхом на посохе, надев свой малахай на руку вместо ловчей птицы, сопровождаемый облезлым псом вместо выжлока, и т. п. Самого Джурына Гулаим бросает к себе на седло вместо туши козла. Однако в дастане тот же

Джурын одурачивает хана, нарисовав перед ним в назидание картину ужасных мучений, которым отец хана подверг отца пастуха, за что теперь якобы несет кару в загробном мире, от которой его может избавить только брак Джурына и Гулаим [53].

С именем «знаменитого героя каракалпакского и казахского эпоса — Кобланды-батыра» предание связывает город III—V вв. до н. э. Курганчу, где он якобы жил. Образ девушки из осажденной крепости Гульдурсун, легенду о которой приводит С. П. Толстов, близок к образу девушки Карлыги в эпосе о Кобланды-батыре, предавшей свою семью и родину из-за любви к чужеземцу-врагу. В легенде на «рустак» — земледельческую округу Гульдурсуна (до этого он назывался Гулистан) — напали калмыки и осадили крепость. Средство спасения придумали такое: быка, накормленного последними зернами пшеницы, выпустили за ворота, чтобы показать, что в крепости обильные запасы пищи. Враги поверили и собрались снять осаду. Но дочь падишаха, влюбившаяся в калмыцкого царевича, открыла тайну. Калмыки не отступили. Город пал. Царевич калмыков велел ее казнить: «Если она из-за недостойной страсти к врагу своей родины предала свой народ и своего отца, как же она поступит со мной, если кто-нибудь другой пробудит ее страсть? Привяжите ее к хвостам диких жеребцов, чтобы не смогла она больше предать никого». От ее крови место запустело. «В этом трагическом сказании, — пишет С. П. Толстов, — есть зерно исторической истины... Под именем калмыков — грозных завоевателей XVII—XVIII вв., огнем и мечом прошедших по Казахстану и северной части Средней Азии, сплошь и рядом скрываются («в народной среднеазиатской традиции». — *Р. Л.*)... монголы Чингис-хана». Тогда и погибла крепость [54].

С крепостью Барак-кала (комплекс правобережных развалин III—IV вв. на северо-восточной окраине Каракалпакии) связана легенда о том, как в одном из двух замков жил царь, а в другом — его исполинская охотничья птица. «Однажды его орла навестила мать — мифическая гигантская птица Анка». А царь Барак взял орла именно в этот день с собой на охоту. «Оскорбленный орел поднял его когтями вместе с конем высоко в небо и бросил с высоты оземь. Труп Барака был похоронен в его замке, область запустела, и с тех пор караваны избегают заходить в проклятое место» [55].

Легенда, включающая широко известный мотив о вынужденном браке девушек с иноземцами (он вошел и в эпос: ср., например, женитьбу Манаса и его сорока дружинников в киргизском эпосе), приурочена к местности, где была потом построена древняя столица Хорезма. Правитель сослал 400 слуг в эту местность, а потом велел «отвести к ним 400 девушек-тюрчанок, и до сих пор у них осталось сходство с тюрками» [56].

Менее архаична группа легенд, приуроченная к двум крепостям на правобережье Амударьи — Кыз-кала и Йигит-кала («Девичья крепость» и «Крепость джигита») и др.[57]

Наибольший интерес в этой группе легенд представляет сказание о развалинах крепости Дэв-кала в центральных Каракумах, близкое к известному повествованию о Фархаде и Ширин, но в более архаичном варианте. В легенде дэв Фархад — патрон строителей и камнетесов; он посватался к дочери хорезмского царя — Ширин. Царь, не желая отдавать за него дочь, дал ему невыполнимое задание: построить в песчаной пустыне каменную крепость (камни дэв носил на плечах с далеких южных гор). Но когда крепость была готова, убили по 900 ягнят, телят, жеребят и верблюжат; их матери подняли страшный крик; Фархаду же сказали, что это Хорезм оплакивает скончавшуюся царевну. Дэв убил себя последней плитой, а царевна, узнав об этом, закололась [58]. В дастанах же все осложнено, переведено в сферу психологических коллизий, социально заострено, изменены персонажи.

С. П. Толстов завершает свое сообщение об этих топонимических преданиях словами: «так, в оболочке сказок и легенд вставал перед нами загадочный мир немых развалин, полуразрушенные башни, стены и

грозные бойницы которых стерегут подступы к Хорезму со стороны пустыни» [59].

Сходно пишут в своих исследованиях о так называемом Гумбезе Манаса в Киргизии М. Е. Массон и Г. А. Пугаченкова: «Время стирало в памяти людей имена погребенных, но даже в руинах сила художественного впечатления была столь значительна, что узор легенд связал эти здания с именами народных героев и облек их покровом неприкосновенности. С именем любимого народного богатыря Манаса соединила молва усыпальницу XIV в. дочери эмира Кянизяк-хатун» [60]. Исследование в большей части посвящено архитектуре памятника, но в первой главе «„Гумбез Манаса“ в народных сказаниях», а частично и в остальном тексте, авторы прослеживают всевозможные фольклорные соотнесения с героями киргизской эпопеи как архитектурного памятника в целом, так и окружающих его в Таласской долине отдельных топографических реалий. Мавзолей, расположенный в верхней части долины Таласа, пишут они, «издавна слывет в народе под названием „Манастын Кимбезю“, т. е. мавзолея Манаса — легендарного богатыря-героя киргизского эпоса... Вся долина Таласа в народном представлении овеяна воспоминаниями о событиях, запечатленных в огромной эпической поэме о Манасе, о его славных дружинниках — сорока богатырях..., о его сыне Семетее и верной жене Каныкей. Здесь..., по преданию, помещался военный стан, куда отовсюду стекались к Манасу киргизские богатыри, готовясь к походу... Вот на эту вершину горы Камыр посменно поднимались дозорные Манаса... Тут, в обнесенном огромной стеной-валом обширном заповеднике Кулан-Куруке Манас держал жеребят от своего коня — тулпара, а в ущелье Ове... есть урочище, где стояли лошади Манаса. О громадном, величиной с туловище верблюда, камне близ дороги, ведущей к Кенкольскому ущелью, говорят, будто Манас поднимал его, чтобы высечь огонь.

В ущелье Капка показывают изготовленные Манасом каменные ясли, подле которых он привязывал своего коня и взимал с проезжих торговцев одну сороковую часть их товаров в качестве пошлины — зякета.

В полутора километрах к западу от «Гумбеза Манаса» бьет родник Манаса... А на полдороге из Таласа в Ташарык... еще на памяти дедов рос колоссальный „тополь Манаса“, под тенью которого якобы помещалось до 1200 баранов... У вершины Ичкеле-Тау находится скала, где, по преданию, был тайно погребен Манас и схоронены его сокровища. Но точно этого места никто указать не может, так как все присутствовавшие при погребении были перебиты», — сообщают исследователи [61].

В долине Таласа, по преданию, жила жена Манаса, пока не была вынуждена бежать к своим родным в Бухару. «...В долине Таласа появился на свет сын Манаса Семетей... Сюда к нему прилетала из Ургенча, превращаясь в лебедя, вещая красавица Айчурек. Окруженный рощицей ручеек... признается за место, где она опускалась на землю. А одно из ближайших ущелий носит имя жены Семетея — Чачекей.

Их много повсюду — этих мест, которые предания киргизского народа связывают с Манасом, его жизнью и деятельностью, будь то урочище, скала, каменная глыба или творения человеческих рук предшествующих поколений». Авторы добавляют в примечании: «Согласно легенде, здание, руины которого известны теперь под названием Ахырташ... было построено Манасом и Семетеем. Сын бросал камни с далеких гор, а отец обтесывал и выводил из них кладку. По окончании постройки оба жили здесь до самой смерти Манаса» [62].

Была также легенда о трех больших окатанных камнях внутри мавзолея, которые считались ступнями верблюда и верблюжонка, принадлежавших Манасу, и сердцем его коня Аккуле [63]. «В этом стремлении конкретизировать старинные сказания, — пишут они, — народ не мог пройти мимо чудесной руины — изумительного по своему декору мавзолея близ устья Кенкола, в 12 км от города Таласа. Сооружение это рас-

положено на западном склоне отдельно стоящей горки, именуемой Манастын-чокузы — пик Манаса, так как с нее будто бы герой обращался с призывом к народу и войску. По преданию, оно было построено Семетеем, который привез сюда тело своего отца, умершего в Ахырташе»[64]. По одной версии, Семетей даже жил в мавзолее до тех пор, пока не был убит врагами.

Несмотря на то что в гумбезе была погребена дочь эмира, имя которой там обозначено, сила традиции связывает и это женское погребение с Манасом, а имя девушки — Кянизяк-хатун — признают искаженным именем его жены Канык ей. По распространенной версии легенды, «Гумбез Манаса» был возведен самой Канык ей, «чтобы не привлекать внимания врагов и грабителей к схороненным в могиле мужа сокровищам (и, по-видимому, не дать возможности врагам осквернить могилу. — *Р. Л.*). Канык ей велела в надписи на мавзолее поставить имя невесты Манаса, которая... в течение долгого времени не могла стать женой героя, так как не была мусульманкой»[65]. Происходила как бы конденсация фольклорной стихии вокруг «Гумбеза Манаса».

«Так в поэтическом вымысле, — заключают исследователи, — пытался киргизский народ опознать находившийся на территории его кочевых земель старинный мавзолей, истинное происхождение которого за дымкой пронесшихся столетий давно уже стерлось в памяти людей»[66].

С процессом постройки гумбеза тоже связаны легенды. В них говорится о пришлых мастерах из Бухары, Самарканда, Бадахшана и Кашгара, которых призвала Канык ей. Нужную глину искали в отдаленных местах, для чего снарядили караван из шестисот верблюдов; перевозили эту глину с горы Кюльпе. (На самом деле, как установлено авторами книги — археологами, была использована местная глина, местными были и мастера.) По легенде, «замешивали глину в большом чане, для чего были привлечены шестьдесят сильных кетменкоров — землекопов, работающих кетменем, во главе с могучим сыном аксакала... В глину добавляли козью и коровью шерсть, а по изготовлении кирпичных плиток для придания им большей прочности их опускали в особый чан и проваривали в сале нескольких тысяч козлов». Удивляясь прочности жженого кирпича и связующих растворов, в разных легендах объясняли это добавкой сала или молока. «Возможно, — пишут авторы, — что в некоторых случаях при изготовлении штукатурного раствора для ганчевых панно, действительно, применялось молоко»[67]. Отметим, что в эпосе гумбез Манаса тоже возводится из семи-восьми тысяч необычайно прочных сырцовых кирпичей, сделанных из глины, замешанной с шерстью коров и козлов и козлиным салом, — он такой прочности, что его «не затронут» (не разрушат) шесть веков[68].

Описание С. М. Абрамзоном киргизских гумбезов I тысячелетия до н. э. — I тысячелетия н. э., сопоставленных им с эпосом «Манас», показывает, что в эпосе идет речь о том же типе сооружений (ход из дромоса в погребальную камеру, подстилка из кожи, войлока, арчи и пр.)[69].

Описание похорон Манаса в киргизском эпосе (в том числе и надмогильных сооружений) представляет большой интерес для исторической этнографии и археологии, отличаясь необычайной точностью. Подробно сообщается о двух его захоронениях: одно ложное, в гумбезе, якобы для обмана враждебных к нему его родственников, и другое тайное, в пещере в скале, попасть в которую можно было через проведенный туда узкий коридор и сделанное узкое отверстие, чтобы в него «мог только один человек пройти». Соответственно эпической гиперболизации, внутри пещеры можно поместить шесть тысяч овец, в пещеру подведена вода для прохлады, поставлено восемьдесят столбов, восемь светильников, есть ковры и парчовый занавес; золотое ложе помещено на подставку из золы арчи[70].

Описание постройки гумбеза (кумбеза) введено в эпос и других тюркоязычных народов, но в казахском эпосе, например, он не глинобитный, а каменный.

На похороны пятьдесят тысяч (людей. — *Р. Л.*) собрали,
За три кочевки без устали камень таскали, сказывают.
Из сотни деревьев кумбез сделали,
Этот кумбез и поныне стоит, еще [цел], сказывают,
Что [герой] не забыт приметой остался,
Мастера издалека пришли на постройку,
[На Аягузе] много людей собралось, [сказывают] [71].

В эпосе тюркоязычных народов некоторые гумбезы имеют сюжетообразующее значение: к могилам предков (позднее мусульманских святых) идут или едут, чтобы вымолить потомство, получить исцеление от болезни. Так поступает в каракалпакском дастане «Кырк-кыз» больной хан Алаяр, приехавший к гробнице своего предка, причем он считает, что пи́ры-предки заранее взяли себе в жертву сто овец, которых зарезал волк [72].

М. Е. Массон и Г. А. Пугаченкова отмечают, что «популярность» мавзолея была велика и в XIX в., потому что он «в глазах местного населения был памятником, связанным с их народным героем Манасом... К мавзолею совершались целые паломничества, так как ему приписывали особую магическую силу исцеления недугов... В народе до сих пор [1950 г. — *Р. Л.*] живет благоговейное отношение к „Гумбезу Манаса". У пожилых это как-то сочетается с привычным почитанием освященного традицией памятника, а более молодые, несомненно, гордятся им как некоей необычной достопримечательностью, связанной преемственно с прошлым киргизского народа».

Гумбез в Таласской долине мог прочно соединиться с именем Манаса и потому, что в самой эпопее погребальному обряду, по которому был похоронен герой, уделено особое внимание. В отличие от жизнеутверждающего настроя, обычно свойственного тюркоязычному эпосу, судьба Манаса и его сподвижников показана пессимистически: к концу его жизни падает мощь его державы; мотивы гибели получили поэтому в эпосе сильное звучание. Особую ценность представляет сообщение М. Е. Массона и Г. А. Пугаченковой о росписи «Гумбеза Манаса»; сами они уже ее не застали, но воспоминания о ней сохранились у местного населения: «Говорят, будто стены „Гумбеза Манаса" были покрыты некогда росписью буро-красной охрой, изображавшей самого Манаса, Каныкей, кормящую грудью младенца Семетея, и вооруженных кырк-чоро» (сорок дружинников Манаса) [73].

Сопоставим это с описанием гумбеза Манаса в киргизском эпосе:

Стал гумбез одним из чудес.
На восьмидесяти местах,
На восьмидесяти степах
Были ясно изображены
И батыры, и скакуны,
Совершившие дело войны, —
Это был нарисован рассказ
О борьбе, что возглавил Манас!
...Были стены расписаны так:
...Вот Манас киргизов ведет,
Возвышаясь на Ак-Куле,
Вот он скачет во весь опор,
А в руках его — меч Зулпукор!
С пестрым знаменем мчится Бакай,
От него убегает Кангай,
...Нарисован рядом Чубак,
Он Джолоя проткнул копьем.
На коне Кокчебиче верхом
Нарисован юный Сыргак.
...И сверкающий грозной красой

Нарисован твой Алмамбет,
...Словно вихрь — Сарала * его,
Смертоносна стрела его!
Здесь Кокчо, Ирчи, Шууту,
...Здесь блистают отвагой своей
Сорок барсов, сорок друзей,
А Манас — в середине их,
Будто он и повыше их
Возглавляет, в поход ведя [74].

Многофигурные композиции на стенах гумбезов с сюжетами такого рода были действительно распространены; содержание их было светское, как и росписей дворцов. (Характерно, что сходно, хотя и с меньшей полнотой, описан в калмыцком эпосе дворец Джангара, тоже покрытый росписью, изображающей воинов — приближенных Джангара.) [75] С. М. Абрамзон также указывает на один из таких мавзолеев в Киргизии: это «мавзолей Кельдибека — одного из крупных в прошлом феодалов племени саян. По словам сопровождавших нас лиц, — пишет он, — раньше на стенах и куполе внутри мавзолея имелись изображения перекочевки на верблюдах, охотника с ружьем, охотничьей собаки (тайган) и игр молодежи»; и через десяток страниц отмечает аналогичную роспись гумбеза Манаса в эпосе, где «рисунки изображали и враждебных Манасу ханов, и его войско, и сподвижников-богатырей, и предметы вооружения». По мнению С. М. Абрамзона, роспись гумбезов имела и магическое значение бытового и воинского обеспечения в потустороннем мире умерших; изображенные «одежда, утварь и посуда, оружие, фигуры домашних животных» должны были выполнять функции предметов и животных, которых в древности действительно помещали в могилу [76]. Важна его мысль, что эта «живопись типа фресок» на киргизских гумбезах аналогична живописи в казахстанских мазарах, а в той, как и «в старинной киргизской вышивке (в частности — на войлоке), чувствуется желание расположить фигуры в связную композицию (сцены охоты, перекочевок), а также намек на пейзаж» [77].

В городской культуре Средней Азии в средние века взаимосвязь между системой образов и художественных приемов в росписи дворцов и в словесном фольклоре также не прошла незамеченной для исследователей.

Искусство архитектуры, созданное в основном оседлыми народами, было воспринято в дальнейшем в какой-то мере кочевниками-тюрками. Мысль о взаимосвязи двух видов искусства, высказанную А. М. Беленицким, поддерживает в труде «Таджики» Б. Г. Гафуров. Он отмечает, что для ряда архитектурных памятников характерны многофигурные сложные композиции, пейзаж, сцены охоты на архаров, кабанов, джейранов, верховые кони, иногда крылатые, кавалькады всадников, воины-гвардейцы, их пышные одежды и вооружение. А воины, может быть, изображают «соумирающих» военачальников, дружинников? (Ср. у Геродота сообщение о пятидесяти умерщвленных юношах на чучелах коней, размещенных над могилой).

«Согласно свидетельству письменных источников, — пишет Б. Г. Гафуров, — монументальные постройки, особенно дворцы Тимура и Тимуридов, часто были украшены целыми картинами, выписанными на стенах. Сюжеты их были самые разнообразные: баталии и осада городов, пиршества, парадные приемы и просто бытовые сценки. Особенно это поощрял Тимур. На стенах его дворцов развертывалась целая эпопея его военных походов и развлечений» [78]. «Особенно часто, — пишет он в другом месте своей книги, — изображения воспроизводят какие-то эпические сказания» [79]. Б. Г. Гафуров приводит также интерпретацию росписей

---

* Сарала — конь.

древнего Пенджикента А. М. Беленицким, который отождествил одну из шести героических по содержанию композиций с конкретными эпизодами эпоса, легшего в основу «Шах-Намэ», причем главным действующим лицом каждой сцены является «один и тот же воин-всадник на темно-красном (гнедом) коне», совершающий ряд подвигов[80] (Вспомним, что А. П. Окладников и М. П. Грязнов видят в сценах на писаницах и торевтике изображение не двух или нескольких персонажей, а одного, но в последовательности происходящих с ним событий.)

Не случайно так созвучны все эти пиршественные, охотничьи, батальные сцены в живописи мотивам эпоса ряда тюркоязычных народов Средней Азии. Ведь в материальной и духовной культуре этих народов сказалось длительное воздействие на них древнего населения земледельческих оазисов. Сами же они в свою очередь вступили позднее в тесное общение с придвинувшимися к ним калмыками, стоявшими на близкой ступени исторического развития. Поэтому в «Джангариаде» мы видим ту же пышность дворцов и одежд, ту же роскошную, строго регламентированную жизнь, деление богатырей по их воинской и придворной иерархии, толпы слуг, широкий географический охват. Все это сближает «Джангариаду» во многом с киргизской эпопеей о Манасе, его родичах и потомках и о его воинском окружении. И там это не только дружина приближенных к хану его сверстников, но и соединения огромных войск, разноэтничных, собранных с обширного географического ареала и специализированных по своим функциям — лучников, копьеносцев и др. (не архаичных воинов-универсалов, сражающихся сменным оружием). В Великом походе Манаса воины везут даже пушки, у его любимцев наряду с древними мечами и пиками есть ружья, которые, как и мечи, любовно снабжены именами. Они стали уже привычными для слагателей эпоса, и их дуло или мушку традиционно сравнивают с «тигровым глазом».

Росписям древних среднеазиатских дворцов созвучны в эпосе подробные перечисления при описании многолюдных пиров его участников, рассаженных согласно выработанному этикету особыми «кругами». Так же детально описаны прием посольства, турниры батыров между собой, приход свадебного каравана и пр., а главное — портретные галереи богатырей, роскошные одежды и доспехи, внешность отдельных мужчин и женщин в стиле «хвал», фантастические животные. Той же пышностью, нарочитой торжественностью отличаются в эпосе и язык, и композиционные приемы.

Подобно тому как изобразительное искусство Средней Азии впитало в себя влияние классического искусства наиболее развитых стран — Индии, Греции и др., так и в эпосе местами явственно ощущается влияние «большой литературы» с ее традициями, порой противоречащими монументальному эпическому жанру. Не только в романических дастанах, но и в «Алпамыше», например, изобилуют слезы и обмороки влюбленных героев, изощренная и манерная изысканность сравнений и пр.

Яркая полихромия изобразительного искусства гармонирует с жизнеутверждающим, красочным эпосом, где также любовно описаны пестрые наряды и изукрашенные жилища, светлые солнечные пейзажи. Не случайно устойчивый признак мира мертвых в эпосе — ущербное солнце и луна, сумрак цвета мутной «недоваренной ухи». В якутском эпосе особенно чувствуется, как тяготил пришельцев с юга недостаток солнца и тепла, как болезненно воспринимали они суровую природу Севера и упорно продолжали воспевать в зачинах олонхо свою прежнюю родину, подобную благословенной Бумбе киргизов.

Причины общности культуры тюркоязычных и ираноязычных народов Средней Азии (по поводу архитектурных традиций) чрезвычайно убедительно определили М. Е. Массон и Г. А. Пугаченкова: «Рост городов, развитие ремесел и караванной торговли раздвинули границы общения между самыми отдаленными областями мусульманского мира»[81]. В другом месте своей работы они утверждают: «... культурный облик

киргиза-кочевника не был одинаковым на протяжении более чем 2000-летней истории киргизов. Этническая конгломерация с оседлым населением притяньшаньских областей и постоянный контакт с высокой оседлой культурой сопредельных территорий» «в периоды тюркского каганата (VI—VII вв.), караханидский (XI—XII вв.) и монгольский (XIII—XIV вв.) включили киргизов в круг высокого культурного созидания этих эпох», поэтому киргизский народ наряду с узбекским и казахским «вправе считать себя... наследником и преемником» древних культурных традиций Средней Азии [82].

* * *

Достижения советских исследователей, археологов 1940—50-х годов помогают наметить основные виды взаимовлияния эпоса тюрко-монгольских народов и древнего изобразительного искусства кочевников Евразии: единство системы различных образов, ситуаций и сюжетов; отображение в живописи конкретных фольклорных повествований, которые, возможно, «рассказывали» у «писаных скал», фресок и пр., и обратно — перенесение в эпос привычной символики зрительных образов и мотивов; прямое описание в эпосе известных по изобразительному искусству реалий — декора вооружения и конского снаряжения, жилища, одежды и пр.

Сама идея реальной, исторически обусловленной взаимосвязи эпоса и изобразительного искусства недискутабельна. Поиски аналогий в этом аспекте должны быть признаны перспективным направлением. Конкретные же положения, конечно, могут нуждаться в уточнении, проверке, а главное — в дополнениях, в особенности при анализе художественных и поэтических приемов (композиционных, «стилевых» в широком смысле и др.).

Специфика обоих видов искусства не помешала образованию в них параллельно развивающихся — по общим закономерностям — художественных приемов (например, элементов, свойственных так называемому «звериному стилю» в изобразительном искусстве), системы образов и мотивов.

Ряд тонких и верных наблюдений над изобразительным искусством народов Евразии мог бы быть перенесен и на синхронный ему эпос.

Стадиальная эволюция зооморфных образов — от культово-магических функций до нейтрального орнаментального мотива и элемента — четко прослеживается упомянутыми учеными в изобразительном искусстве. В эпосе же, если присмотреться к нему, тот же процесс эволюции дает устойчивый ряд образов, в истоках большей частью тотемистических, входивших в сознание народа разновременно, но в современном эпосе сосуществующих. Это прародители, кормильцы и «пестуны», проводники народа на новые места, оборотни, носители зооморфических родовых названий и личных имен, фантастические существа, у которых сочетаются признаки разных животных и птиц, и, наконец, всевозможные поэтические уподобления и сравнения героев с различными животными и птицами, где на первом месте стоят хищники, как и в «зверином стиле» [83].

При обзоре огромного материала, предоставляемого эпосом тюрко-монгольских народов, напрашивается вывод, что, например, сложной, многофигурной композиции с многочисленными звериными образами на одном «полотне» в изобразительном искусстве (звери, следующие друг за другом, в декоре; охотничьи сцены, в которых участвует множество животных, и пр.) в эпосе соответствует то, что можно было бы назвать «цепочкой» тех же звериных образов.

При преобладании излюбленной в обеих ветвях искусства триады хищников — семейство кошачьих, ловчая птица, волк (рис. 4, *а, б, в*) — в перечислении существ, которым уподоблены персонажи эпоса в этой цепочке, упоминаются и другие звери, чаще всего копытные (марал, кабан и др.), т. е. промысловые животные, а также перелетные птицы (ле-

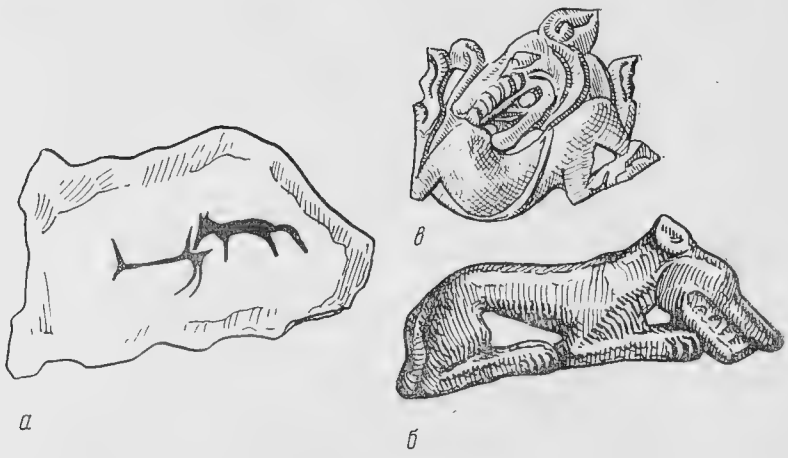


Рис. 4. Изображения волка:

а — писаница на плите менгирной оградки; долина р. Или; *б* — лежащий волк. Бронзовая бляха; Минусинская степь; *в* — свернувшийся волк. Деревянное украшение узды. Пазырык.

бедь, гусь, утка, белый журавль-стерх и др.). Такие перечисления известны уже в древнетюркской символике, например в уйгурской рукописи «Кутлугду-билиг («Книга, как стать счастливым») [84] и в близких формулах последовательного уподобления воинов зверям и птицам у более поздних авторов [85]. Широко распространены они и в эпосе современных тюрко-монгольских народов (калмыков, киргизов, казахов, каракалпаков и др.), хранящем древнюю традицию.

Влияние религии, зримо присутствующее в изобразительном искусстве, может быть прослежено и в эпосе. Например, буддисты (буряты, ойраты, калмыки), не испытавшие запретов ислама изображать живые существа, ввели в свой эпос описание местных реальных зверей, выполненных на бытовых предметах и вооружении, добавив, кроме того, экзотические образы, пришедшие из Индии, — фантастической птицы Гаруды, обезьян, слонов, попугаев.

В заключение хочется напомнить, что дальнейшие поиски аналогий в эпосе и изобразительном искусстве тюрко- и монголоязычных народов — дело, конечно, не только археологов и искусствоведов, которые при том или ином случае продолжают этим заниматься, а в первую очередь фольклористов во всех республиках Советского Союза. Предпочтительнее всего непосредственное творческое сотрудничество ученых — специалистов в смежных областях исторической науки. Не надо перекладывать свою работу на других, как и захлебываться в море «чужих» материалов.

Нужно надеяться, что изучение в сравнительно-историческом плане эпоса и изобразительного искусства и попытки синхронизировать их будут результативными. Важность решения данной проблемы для хронологизации эпоса велика. Сразу она не может быть решена, но выявить, что дает сопоставление искусств для хронологической приуроченности возникновения эпических сюжетов, необходимо.

[1] *Окладников А. П.* История Якутии. Якутск: Кн. изд-во, 1949. Т. 1. Прошлое Якутии до присоединения к Русскому государству.

[2] *Грязнов М. П.* Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири. — В кн.: Археологический сборник. Л.: Гос. Эрмитаж, 1961, вып. 3. Эпоха бронзы и раннего железа Сибири и Средней Азии.

[3] Древнее искусство Алтая: (Альбом) Текст М. Грязнова. Л.: Гос. Эрмитаж, 1958.

[4] *Киселев С. В.* Древняя история Южной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1951.

[5] *Толстов С. П.* По следам древнехорезмийской цивилизации. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

[6] *Массон М. Е., Пугаченкова Г. А.* «Гумбез Манаса». М.: Гос. изд-во архитектуры и градостроительства, 1950.

[7] См.: *Беленицкий А. М.* Работы тад-

жикской археологической экспедиции в 1956 году. — КСИИМК, 1959, № 73.

[8] *Грязнов М. П.* Древнейшие памятники..., с. 8—13.

[9] Там же, с. 17.

[10] Там же, с. 30—31.

[11] Там же, с. 13.

[12] Там же, с. 15—16.

[13] Там же, с. 12.

[14] Там же, с. 21—28. Однако такая интерпретация композиции на «сибирских изображениях», воспроизводящих «сцену под деревом», — не единственная. Венгерский ученый Л. Вардаш, также относя ее к «тюрко-монгольской эпике», считает, что здесь изображен распространенный в фольклоре мотив: женщина «ищет в голове своего освободителя или его противника...», причем это происходит либо в подземном мире, либо у подножия «мирового древа», «в момент наивысшего напряжения действия, обычно перед решающей битвой, когда он засыпает». (См.: *Неклюдов С. Ю.* Исторические взаимосвязи тюрко-монгольских традиций и проблема восточных влияний в европейском эпосе. — В кн.: Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М.: Наука, 1974, с. 248—249.) Однако тогда неясно значение второй фигуры — бодрствующего воина, присутствие которого делает к тому же излишней бдительность героини, будящей спящего при замеченной ею опасности.

[15] *Грязнов М. П.* Древнейшие памятники..., с. 27—28, 30—31.

[16] См., например: *Даркевич В. П.* Ковш из Хазарии и тюркский героический эпос. — КСИА, 1974, вып. 140; *Раевский Д. С.* Очерки идеологии скифо-сакских племен: Опыт реконструкции скифской мифологии. М.: Наука, 1977.

[17] *Вайнштейн С. И.* Картинная галерея Сыын-Чурека. — Природа, 1975, № 5, с. 12—13, рис. на с. 13. «В верхней части композиции, — пишет он, — мы видим двух всадников, стремительно мчащихся один за другим в гору. Первый всадник одной рукой держит повод своего коня, а другой, вывернутой назад, повод второй лошади. На ней двое, причем сидящий сзади держит впереди себя обеими руками женщину в длиннополой одежде — пленницу, а возможно, и похищенную, невесту. У нее поникший, потерянный вид, по-видимому, связаны сзади руки (? — *Р. Л.*), у похитителей же гордые уверенные позы».

[18] *Гребнев Л. В.* Тувинский героический эпос: Опыт ист.-этногр. анализа. М.: Изд-во вост. лит., 1960, с. 50.

[19] *Грязнов М. П.* Древнейшие памятники..., с. 30.

[20] *Окладников А. П.* История Якутии, с. 324.

[21] Там же, с. 307—308.

[22] Там же, с. 324.

[23] Там же, с. 211.

[24] Там же, с. 204.

[25] Там же, с. 84—85.

[26] Там же, с. 294.

[27] Там же, с. 150.

[28] Там же, с. 238.

[29] Там же, с. 149.

[30] *Киселев С. В.* Древняя история..., с. 385.

[31] Там же, с. 183.

[32] Там же, с. 637.

[33] Там же, с. 590.

[34] Там же, с. 585.

[35] Там же, с. 499.

[36] Там же.

[37] Там же, с. 474—475.

[38] Там же, с. 507.

[39] Там же, с. 303.

[40] Там же, с. 548—549.

[41] Там же, с. 515.

[42] *Окладников А. П.* История Якутии, с. 333.

[43] *Киселев С. В.* Древняя история..., с. 497—498; 622—623.

[44] Там же, с. 497—498.

[45] Там же, с. 623—633.

[46] Там же.

[47] *Грязнов М. П.* Древнейшие памятники..., с. 20, рис. 5—7.

[48] Там же, с. 17, 48.

[49] *Грязнов М. П.* Древнее искусство..., с. 13.

[50] Там же.

[51] Устное высказывание Ю. М. Михайлова.

[52] См.: *Толстов С. П.* По следам древнехорезмийской цивилизации, с. 19—23.

[53] «Сорок девушек» (Кырк кыз): Каракалпакская народная поэма/ Записана со слов сказителя Курбанбая Тажибаева. М.: ГИХЛ, 1951, с. 80 и др.

[54] *Толстов С. П.* По следам древнехорезмийской цивилизации, с. 24.

[55] Там же, с. 21.

[56] Там же, с. 75.

[57] Там же, с. 23.

[58] Там же, с. 24.

[59] Там же.

[60] *Массон М. Е., Пугаченкова Г. А.* «Гумбез Манаса», с. 133.

[61] Там же, с. 7—8. Тулпар — наименование 1) крылатого копя, 2) чистокровного скакуна.

[62] Там же, с. 9.

[63] Там же, с. 10.

[64] Там же, с. 9.

[65] Там же.

[66] Там же, с. 10.

[67] Там же, с. 28—29.

[68] Манас: Эпизоды из киргизского народного эпоса. М.: ГИХЛ, 1960, с. 280—281.

[69] *Абрамзон С. М.* Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л.: Наука, 1971, с. 380.

[70] Манас, с. 281—282.

[71] Казахский фольклор в собрании Г. Н. Потанина: (Архивные материалы и публикации)/ Сост. и коммент. С. А. Конабасова, Н. С. Смирновой, Е. Д. Турсунова. Алма-Ата: Наука, 1972, с. 253.

[72] «Сорок девушек»..., с. 80 и др.

[73] *Массон М. Е., Пугаченкова Г. А.* «Гумбез Манаса», с. 10, 57—58.

[74] Манас, с. 281—282.

[75] См.: *Козин С. А.* Джангариада: Героическая поэма калмыков. Введение в изучение памятника и перевод торгутской его версии. М.; Л., 1940, с. 169.

[76] *Абрамзон С. М.* Киргизы..., с. 322, 393.

[77] Там же, с. 383—384.

[78] *Гафуров Б. Г.* Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. М.: Наука, 1972, с. 278, 434.

[79] Там же, с. 504.

[80] Там же, с. 274—275.

[81] *Массон М. Е., Пугаченкова Г. А.* «Гумбез Манаса», с. 87.

[82] Там же, с. 135, 136.

[83] Подробнее об этом см.: *Липец Р. С.* Отражение этнокультурных связей Киевской Руси в сказаниях о Святославе Игоревиче (X в.). М.: Наука, 1977; *Вайнштейн С. И., Липец Р. С.* Проблемы взаимосвязи эпоса и народного изобразительного творчества тюрко-монгольских народов. — В кн.: «Джангар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских народов. М.: Наука, 1980; *Липец Р. С.* «Лицо волка благословенно...»: (Стадиальные изменения образа волка в тюрко-монгольском эпосе и генеалогических сказаниях). — СЭ, 1981, № 1.

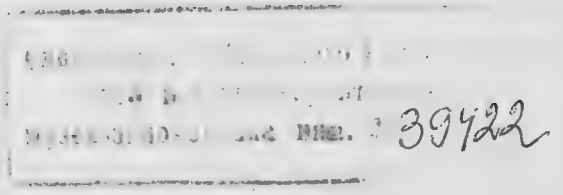
[84] *Малов С. Е.* Памятники древнетюркской письменности: Тексты и исследования. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951, с. 292—293.

[85] *Бертельс Е. Э.* К вопросу о традиции в героическом эпосе тюркских народов. — Сов. востоковедение, 1947, IV.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН — Академия наук (для дореволюционного периода)
АН СССР — Академия наук СССР
АН Каз. ССР — Академия наук Казахской ССР
Архив АН СССР (ЛО) — Архив Академии наук СССР, Ленинградское отделение
Архив БФ СО АН СССР — Архив Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР
Архив ЯФ СО АН СССР — Архив Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР
ВЕ — Вестник Европы
ВОРАО — Восточное отделение Русского археологического общества
ВРГО — Вестник Русского географического общества
ВСОРГО — Восточносибирский отдел Русского географического общества
ГАНИИИЯЛ — Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы
ГАТО — Государственный архив Тюменской области
ГИ — Географические известия
ГИМ — Государственный исторический музей
ГИХЛ — Государственное издательство художественной литературы
ЕТГМ — Ежегодник Тобольского государственного музея
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения
ЖС — Живая старина
ЗСОРГО — Западносибирский отдел Русского географического общества
ИВ — Исторический вестник
ИВ АН СССР — Институт востоковедения Академии наук СССР
Изв. — Известия
ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР
ИЭ — Институт этнографии Академии наук СССР
ИЯЗ — Институт языкознания Академии наук СССР
Калмыцкий НИИЯЛИ — Калмыцкий научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
Калмыцкий НИИИФЭ — Калмыцкий научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики
КВ — Книжный вестник
КОРГО — Кавказский отдел Русского географического общества
КСИА — Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук СССР
КЭС — Кавказский этнографический сборник
ЛО — Ленинградское отделение
МАО — Московское археологическое общество
МАЭ — Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР
ОАИЭ — Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете
ОИРЭФА — Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии
ОЛЕАЭ — Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии
ОНТ — Осетинское народное творчество
ПВ — Правительственный вестник
РАН — Российская Академия наук
РАО — Русское археологическое общество
РВ — Русский вестник

РГО — Русское географическое общество
РФВ — Русский филологический вестник
САН — Советская антропология
СМОМПК — Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа
СО — Сибирское отделение Академии наук СССР
СЭ — Советская этнография
СЭС — Сибирский этнографический сборник
ТВ — Туркестанские ведомости
ТИАМЗ — Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
ТИЭ — Труды Института этнографии АН СССР. Нов. сер.
ТС — Тюркологический сборник
ТувНИИЯЛИ — Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
УВВ — Уральские войсковые ведомости
УОЛЕ — Уральское общество любителей естествознания
ЦГАДА — Центральный Государственный архив древних актов
ЦГИА СССР — Центральный Государственный исторический архив
ЭО — Этнографическое обозрение
ЭС — Этнографический сборник


39422

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

М. Г. Рабинович. Русские письменные источники эпохи феодализма как материал для изучения этнографии города 5

Л. А. Фадеев. Этнографическая тематика в «Современнике» А. С. Пушкина 23

З. Д. Титова. Этнографическая библиография в изданиях Русского географического общества (1845—1917) 34

Н. М. Щербанов. Фольклорно-этнографическая тематика в «Уральских войсковых ведомостях» (Публикации Н. Ф. Савичева за 1867—1885 гг.) 48

В. П. Аникин. Проблемы фольклора в трудах Ореста Миллера 63

Г. В. Цулая. Из истории кавказоведения (Этнограф и педагог А. И. Стоянов) 73

Л. С. Бурчинова. Истоки джангароведения в России 87

А. П. Михайловская. Этнографическая работа в Приуралье и Поволжье в конце XIX—начале XX в. (Научно-промышленные выставки) . . . 98

И. С. Гурвич. Этнографическая экспедиция 1917—1919 гг. на Чукотку и Камчатку (Материалы Сакари Пяльси) 114

Е. И. Гневушева, В. Г. Трисман. Этнографические коллекции А. С. Эстрина в МАЭ 128

В. И. Васильев, Ю. П. Прибыльский. Деятельность А. А. Дунина-Горкавича в области этнографии Обского Севера (Основные вехи жизненного пути) 141

Н. А. Алексеев. Роль политических ссыльных в изучении этнографии и языка якутов (Деятельность В. М. Иохова и других собирателей) . . . 149

С. И. Вайнштейн. Первая советская этнографо-антропологическая экспедиция в Туву 162

Л. П. Кузьмина. Фольклор старожилого населения Русского Устья (К истории его собирания и изучения) 175

Р. С. Липец. Проблема взаимосвязей тюрко-монгольского эпоса с изобразительным искусством кочевников Евразии (Труды советских археологов 40—50-х годов) 186

Список сокращений 209

Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии

Вып. IX

Утверждено к печати
Институтом этнографии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая
АН СССР

Редактор издательства *Л. И. Тормозова*
Художественный редактор Н. А. Фильчагина
Технический редактор О. Г. Ульянова
Корректор Ф. А. Дебабов

ИБ № 18235

Сдано в набор 16.10.81
Подписано к печати 03.03.82
Т-03253. Формат 70×108 1/16. Бумага книжно-журнальная
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая
Усл. печ. л. 18,55. Усл. кр. отт. 18,5
Уч.-изд. л. 20,4. Тираж 2000 экз.
Тип. зак. 822. Цена 2 р. 90 к.

Издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12